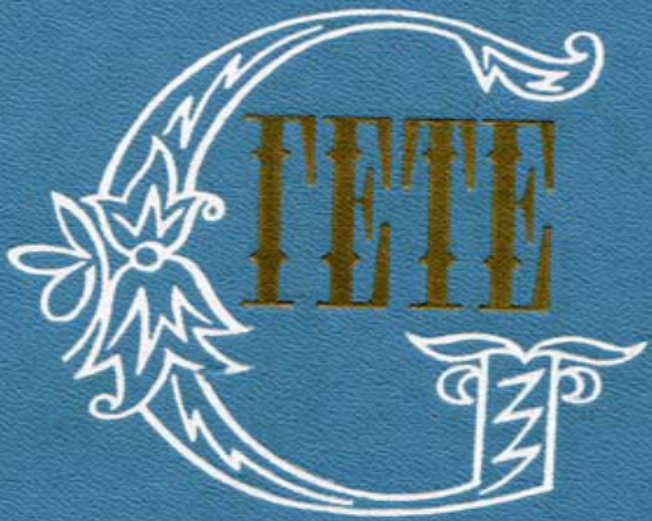
ГЕТЕ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

«Эта книжечка, — писал Гете, — получит совсем особый облик именно оттого, что ее основу образуют старые бумаги, порожденные мгновением. Я стараюсь лишь самую малость что-либо менять в них: удаляю незначительные случайные высказывания и досадные повторения. Случается, правда, что кое-где, не в ущерб простодушной наивности, я лучше и подробнее излагаю какое-либо происшествие».

- Иоганн Вольфганг Гете
  - ПЕРВОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
    - ОТ КАРЛСБАДА ДО БРЕННЕРА
    - ОТ БРЕННЕРА ДО ВЕРОНЫ
    - ОТ ВЕРОНЫ ДО ВЕНЕЦИИ
    - ВЕНЕЦИЯ
    - ОТ ФЕРРАРЫ ДО РИМА
    - РИМ
  - ВТОРОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
    - НЕАПОЛЬ
    - СИЦИЛИЯ
    - НЕАПОЛЬ
  - ВТОРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В РИМЕ С ИЮНЯ 1787 г. ДО АПРЕЛЯ 1788 г.
    -
    -
    - РИМСКИЙ КАРНАВАЛ
  - КОММЕНТАРИИ
    -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9

Иоганн Вольфганг Гете
ИЗ «ИТАЛЬЯНСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ»

ПЕРВОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

И я в Аркадии!

ОТ КАРЛСБАДА ДО БРЕННЕРА

3 сентября 1786 г.

В три часа поутру я украдкой выбрался из Карлсбада, иначе меня бы не отпустили. Здешнее общество пожелало дружелюбно и радостно отпраздновать двадцать восьмое августа, день моего рождения, тем самым оно приобрело право, несколько задержать меня, но больше мне здесь мешкать было нельзя. В полном одиночестве я сел в почтовую карету, имея при себе только чемодан да баул на крыше, и к половине восьмого прекрасного тихого и туманного утра добрался до Цводы. Верхние перистые облака плыли быстро, нижние медленно и тяжело. Я решил, что это доброе предзнаменование, и понадеялся после дурного лета на погожую осень. В жаркий солнечный полдень я был уже в Эгере и вдруг вспомнил, что этот городок расположен на одной широте с моим родным городом, и обрадовался, что в ясный день пообедаю на воздухе под пятидесятым градусом.

Первое, чем встречает тебя Бавария, — это монастырь Вальдзассен — прекрасные владения лиц духовного звания, набравшихся ума-разума ранее всех прочих. Монастырь расположен в неглубокой горной впадине, вернее в зеленой долине, меж пологих, богатых растительностью возвышенностей. Владения этого монастыря простираются по всей округе. Почва здесь — выветрившийся глинистый сланец. Кварц, которым изобилуют горные породы в этих краях, не растворяется и не выветривается, оттого земля на полях рыхлая и необычайно плодородная. До Тиршенрейта дорога идет вверх. Воды текут навстречу путнику, устремляясь к Этеру и Эльбе. От Тиршенрейта начинается спуск к югу, и реки спешат в Дунай. Я обычно быстро составляю себе представление о местности, стоит только мне понаблюдать за самым малым ручейком, — куда он течет, к какому речному бассейну относится. Так даже в краю, никогда не виданном, можно мысленно установить связь между горами и долинами.

Перед упомянутым городком начинается превосходное шоссе из гранитного песка, лучшего себе и вообразить невозможно, — дело в том, что измельченный гранит состоит из кремня и полевых шпатов, которые одновременно образуют и твердый грунт, и отличное связующее средство, для того чтобы сделать дорогу гладкой, как гумно. Окружающая местность, правда, кажется от этого еще непригляднее: все тот же гранитный песок, низменность, топи, зато тем желаннее прекрасная дорога.

Вдобавок она идет под уклон, так что едешь по ней с невероятной быстротой, а не ползешь как черепаха, — приятнейший контраст с передвижением по Богемии. Но хватит, на следующее утро в десять часов я уже был в Регенсбурге, за тридцать девять часов оставив позади двадцать четыре с половиной мили. Когда начало рассветать, я находился меж двух деревушек — Швандорф и Регенштауф — и заметил, что почва на полях становится все лучше. Это была уже наносная, смешанная земля, а не продукт выветриванья гор. С незапамятных времен на всех долинах вверх по течению Регена сказывались приливы и отливы в долине Дуная, так мало-помалу эти низины стали пригодными для земледелия. То же самое происходит на всех землях, соседствующих с большими и малыми реками, и эта путеводная нить помогает быстро заключить, насколько пригодна для возделыванья почва тех или иных местностей.

Регенсбург прекрасно расположен. Подобное место, конечно же, должно было привлечь к себе город, и духовенство сумело это учесть. Ему теперь принадлежат все окрестные поля, в самом же городе — церковь теснится к церкви, монастырь к монастырю. Дунай напомнил мне добрый старый Майн. Правда, во Франкфурте река и мосты выглядят красивее, зато с противоположного берега очень уж хорошо смотрятся город и дворец. Я без промедления отправился и иезуитскую коллегию, где ученики ежегодно давали представление, и успел посмотреть конец онеры и начало трагедии. Они играли не хуже начинающей любительской труппы, а одеты были очень хорошо, даже чрезмерно роскошно. Этот публичный спектакль сызнова убедил меня в мудрой расчетливости иезуитов. Они не брезгуют никакими средствами воздействия и ко всему подходят с любовью и вниманием. И это не ум in abstracto, а радость от со-действия, со-наслаждения, иными словами — от уменья пользоваться благами жизни. И если в составе этого широко разветвленного ордена имеются свои органные мастера, резчики по дереву и позолотчики, то, надо думать, есть среди них и такие, что с любовью и знанием дела отдают себя театру. Церкви иезуитов примечательны своей изящной роскошью, а благодаря неплохому театру эти разумные люди приобщаются еще и к мирской чувственности.

Сегодня я пишу под сорок девятым градусом, что уже дает знать о себе. Утро было прохладное, — здесь тоже все жалуются на сырое и холодное лето, — но день наступил погожий и мягкий. В теплом ветерке, веющем от большой реки, есть что-то неизъяснимо приятное. Фрукты здесь неважные. Хорошие груши я уже ел, но меня разбирает тоска по винограду и винным ягодам.

Я поневоле все время возвращаюсь к образу мыслей и действий иезуитов. Их церкви, башни, строения задуманы и возведены как нечто величественное и совершенное, поневоле внушающее людям должное благоговение. Они украшены золотом, серебром, цветными металлами и превосходно отшлифованными камнями в изобилии, предназначенном ослеплять обездоленных всех сословий. Кое-где проглядывает и безвкусица, — как видно, она привлекает человечество и действует на него примиряюще. Таков вообще дух внешней католической обрядности, но никогда мне не доводилось видеть его претворенным столь разумно, умело и последовательно, как у иезуитов. Одно у них вытекает из другого, вероятно, потому, что они не стали отправлять богослужение на старый, уже отживший лад, наподобие монахов других орденов, но в угоду духу времени оживили его роскошью и великолепием.

Для всевозможных поделок они пустили в ход необычный камень, — с виду он похож на мертвый красный лежень, но может и должен сойти здесь за более древний, первичный, порфирообразный. Он зеленоватого цвета, с примесью кварца, пористый, с крупными пятнами яшмы, в свою очередь испещренной круглыми пятнышками брекчии. Один кусок его показался мне весьма поучительным и примечательным, но уж очень он был тяжел, а я поклялся не таскать с собою камней в этом путешествии.

Мюнхен, 6 сентября.

Пятого сентября в половине первого пополудни я выехал из Регенсбурга. Места под Абахом, где Дунай бьется об известковые скалы, тянущиеся до Заале, очень красивы. Известняк здесь, как в Остерода около Гарца, плотный, но пористый. К шести утра я добрался до Мюнхена, двенадцать часов посвятил осмотру его достопримечательностей, но о них упомяну лишь бегло. В картинной галерее мне было как-то не по себе, — необходимо снова приучить свой взор к живописи. А вещи там есть превосходные. Наброски Рубенса из галереи Люксембургского дворца привели меня в восхищенье…

В зале антиков я отметил, что мои глаза не приучены к таким произведениям, посему мне не захотелось дольше оставаться там и понапрасну терять время. Многое ровно ничего не говорило мне, а почему — я и сам не знаю. Мое вниманье привлекла статуя Друза, понравились мне два Антонина и еще кое-что… В естественноисторическом кабинете я видел красивые экспонаты из Тироля, уже знакомые мне по небольшим образцам, являвшимся моею собственностью.

На обратном пути мне встретилась торговка винными ягодами, которые пришлись мне по вкусу, наверно, потому, что были первыми… Все здесь жалуются на холод и сырость. Туман, — он мог бы сойти и за дождь, — застал меня утром уже почти под Мюнхеном. Весь день с Тирольских гор дул ледяной ветер. Когда я посмотрел в их сторону с башни, они тонули в тучах, сплошь затянувших небо. Сейчас заходящее солнце еще освещает старую башню перед моим окном. Прошу прощенья за то, что так много говорю о ветре и погоде; но сухопутный странник зависит от них едва ли меньше, чем мореход, и горе мне, окажись осень в чужих краях так же неблагоприятна, как лето на родине.

Ну, а теперь на Инсбрук. Чем только я не пренебрег, чтобы осуществить мечту, почти уже устаревшую в моей душе…

Миттенвальд, 7 сентября, вечером.

Похоже, что мой ангел-хранитель скрепил аминем мою молитву, и я воздаю ему благодарение за то, что он привел меня сюда в такой чудный день. Последний почтальон, удовлетворенно крякнув, заметил, что это первый за все лето. Втихомолку я лелею суеверную надежду, что так оно будет и впредь, но да простят мне друзья, если я снова заведу речь о воздухе и тучах.

Когда в пять часов я выехал из Мюнхена, небо прояснилось. На Тирольских горах неподвижно покоились гигантские массы облаков. Полосы в нижних слоях атмосферы тоже не шелохнулись. Дорога идет верхом, внизу среди холмов наносного гравия вьется Изар. Здесь мы воочию видим работу течений доисторического моря. В гранитном щебне я нашел братьев и родичей тех экземпляров из моей коллекции, которыми меня одарил Кнебель.

Туман над рекой и лугами еще держался, наконец и он развеялся. Меж упомянутых холмов, которые, надо думать, тянутся вдаль и вширь по меньшей мере на несколько часов езды, почва не менее плодородная, чем в долине Регена. Дорога опять спустилась к Изару, и я увидел как бы в разрезе крутые склоны все тех же холмов высотою эдак футов в сто пятьдесят. Приехав в Вольфратсгаузен, я достиг сорок восьмого градуса. Солнце пекло что есть мочи, но в хорошую погоду никто здесь не верит, все злятся на уходящий год и ропщут на господа бога.

Передо мною открылся новый мир. Я приближался к горам, и цепь их уходила все дальше и дальше.

Бенедиктбейерн чудо как красиво расположен и поражает путника с первого взгляда. На плодородной равнине — широкое белое здание, позади него высокий скалистый хребет. А теперь

выше — к озеру Кохельзее; и еще выше — в горы, к Вальхензее. Здесь я приветствовал первые снежные вершины, а когда удивился, что заснеженные горы так близки, мне объяснили: вчера здесь гремел гром, сверкали молнии, и в горах выпал снег. В этом явлении местные жители усматривают надежду на хорошую погоду: первый снег представляется им провозвестником изменений в атмосфере. Утесы, меня обступавшие, — сплошь первичный известняк, в котором еще не встречаются окаменелости. Эти известковые горы грандиозной непрерывной цепью тянутся от Далмации до Сен-Готарда. Хакет объездил большую часть их цепи. Они смыкаются тоже с первичными горами, изобилующими кварцем и глиноземом.

До Вальхензее я добрался в половине пятого. Приблизительно за час до этого меня ожидало премилое приключение: ко мне приблизился арфист с дочерью, девочкой лет одиннадцати, и попросил меня подвезти ребенка. Сам он с инструментом пошел дальше, девочку же я усадил рядом с собой, она бережно поставила себе в ноги большую новую коробку. Прелестное, благовоспитанное создание, много уже чего повидавшее на белом свете. Она пешком ходила с матерью на богомолье в монастырь Эйнзидель, потом обе они собрались в еще более далекий путь — в Сант-Яго-де-Компостелло, но мать скоропостижно скончалась, не успев выполнить свой обет. Почести богоматери надобно воздавать без устали, произнесла девочка. Однажды, после большого пожара, она своими глазами видела в доме, сгоревшем почти до основания, над случайно уцелевшей дверью образ богоматери под стеклом — ни стекло, ни самый образ не были затронуты огнем, — ну разве же это не истинное чудо, — сказала она. Все свои странствия она проделала пешком, в последний раз играла в Мюнхене перед курфюрстом, вообще же ее слушали больше двадцати августейших особ. Она очень меня забавляла. Прекрасные карие глаза, упрямый лоб, на который нет-нет и набегали маленькие вертикальные морщинки. В разговоре она была мила и естественна, особенно когда по-детски громко смеялась; когда же молчала и выпячивала нижнюю губку, казалось, что она что-то строит из себя. Об чем только мы с нею не переговорили, — везде она чувствовала себя как дома и все вокруг замечала. Так она вдруг спросила: что это за дерево? А был это высокий красивый клен, первый увиденный мною за всю дорогу. Она мигом его заметила, а когда клены стали попадаться чаще и чаще, радовалась, что вот теперь знает и это дерево. Она отправляется в Боуен на ярмарку, куда, вероятно, еду и я. Если мы там с нею встретимся, сказала девочка, придется мне купить ей гостинец,

что я и пообещал. Там она наденет новый чепчик, который на свои деньги заказала себе в Мюнхене. Нет, лучше она уже сейчас мне его покажет. Она открыла коробку, и я вместе с нею полюбовался богато расшитым и украшенным лентами чепчиком.

Вместе же мы порадовались и другому обстоятельству. Девочка утверждала, что теперь настанет хорошая погода. У них всегда при себе барометр — арфа. Когда дискант звучит выше, чем обычно, — это к хорошей погоде, а сегодня так оно и было… Я ухватился за сие доброе предзнаменование, и мы расстались в наилучшем расположении духа и в чаянии скорой встречи.

На Бреннере, 8 сентября, вечером.

Приехав сюда, можно сказать, в силу необходимости, я наконец-то оказался в тихом, спокойном уголке. Ни о чем подобном я и мечтать не смел. День выдался такой, о каком годами не позабудешь. В шесть часов я выехал из Миттенвальда, резкий ветер согнал последние тучки с уже прояснившегося неба. Холод стоял, мыслимый разве что в феврале. Вскоре в лучах восходящего солнца передо мной возникли дивные, все время меняющиеся картины, — на переднем плане темнеют сосны, меж них серые известковые скалы, на заднем — высочайшие заснеженные вершины на фоне глубокой синевы небес.

Под Шарницем въезжаешь в Тироль. Граница огорожена валом, он как бы запирает долину и смыкается с горами. Выглядит это очень красиво: с одной стороны вал укреплен скалою, с другой он вертикально взмывает ввысь. От Зеефельда дорога становится все необычнее: если, начиная от Бенедиктбейерна она шла с вершины на вершину и все воды этих мест устремлялись к Изару, то теперь за горным хребтом мы видим долину Инна, и вот Инцинген уже лежит перед нами. Солнце стояло высоко и пекло невыносимо, пришлось мне одеться полегче, — впрочем, из-за постоянно меняющейся температуры я и так переодеваюсь несколько раз на дню.

Под Цирлем начинаем спускаться в долину Инна. Вид — неописуемо прекрасный, а высокое солнечное марево придает ему небывалое великолепие. Почтальон торопился больше, чем мне хотелось. Он еще не был у обедни и тем более рвался благоговейно отстоять ее в Инсбруке, что сегодня был день пресвятой богородицы. Почтовая карета, громыхая, катила вдоль Инна, мимо Мартинсванд — гигантской известняковой кручи. К той точке, на которую, по преданию, взбирался император Максимилиан, я бы отважился подняться, потом спуститься, потом проделать это снова и снова без всякого ангела, даже понимая кощунственность такой затеи.

Инсбрук расположен в на диво широкой, изобильной долине, меж высоких скал и лесистых гор. Поначалу я хотел там задержаться подольше, но мною владело беспокойство. Немножко меня позабавил сын трактирщика, вылитый Зёллером. Так мне, нет-нет да и встречаются мои «сочиненные» люди. Для празднованья рождества пресвятой богородицы все здесь принарядились. Здоровые, довольные жизнью, они толпами идут на богослуженье в Вильтен, что в четверти часа ходьбы от города по направленью к горной цепи. В два часа, когда моя карета разделила оживленную пеструю толпу, праздник был уже в разгаре.

Выше Инсбрука все окрест становится еще прекраснее, описанье тут бессильно. Превосходная дорога идет вверх по ущелью, из которого воды катятся к Инну; само оно бесконечно разнообразно. Там, где дорога проходит вблизи от крутого утеса, — частично она даже прорублена в нем, — нашему взору открывается другая, пологая его сторона, вполне пригодная для земледелия. На покатой и широкой плоскости деревни — сплошь побеленные дома, домишки и хижины между полей и живых изгородей. Вскоре все видоизменяется. Возделанные земли переходят в луга, а подальше снова в крутой склон.

Для моего представления о мироздании я приобрел уже немало, но и не слишком много нового или неожиданного. Я долго мечтал и давно уже говорю о модели, на которой сумел бы показать, что происходит в моей душе и что не каждому я могу наглядно показать в природе.

Тем временем мрак сгущался и сгущался, единичное утопало в нем, массы становились огромнее, величественнее, и, наконец, когда все уже двигалось передо мною наподобие темных, таинственных образов, я вдруг снова увидел освещенные луной, заснеженные вершины и теперь жду, чтобы утро озарило скалистое ущелье, в котором я зажат на рубеже севера и юга.

Добавлю еще несколько слов о погоде, которая, может быть, так милостива ко мне именно потому, что я уделяю ей много вниманья. На равнине хорошую или плохую погоду принимаешь, так сказать, в готовом виде, в горах присутствуешь при ее становлении. Мне часто доводилось в странствиях, на прогулках, на охоте дни и ночи проводить в лесистых горах, среди скал, и там-то и нашла на меня блажь, которую я ни за что другое выдавать не собираюсь, но и отделаться от нее не могу, ибо всего труднее отделываться от блажи. Она повсюду предстоит мне, словно это не блажь, а истина, и сейчас я хочу сказать о ней, — мне ведь все равно частенько приходится подвергать испытаниям снисходительность моих друзей.

Смотрим ли мы на горы вблизи или издалека, видим ли их вершины блистающими в солнечном свете, окутанными туманом, в буйном вихре грозовых туч, бичуемые дождем или покрытые снегом, — все это мы приписываем атмосфере, так как ее движения и перемены видим собственными глазами, а значит, постигаем их. Горы же, для нашего внешнего зрения, искони неподвижны. Мы считаем их мертвыми потому, что они застыли, полагаем бездействующими потому, что они пребывают в состоянии покоя. Но меня уже давно точит мысль, что как раз их внутренним, тайным, неприметным воздействием объясняются в большинстве случаев изменения, происходящие в атмосфере. Я уверен, что земной коре вообще, а следовательно, в первую очередь ее высоко вздымающимся твердыням, присуща сила притяжения; не постоянная, не всегда одинаковая, она выражается в своего рода пульсации и по внутренним необходимым, а возможно, и внешним случайным причинам то увеличивается, то спадает. Пусть все иные попытки изобразить эту вибрацию будут неудовлетворительны и примитивны, — атмосфера достаточно чувствительна, она дает нам знать об этих неприметных воздействиях. Стоит силе притяжения хоть чуть-чуть ослабеть, как нас об этом извещает уменьшившаяся тяжесть и упругость воздуха. Атмосфера уже не удерживает влагу, химически и механически распределявшуюся в ней. Вот тучи опустились ниже, дожди низверглись на землю, и потоки дождевой воды устремились на равнины. Но если в горах увеличится сила притяжения — упругость воздуха восстановлена, и возникают два весьма существенных феномена. Первый — горы, скопив вокруг себя гигантские массы туч, упорно и цепко держат их над собой, как вторые вершины, покуда скрытая борьба электрических сил не низринет их в виде грозы, тумана, дождя. И второй — на остатки туч начинает воздействовать упругий воздух, уже способный принять в себя больше влаги, растворить и переработать ее. Я своими глазами видел, как была уничтожена такая туча: она висела над отвесной вершиной, освещенная вечерней зарей. Медленно, очень медленно отделились оба ее конца, несколько хлопьев куда-то уплыли и поднялись ввысь; потом они исчезли, за ними мало-помалу исчезла и вся масса, словно невидимая рука остановила прялку.

Если друзья и улыбались, узнав о странных теориях бродячего метеоролога, то другие мои наблюдения, быть может, заставят их расхохотаться, ибо не скрою, что мое путешествие, собственно, было бегством от тех невзгод, которые я претерпел на пятьдесят первой параллели, и, не скрою, на сорок восьмой я надеялся попасть в истинный Гозан. Увы, меня ждало

разочарование, о чем мне следовало бы знать заранее, — ведь не только географическая широта создает климат и погоду, но горные хребты, в первую очередь те, что тянутся с востока на запад. В них постоянно происходят значительные перемены, от которых всего больше страдают расположенные к северу земли. Так этим летом погоду на севере, по-видимому, определил большой Альпийский хребет, где я все это пишу. В последние месяцы здесь непрерывно шли дожди, а юго-западный и юго-восточный ветры упорно перегоняли их на север. В Италии, говорят, стояла жаркая, даже засушливая погода.

А сейчас несколько слов о растительном мире, зависимом от климата, высоты гор и степени влажности. Я и здесь ничего особенно нового не обнаружил, но знания мои обогатились. В долине, не доезжая Инсбрука, много плодоносящих яблонь и груш, персики же и виноград сюда завозят из Италии, вернее, из Южного Тироля. Под самым Инсбруком в изобилии сеют кукурузу и гречиху. Повыше, возле Бреннера, мне встретились первые лиственницы, под Шёнебергом — европейский кедр. Интересно, стала бы дочка арфиста и здесь спрашивать меня о названии деревьев?

В ботанике я еще не оставил позади поры школярства. До Мюнхена я думал, что встречу здесь лишь обыкновеннейшие растения. Разумеется, моя торопливая езда днем и ночью не способствовала наблюдениям более точным и тонким. Правда, у меня с собой Линней, к тому же я затвердил его терминологию, но откуда у меня возьмется досуг и покой для вдумчивого анализа, который, насколько я себя знаю, никогда не был и не будет моей сильной стороной? Посему я изощряю свое зрение на обычном, и когда у Вальхензее я увидел первую горечавку, меня осенило, что до сих пор новые растения я всегда находил у воды.

И еще я насторожился, заметив, что высота гор явно влияет на растительность. Я не только нашел здесь виды мне незнакомые, но заметил, что и давно мне известные изменились в своем развитии. В местах более низменных ветки и стебли были сочнее, листья шире, глазки располагались теснее; выше, в горах, ветки и стебли становились более нежными, гладкими, а следовательно, и узлы дальше отстояли один от другого, листья принимали остроконечную форму. Заметив это по иве и горечавке, я убедился, что дело тут не в различии пород. На Вальхензее я тоже обратил вниманье на камыш, более тонкий и длинный, чем у озер пониже.

Известковые Альпы, по которым до сих пор пролегал мой путь, — серого цвета, формы их причудливы, неправильны и прекрасны, хотя основания резко отличаются от позднейших

напластований. Но так как здесь встречаются и неравномерные слои, а скалы и вообще-то выветриваются по-разному, то склоны и вершины выглядят весьма своеобразно. Эти породы прослеживаются вдоль перевала Бреннера. Вблизи верхнего озера я обнаружил другую разновидность. С темно-зеленым и темно-серым слюдяным сланцем с многочисленными прослоями кварцесодержащей породы контактируют белые плотные известняки, слюдистые по краям и залегающие в виде крупных, хотя и сильно нарушенных выходов. Выше них опять встречаются слюдяные сланцы, показавшиеся мне менее плотными, еще выше обнажаются своеобразные гнейсы, точнее гранито-гнейсы, сходные с теми, которые развиты в окрестностях Эльбогена. Здесь, наверху, высится скала из слюдяных сланцев. Воды, текущие с гор, выносят эти породы и обломки серых известняков.

Видимо, невдалеке располагается гранитный массив, являющийся источником выноса этих пород. Судя по карте мы находимся на склоне Большого Бреннера, с которого во все стороны устремляются водостоки.

Во внешнем облике здешних жителей я успел подметить следующее. Это бравые, рослые люди. Они все до известной степени похожи друг на друга: карие, широко открытые глаза и красиво изогнутые брови у женщин, у мужчин брови светлые и широкие. Зеленые шляпы, которые они носят, на фоне серых скал выглядят радостно и весело. Они украшают их лентами или широкими тафтяными шарфами с бахромою, которые изящно и умело прикалывают булавками. Вдобавок у каждого на шляпе цветок или перо. Женщины, напротив, портят себя белыми мохнатыми шапками из бумажной материи, такими широкими, что они смахивают на мужские ночные колпаки. Вид у них в этом уборе весьма странный; удивительно, что за пределами своей страны они носят зеленые мужские шляпы, которые им очень даже к лицу.

Я не раз имел случай убедиться, как ценит здесь простонародье павлиньи перья, да и вообще любое пестрое перо. Всякому, кто захочет поездить по этим горам, следовало бы припасти их на дорогу. Такое перо, подаренное в подходящую минуту, будет желаннее самых щедрых чаевых.

В то время как я раскладываю, подбираю и скрепляю эти листки, дабы моим друзьям легче было проследить за всем происходившим со мною до сего дня, а заодно сваливаю с сердца тяжесть благоприобретенных познаний и новых дум, ужас охватывает меня при взгляде на некоторые тетрадки. О них я должен откровенно и кратко сказать: ведь это мои спутники, не окажут ли они на меня чрезмерного влияния в ближайшем

будущем?

Я захватил с собою в Карлсбад все свои сочинения, чтобы наконец передать их Гёшену для намеченного им издания. Непечатавшиеся вещи хранились у меня в превосходных списках, сделанных умелой рукою секретаря Фогеля. Этот славный человек, желая быть мне полезным своим уменьем и расторопностью, и ныне сопровождал меня. Благодаря ему, равно как и дружескому содействию Гердера, я уже послал издателю первые четыре тома и теперь намеревался проделать то же самое с четырьмя последними. В них частично были помещены черновые наброски работ, даже фрагменты, ибо дурная привычка многое начинать и бросать, когда ослабеет интерес, изрядно возросла у меня с годами, всевозможными занятиями и развлечениями.

Поскольку эти рукописи были при мне, я охотно пошел навстречу желанию просвещенного карлсбадского общества и прочитал им все, что доселе оставалось неизвестным, каждый раз выслушивая горькие сетования по поводу незавершенности того, что им хотелось бы дослушать до конца.

Празднованье моего дня рожденья в основном свелось к тому, что я получал стихотворения от имени моих начатых было, но потом заброшенных произведений; эти стихотворные послания, каждое на свой лад, упрекали меня за мою нерадивость. Среди них выделялось стихотворение от имени «Птиц», в нем депутация от этих резвых созданий, присланная к Трейфрейнду, настойчиво просила его наконец основать и устроить для них обещанное царство. Пожалуй, не менее вкрадчивы и милы были отзывы о других моих отрывках и обрывках, так что они вдруг ожили передо мной, и я охотно поделился с друзьями былыми намерениями и завершенными планами. Тут на меня посыпались требования и пожелания, так что в выигрыше оказался Гердер, — ведь это он уговорил меня вторично захватить с собою эти бумаги, а главное — уделить еще немного вниманья «Ифигении», считая, что она, право же, его заслуживает. В том виде, в каком она сейчас лежит передо мной, это скорее набросок, чем законченное произведение; написана она поэтической прозой, местами переходящей в ямбический ритм, впрочем, схожий и с другими размерами. Разумеется, это изрядно вредит впечатлению, разве что уж очень искусно читать ее, скрадывая недостатки. Он с горячностью внушал мне это, а так как я скрыл от него, как и от всех прочих, расширенный план своего путешествия, то Гердер полагал, что речь опять идет о краткой поездке в горы; посему, насмешливо относясь к минералогии и геологии, он высказал пожелание, чтобы я не дубасил молотком

по мертвому камню, а сосредоточил бы свои силы на «Ифигении». Я всегда уступал благожелательным настояниям, но пока что не выбрал времени сосредоточить на ней свое внимание. Сейчас я вынимаю ее из пакета и беру с собой в прекрасную теплую страну — пусть руководит мною в моем странствии по горам. День так долог, — размышляй сколько угодно, дивные картины окружающего мира не только не оттесняют поэтической взволнованности, напротив, в сочетании с движением и вольным воздухом усиливают ее.

ОТ БРЕННЕРА ДО ВЕРОНЫ

Триент, 11 сентября, утром.

Прободрствовав пятьдесят часов кряду в непрерывных трудах, вчера около восьми вечера я прибыл сюда, вскоре улегся спать и теперь уже снова в состоянии продолжить свой рассказ. Девятого вечером, закончив первую тетрадь дневника, я хотел еще зарисовать постоялый двор и почтовую станцию на Бреннере, но из этого ничего не вышло, все характерное от меня ускользнуло, и я, недовольный и раздосадованный, возвратился домой. Трактирщик спросил, не хочу ли я ехать дальше, ночь-де будет лунная и дорога хорошая. Хоть я и отлично знал, что лошади утром понадобятся ему для привоза отавы и совет его достаточно корыстен, я все же с ним согласился, поскольку он совпадал с моими намерениями. Солнце опять проглянуло, дышалось легко, я уложил вещи и в семь часов тронулся в путь. Атмосфера взяла верх над сгущавшимися тучами, — словом, вечер выдался прекрасный.

Почтальон уснул, и лошади рысью бежали под гору по знакомой дороге. На ровном месте они, правда, замедляли шаг, но тут возница просыпался и взбадривал их, так что я очень быстро ехал меж высоких скал вниз по течению бурного Эча. Взошедшая луна осветила грандиозную картину. Мельницы среди старых-престарых сосен над пенящимся потоком, Эвердинген да и только.

Когда в девять часов я приехал в Штерцинг, мне намекнули, чтобы я немедленно отправлялся дальше. В Миттенвальде ровно в полночь все уже спали крепким сном, кроме почтальона; итак — дальше, в Бриксен, откуда меня снова спровадили, и на рассвете я был уже в Кольмане. Почтальоны так гнали, что у меня голова шла кругом, и хоть досадно мне было с ужасающей быстротою мчаться по этим дивным местам, да еще ночью, но в глубине души я был рад, что попутный ветер гнал меня навстречу моим желаниям. На рассвете я увидел первые виноградники. Женщина с корзиной персиков и груш попалась мне навстречу. В семь мы уже были в Гейгене и сразу же двинулись дальше…

Солнце весело и ярко светило, когда я прибыл в Боцен. Торговцы, встречавшиеся на каждом шагу, меня порадовали. Здесь во всем сказывается осмысленное благополучие существования. На рыночной площади сидели торговки с фруктами в больших плоских корзинах, фута эдак четыре в диаметре, в них были рядами положены персики, чтобы не

помялись, точно так же и груши. Мне вспомнилось изречение, красовавшееся над окном гостиницы в Регенсбурге:

Comme les pêches et les mélons
Sont pour la bouche d'un baron,
Ainsi les verges et les bâtons
Sont pour les fous, dit Salomon.

Не подлежит сомнению, что это написано северным бароном, а также очевидно, что в этих краях ему пришлось поступиться своими взглядами.

Боценская ярмарка ведет крупную торговлю шелками, привозят сюда и сукна, да еще кожи, собранные в горных поселениях. Впрочем, многие купцы съезжаются на ярмарку для того, чтобы взыскать долги, принять заказы и открыть новые кредиты. Я испытывал большой соблазн хорошенько рассмотреть все товары, сюда привезенные, но беспокойство и охота к перемене мест не дают мне роздыха, и я спешу вперед. Утешением мне служит разве то, что при нынешнем процветании статистики все это, вероятно, уже черным по белому стоит в книгах, и, по мере надобности, у них можно почерпнуть любые сведения. Впрочем, до поры до времени мне важны только чувственные впечатления, которых не дает никакая книга, никакая картина. Дело в том, что я вновь ощущаю интерес к окружающему меня миру, испытываю свою способность наблюдать, проверяю, достаточно ли велики мой опыт и знания, довольно ли ясен, чист и проницателен мой глаз, многое ли он может схватить при такой быстроте передвижения и есть ли надежда, что изгладятся морщины, глубоко избороздившие мою душу. Уже сейчас, наверно, от того, что мне приходится все делать самому, а значит, постоянно быть сосредоточенным и настороженным, даже эти немногие дни сделали мой разум более гибким. Я вынужден интересоваться денежным курсом, менять, расплачиваться, все это записывать, делать себе пометки, тогда как раньше я только размышлял, пестовал свои желанья, что-то задумывал, приказывал и диктовал.

От Боцена до Триента девять миль по плодородной долине, которая с каждой милей становится еще плодороднее. Все, что в горах кое-как прозябает, здесь полнится жизненными силами, солнце печет вовсю, и снова начинаешь верить в бога.

Какая-то бедная женщина окликнула меня, прося взять в карету ее ребенка, — раскаленная почва жгла ему подошвы. Я сделал сие доброе дело во славу могучего светила. Ребенок был как-то чудно́ наряжен, но я ни на одном языке даже слова от него

не добился.

Эч течет здесь тише и во многих местах образует широкие отмели. У реки, вверх по холмам, все уж до того тесно посажено, что, кажется, одно должно задушить другое. Виноградники, кукуруза, шелковина, яблони, грушевые и айвовые деревья, орешник. Стены весело увиты бузиной. Плющ, — плети у него здесь толстые, — лезет вверх по скалам и широко расстилается на них; в прогалах снуют ящерицы. Все, что здесь обитает и движется, напомнило мне мои любимые картины. Подвязанные на голове косы женщин, открытая грудь и легкие курточки мужчин, раскормленные волы, которых они гонят с базара домой, навьюченные ослики, — это ожившие картины Генриха Рооса. А когда наступает теплый вечер и редкие облака отдыхают на горах или, скорее, стоят, чем плывут, по небу и, едва зайдет солнце, начинается стрекотанье кузнечиков, тогда наконец чувствуешь себя в этом мире как дома, а не в гостях или в изгнании. Мне все это до того по душе, словно я здесь родился и вырос, а сейчас только-только вернулся домой из Гренландии, с охоты на китов. Я радуюсь даже родимой, давно не виданной пыли, что вдруг начинает клубами виться вкруг моей кареты. Бубенцы и колокольчики кузнечиков трогают, а не раздражают меня. Весело слушать, когда озорники-мальчишки свистят взапуски с целыми когортами этих певцов, усыпавших поле; кажется, что они и вправду подзадоривают друг друга. Теплый вечер, пожалуй, еще прелестнее дня.

Если бы о моих восторгах узнал житель и уроженец юга, он счел бы меня ребячливым. Ах, все, что я сейчас говорю, давным-давно мне известно, с первого дня моих страданий под серым, недобрым небом. И радость, ниспосланная мне здесь, не становится меньше от того, что она преходяща, тогда как должна была бы быть вечно неизбежной в природе.

Триент, 11 сентября, вечером.

Бродил по древнему городу, впрочем, на некоторых его улицах высятся новые, добротно построенные дома. В церкви висела картина, изображающая, как церковный собор слушает проповедь генерала иезуитского ордена. Хотел бы я знать, что он такое им навязывает. Церковь этого ордена бросается в глаза красными мраморными пилястрами на фасаде; тяжелый занавес висит на входной двери, преграждая доступ пыли. Приподняв его, я вошел в тесный притвор, сама церковь заперта железной решеткой, но видно ее всю. Мертвая тишина царила в ней, ибо богослужение там более не совершается. Распахнута была лишь передняя дверь, так как в часы вечерни все церкви должны быть

открыты.

Покуда я стоял в раздумьях о стиле этого строения, — по-моему, оно походило на все храмы этого ордена, — вышел какой-то старик, сняв с головы камилавку. Его поношенное и посеревшее черное одеяние красноречиво свидетельствовало, что это впавший в бедность священнослужитель. Он преклонил колена перед решеткой, прочитав короткую молитву, поднялся и, повернувшись к двери, пробормотал себе под нос: «Они выгнали иезуитов, могли бы хоть выплатить им стоимость церкви. Я-то знаю, во что она обошлась и семинария тоже, — во многие, многие тысячи». С этими словами он вышел, занавес за ним закрылся, я его приподнял, но не двинулся с места. Задержавшись на верхней ступени, он проговорил: «Император здесь ни при чем, это сделал папа». Потом, уже стоя спиной к церкви и не замечая меня, он продолжал: «Сначала испанцы, потом мы, потом французы. Кровь Авеля вопиет против его брата Каина!» Он сошел с паперти и, продолжая что-то бормотать, зашагал по улице. Вероятно, этого человека в свое время содержали иезуиты, при страшном падении ордена он лишился рассудка и теперь ежедневно приходит сюда, ищет в опустелой обители прежних братьев и после краткой молитвы предает проклятию их врагов…

11 сентября, вечером.

Вот я и в Ровередо, где проходит языковая граница. Повыше язык все еще колеблется между немецким и итальянским, Впервые меня привез сюда почтальон — коренной итальянец… Трактирщик ни слова не говорит по-немецки, пришлось мне подвергнуть испытанию свои лингвистические таланты. Как я рад, что любимый язык стал для меня живым и обиходным!

Торболе, 12 сентября, после обеда.

Мне страстно хотелось, чтобы мои друзья хоть на миг очутились рядом со мной и тоже насладились бы видом, который открывается мне.

Сегодня к вечеру я бы уже мог быть в Вероне, но в стороне от моей дороги находилось дивное творение природы, поразительное зрелище — озеро Гарда, я не хотел его миновать и был с великой щедростью вознагражден за кружной путь, мною проделанный. В пять я покинул Ровередо и поехал по долине, воды которой еще изливаются в Эч. Когда подымаешься, путь тебе перегораживает гигантская скалистая гряда, которую надо перевалить, чтобы спуститься к озеру. Там я увидел прекраснейшие известняковые скалы, как нельзя более пригодные

для живописных этюдов, — ничего лучше, пожалуй, и не придумаешь. В начале спуска на северном конце озера видишь деревушку и возле нее маленькую гавань, вернее пристань, называется этот уголок Торболе. Фиговые деревья встречались мне уже на подъеме; когда же начался спуск по скалистому амфитеатру, стали попадаться первые оливки, отяжелевшие от плодов. Тут я, кстати сказать, впервые отведал влажных ягод, белых и мелких, которые едят все местные жители, — мне о них говорила графиня Лантиери.

Из комнаты, в которой я сейчас сижу, одна дверь ведет во двор. Я придвинул к ней стол и несколькими штрихами набросал вид, отсюда открывающийся. Взор охватывает озеро почти во всю длину, не виден только левый его край. Берега, по обеим сторонам обрамленные горами, пестреют бесчисленными деревушками.

После полуночи ветер дует с севера на юг, так что тот, кто собирается плыть в южном направлении, должен выбирать именно это время; уже через час-другой после восхода солнца воздушный поток движется в обратную сторону. Сейчас, в полдень, ветер бьет мне прямо в лицо и приятно охлаждает палящие солнечные лучи. Заглянул в Фолькмана, там говорится, что некогда это озеро называлось Бенако, и приводит следующий стих из Вергилия:

Fluctibus et fremitu resonans Benace marino.

Впервые то, что гласит этот латинский стих, воочию стоит передо мной, а сейчас, когда ветер крепчает и непрестанно растущие волны бьются о пристань, все выглядит точно так же, как и много веков тому назад. Кое-что, правда, стало иным, но озеро по-прежнему вскипает под порывами ветра, и вид его на веки веков облагорожен строкою Вергилия.

Написано под сорока пятью градусами, пятьюдесятью минутами.

Прохладным вечером я пошел гулять и вот взаправду очутился в новой стране, в никогда не ведомом мне окружении. Люди здесь живут в блаженной беспечности, — во-первых, ни одна дверь не имеет замка, однако трактирщик заверил меня, что мне нечего беспокоиться, даже если бы мои чемоданы были набиты бриллиантами. Во-вторых, в окнах здесь вместо стекла промасленная бумага. В-третьих, отсутствует весьма необходимое удобство, так что живешь почти в первобытных условиях. Когда я спросил коридорного, где же все-таки это удобство находится, он

показал рукою вниз, на двор. «Qui abbasso può servirsi!» Я удивился. «Dove?» — «Da per tutto, dove vuol!» — гостеприимно отвечал он. Беззаботность во всем царит чрезвычайная, но оживления и суеты — хоть отбавляй. Весь день соседки чешут языками и громко перекликаются, при этом каждая чем-то занята, о чем-то хлопочет. Я не видал ни одной праздной женщины.

Трактирщик с итальянской напыщенностью объявил, что счастлив будет попотчевать меня отменнейшей форелью. Ловят ее вблизи от Торболы, где ручей сбегает с гор, рыба же ищет по нему дорогу наверх. С этой ловли император получает десять тысяч гульденов арендной платы. Собственно, это не форель, а крупные рыбины, иной раз до пятидесяти фунтов весу, чешуя их, от хвоста до головы, испещрена точками, вкус нежный и приятный — нечто среднее между форелью и лососиной.

Но наибольшее удовольствие мне доставляют фрукты, винные ягоды и груши, — им и положено быть вкусными в краю, где уже растут лимоны.

14 сентября.

Встречный ветер, что вчера занес нашу лодку в гавань Мальчезине, сыграл со мной недобрую шутку, которую я, впрочем, перенес благодушно, а в воспоминаниях она даже кажется мне забавной. Рано утром, как то и входило в мои намерения, я отправился в старый замок, каждому доступный, ибо там нет ни ворот, ни стражи, ни охраны. В замковом дворе я уселся насупротив башни, высящейся на скале и частично в ней высеченной. Весьма удобный уголок для зарисовок — рядом с запертой дверью, к которой вели три или четыре ступеньки, резная каменная скамеечка, вделанная в дверной косяк, какие и по сей день еще встречаются у нас в старинных зданиях.

Я недолго просидел на этом месте, так как во дворе стали появляться люди; они разглядывали меня, уходили и приходили вновь. Толпа увеличивалась, наконец движенье прекратилось, и все они сгрудились вокруг меня. Я заметил, что мои зарисовки привлекают к себе внимание, но не смутился и продолжал спокойно делать свое дело. Наконец ко мне протиснулся человек не слишком привлекательной наружности и спросил, чем это я занимаюсь. Я отвечал, что зарисовываю старую башню, на память о Мальчезине. Он заявил, что это не разрешается и я должен прекратить свое занятие. Так как он говорил на языке венецианского простолюдина и я, действительно, с трудом понимал его, то и ответил, что ничего не понимаю. Тогда он, с истинно итальянской безмятежностью, схватил мой листок и разорвал его, оставив, однако, клочки лежать на папке. Тут до

меня донесся шепоток неудовольствия, пробежавший по толпе: какая-то пожилая женщина громко сказала, что так, мол, не годится, надо кликнуть подесту, он уж разберется в этом деле. Я стоял на ступеньках, спиною прислонившись к двери, и смотрел на непрерывно увеличивающуюся толпу. Любопытные, пристальные взгляды, добродушное выражение на большинстве лиц и все прочее, что казалось мне характерным для этой иноплеменной толпы, производило на меня достаточно комическое впечатление. Я словно бы видел перед собою хор птиц на сцене Эттерсбургского театра, так часто потешавший меня, когда я исполнял роль Трейфрейнда. Это привело меня в самое радужное настроение, так что когда явился подеста со своим актуарием, я чистосердечно его приветствовал и на вопрос, почему я рисую крепость, скромно ответил, что эти стены крепостью не считаю. Потом постарался обратить внимание толпы на ветхость стен и башен, на отсутствие ворот, — словом, на полнейшую беззащитность так называемой крепости, — и заверил подесту, что видел перед собой и рисовал только руину.

Мне возразили: ежели это руина, так что же я нашел в ней интересного? Я отвечал весьма обстоятельно, намереваясь выиграть время и завоевать расположение толпы, что им ведь известно, сколь многих путешественников именно руины влекут в Италию, что Рим, столица мира, разрушенная варварами, полон руин, которые были зарисованы сотни и сотни раз, что далеко не все древние строения сохранились так, как амфитеатр в Вероне, который я, кстати сказать, надеюсь вскоре увидеть.

У подесты, стоявшего передо мною, только немного пониже, долговязого, но не слишком тощего мужчины, туповатые черты скучного лица вполне соответствовали медлительной, меланхолической манере, с какою он задавал свои вопросы. Актуарий, поменьше ростом и порасторопнее, тоже не сразу нашелся в столь новом и необычном случае. Я еще долго говорил в том же духе, меня, кажется, охотно слушали, на некоторых женских лицах я даже читал сочувствие и благосклонное одобрение.

Стоило мне, однако, упомянуть о веронском амфитеатре, известном здесь под названием «арены», как актуарий, уже успевший собраться с мыслями, заметил, что все это, возможно, и так, что «арена» всемирно известная римская постройка, в этих же башнях ничего примечательного нет, тем не менее они являются границей между Венецианской республикой и Австрийской империей, а посему шпионить здесь не положено. Я пустился в пространные объяснения: не одни-де греческие и римские древности заслуживают внимания, но также и памятники

средневековья. Местным жителям, конечно, нельзя поставить в упрек, что они, в противоположность мне, не воспринимают живописной красоты с детства им знакомых строений. На мое счастье, в эту минуту утреннее солнце озарило башню, скалы и стены, и я принялся восторженно расписывать им эту картину. Но так как мои слушатели стояли спиной к упомянутым красотам, не желая терять меня из виду, то они разом, наподобие птиц, называемых вертишейками, повернули головы, чтобы зрительно насладиться тем, чем я услаждал их слух. Даже подеста повернулся, не без важности, конечно, к описываемой мною картине. Эта сцена так меня рассмешила, что я еще больше вошел во вкус и не позабыл упомянуть даже о плюще, который за долгие столетия так пышно разукрасил скалы и стены.

Актуарий поспешил заметить, что так-то оно так, но император Иосиф — государь зело беспокойный и, конечно, лелеет злые умыслы против Венецианской республики, я же, вероятно, его подданный, и он послал меня разведать, как там все обстоит на границе.

«Ничуть не бывало, — воскликнул я, — как и вы, я горжусь тем, что я гражданин республики, пусть не столь большой и могущественной, как достославная Венеция, но все же самостоятельной и по торговым связям, богатству и мудрости своих правителей не уступающей ни одному вольному городу Германии. Я родом из Франкфурта-на-Майне; думается, что доброе имя этого города и вам хорошо известно».

«Из Франкфурта-на-Майне! — воскликнула какая-то хорошенькая молодая женщина. — Вот видите, господин подеста, у вас есть возможность тотчас узнать, что собой представляет этот чужестранец, который мне кажется добропорядочным человеком. Прикажите позвать Грегорио, он долго служил там и лучше всех нас разберется в этом деле».

Благожелательных лиц стало больше, первый из моих хулителей скрылся, и когда пришел Грегорио, дело уже явно обернулось в мою пользу.

Это был человек лет за пятьдесят, с обычным смуглым итальянским лицом. Он говорил и держал себя так, словно ничто чужое ему не чуждо, и тотчас же сообщил мне, что служил у Болонгаро и рад будет услышать об этом семействе и о городе, о котором вспоминает с неизменным удовольствием. Мне повезло, — его пребыванье во Франкфурте пришлось на мои детские годы, из чего я извлек двойную выгоду, сумев рассказать ему, как все было в ту пору и что изменилось в дальнейшем. Рассказал я и об итальянских семьях, все они были мне знакомы. Он был очень доволен, услыхав разные подробности, — к

примеру, что господин Аллезина в 1774 году справил свою золотую свадьбу и что в честь этого события была отчеканена медаль, которая имеется и у меня. Грегорио отлично помнил, что супруга сего негоцианта была урожденная Брентано. Я рассказал ему даже о детях и внуках этих семейств, о том, как они подросли, переженились, уже в внуках приумножили свой род и какую жизнь для себя избрали.

Покуда он слушал подробнейшие сведения, которые я давал обо всем, что бы он ни спрашивал, лицо его принимало то серьезное, то радостное выражение. Он был взволнован и растроган, народ, столпившийся вокруг нас, не мог досыта наслушаться, и Грегорио приходилось часть нашей беседы переводить на местный диалект.

Под конец он сказал: «Господин подеста, я уверен, что это честный, просвещенный и хорошо воспитанный человек, который путешествует, чтобы пополнить свое образование. Отпустим его по-хорошему, пусть он так расскажет о нас своим землякам, чтобы им захотелось посетить Мальчезине; право, наш живописный уголок заслуживает того, чтобы им восхищались чужеземцы». Я еще поддал жару его словам, воздав хвалу всему краю, местоположению Мальчезине и его жителям, не забыв, конечно, мудрых и предусмотрительных представителей власти.

Мои слова произвели наилучшее впечатление, и мне было разрешено в сопровождении мастера Грегорио свободно осматривать Мальчезине и его окрестности; хозяин гостиницы, в которой я остановился, заранее радуясь притоку чужеземных постояльцев, когда те прослышат о достопримечательностях Мальчезине, тоже вызвался сопровождать нас. С живейшим любопытством рассматривал он предметы моей одежды. Но зависть в нем возбудил лишь мой маленький пистолет, легко умещавшийся в кармане. Он назвал счастливцами тех, кто вправе носить такое прекрасное оружие, тогда как у них это запрещено под страхом сурового наказания. Я несколько раз пытался прервать его дружески-назойливые речи, чтобы высказать благодарность своему избавителю. «Не благодарите меня, — отвечал этот славный человек, — мне вы ничем не обязаны. Если бы подеста лучше разбирался в своем деле, а его помощник не был отчаянным корыстолюбцем, вы бы так дешево не отделались. Первый растерялся больше, чем вы, второму ваш арест, донесения и отправка вас в Верону не принесли бы ни гроша; он это живо смекнул, и вы были свободны еще до того, как закончилась наша беседа».

Вечером хозяин гостиницы повел меня в свой виноградник, красиво расположенный на склоне холма, спускавшегося к озеру.

С нами был и его пятнадцатилетий сын, которому вменялось в обязанность влезать на деревья и выискивать для меня лучшие плоды, в то время как отец выбирал самые спелые гроздья.

Меж этих двоих простодушных, благожелательных людей в одиноком, заброшенном, отдаленном уголке, размышляя о сегодняшних моих приключениях, я живо почувствовал, какое удивительное существо человек: вместо того чтобы спокойно вкушать радость жизни в добропорядочном обществе, он идет навстречу опасностям и тревогам единственно из-за своей причуды — познать этот мир, познать и то, что он объемлет.

Около полуночи хозяин проводил меня к баркасу, неся корзинку, полную фруктов, которые мне презентовал Грегорио. Так, при попутном ветре, я простился с берегом, грозившим превратить меня в листригона.

…Замечу еще, что красота, открывающаяся нашему взору, когда едешь вниз, — неописуема. Это сплошной ухоженный сад, раскинувшийся на много миль в длину и в ширину у подножия высоких гор и круто вздымающихся скал. Десятого сентября около часу дня я прибыл в Верону, где хочу сначала дописать еще несколько строк, закончить и скрепить в тетрадь вторую часть дневника, а вечером надеюсь, уже с легким сердцем, увидеть амфитеатр.

Касательно погоды в эти дни сообщу следующее. Ночь с девятого на десятое была то ясной, то облачной, вокруг луны все время стоял ореол. Поутру небо затянуло серыми, но легкими тучками, которые рассеялись по мере приближения дня. Чем ниже я спускался, тем лучше становилась погода. Хотя горный кряж в Боцене оставался по-ночному темным, но состояние воздуха резко изменилось. По различным ландшафтным фонам, очаровательно разделенным просветами где более, где менее яркой синевы, видно было, что атмосфера наполнена равномерно распределившимися парами, которые она в состоянии удержать, почему они и не надают росой или дождем и не скапливаются в тучи. Постепенно спускаясь ниже, я отчетливо видел, что все пары, подымающиеся из Боценской долины, все штрапсы, тянущиеся с южных гор к полунощным краям, не закрывали их, но окутывали своего рода маревом. В дальней дали, над горами, я разглядел так называемую «промоину». Южнее Боцена все лето стояла прекрасная погода, только время от времени выпадало немного водицы (теплый дождик здесь называют «водицей»), а вскоре уже сияло солнце. Вчера тоже чуть-чуть покапало, и то при солнечном свете. Давно не выдавалось у них такого хорошего года: все уродилось прекрасно, а дурное они переправили к нам.

О горах и горных породах скажу лишь несколько слов, ибо путешествие Фербера в Италию и Хакета по Альпам достаточно сообщают нам об этом отрезке пути. В четверти часа езды от Бреннера находится мраморная каменоломня; я проезжал мимо нее в сумерках. Не подлежит сомнению, что под нею, как и под другой, по ту сторону хребта, залегает слюдяной сланец. Последний встретился мне и под Колманом, когда уже развиднелось. Пониже я увидел порфиры. Скалы были великолепны, а камень в кучах вдоль шоссе так мелко раздроблен — хоть сейчас составляй из него кабинетные коллекции. Я мог без труда взять с собой по образцу от каждой породы, надо было только приучить свой глаз к меньшим масштабам и не жадничать. Ниже Колмана я обнаружил порфир, расщепляющийся на равномерные пластины, между Бранчолем и Неймарктом — схожий, пластины коего, в свою очередь, расщепляются на столбчатые кристаллы. Фербер принял его за вулканический продукт, но это было четырнадцать лет тому назад, когда весь мир пылал в головах людей; Хакет уже смеется над этим.

О людях могу сказать лишь немногое, да и то не слишком лестное. Когда я спускался с Бреннера и передо мной забрезжил день, я заметил разительную перемену в их обличии. Мне очень не понравилась смуглая бледность женщин. Их лица свидетельствуют об убогой жизни, на детей смотреть больно, мужчины выглядят несколько лучше, телосложение у них статное и правильное. Мне думается, что причина болезненных отклонений заложена в излишнем употреблении кукурузы и гречихи. Первую они называют желтой гречихой, вторую — черной. Ту и другую сначала размалывают, из муки варят густую кашу и в таком виде едят. Немцы, по ту сторону гор, делят это тесто на кусочки и поджаривают в масле. Итальянские тирольцы поедают его просто так, иногда присыпая сыром, и весь год обходятся без мяса. Такая пища неизбежно склеивает и засоряет кишки, в особенности у женщин и детей, о чем свидетельствует их нездоровый цвет лица. Кроме того, они едят фрукты и зеленые бобы, которые отваривают в воде, приправляя постным маслом и чесноком. Я удивился: неужто здесь нет богатых крестьян? «Конечно, есть», — отвечала мне дочка боценского трактирщика.

«И они тоже питаются не лучше?» — «Нет, они уже привыкли». — «Что ж они делают с деньгами? На что их тратят?» — «Над ними тоже есть господа, которые отбирают деньги».

Далее я узнал от нее, что крестьянам-виноделам, казалось бы самым зажиточным, всего туже приходится, поскольку их держат в руках городские купцы. В неурожайные годы они дают им деньги авансом, а в урожайные скупают вино за бесценок.

Впрочем, это ведь повсюду так…

ОТ ВЕРОНЫ ДО ВЕНЕЦИИ

Верона, 16 сентября.

Итак, амфитеатр, первый значительные памятник древности, который я увидел, и в какой сохранности! Когда я вошел, но особенно когда стал ходить по верхней его кромке, странное чувство охватило меня: подо мной было нечто грандиозное, а в то же время, словно бы и не было ничего. Разумеется, его надо видеть не пустым, а до отказа забитым народом, как то было уже в наше время, на корриде, устроенной в честь императора Иосифа и папы Пия VI. Говорят, что даже император, привыкший видеть перед собою толпы, был поражен. Но в древности, когда народ был более народом, чем нынче, амфитеатр, по-настоящему выполнял свое предназначение. Ибо такая арена должна, собственно, сама по себе импонировать народу, уже одним своим видом дурачить его.

Когда волнующее зрелище разыгрывается на ровном месте, когда вся и все туда устремляются, те, что оказались сзади, непременно хотят быть выше передних: влезают на скамейки, подкатывают бочки, подъезжают в повозках, кладут доски и так и эдак, толпы усыпают соседний холм — вследствие чего быстро образуется кратер.

Ежели зрелище неоднократно повторяется на том же месте, то для тех, кто в состоянии заплатить, строят легкие помосты, остальные устраиваются как попало. Удовлетворить всеобщую потребность — к этому и сводится задача архитектора. Он строит простейший искусственный кратер в расчете, что украшением ему послужит народ. Народ же в таком скоплении не может сам себе не дивиться, ибо люди привыкли видеть себя и себе подобных в сутолоке, в давке и в суете, — здесь же многоголовый, разномыслящий, мятущийся зверь вдруг оказался сплоченным в единое благородное целое, к единению предназначенный, слитый, скрепленный в общую массу, в единый облик, одухотворенный единым духом. Простоту овала с приятностью чувствует любой глаз, любая голова является мерилом гигантского целого. Сейчас, когда я вижу его пустым, у меня нет масштаба, не знаешь, велик он или мал.

Нельзя не воздать хвалы веронцам за то, как они поддерживают свой амфитеатр. Он построен из красноватого мрамора, поддающегося выветриванию, поэтому они, ряд за рядом, восстанавливают разрушенные ступени, так что теперь почти все выглядят новыми. Кстати, там имеется надпись,

прославляющая некоего Иеронима Мавригено за невероятное рвение, затраченное им на этот памятник древности. От наружной стены осталась лишь самая малая часть, и я сомневаюсь, была ли она вообще закончена. Нижние своды, примыкающие к большой площади Il Brà, сданы в нем ремесленникам, и, право же, весело смотреть на эти выемки, вновь наполнившиеся жизнью…

Верона, 16 сентября.

…Ветер, веющий с древних гробниц, напоен благоуханием, словно он пронесся над холмом, усаженным розами. Надгробия прелестны, трогательны и всегда изображают жизнь. Вот муж и жена выглядывают из ниши, как из окошка. Подальше отец, мать и сын между ними смотрят друг на друга с непередаваемо естественным выражением. Там юноша и девушка протягивают друг другу руки. Здесь лежит отец, а семейные, столпясь вокруг, словно занимают его беседой. Меня до глубины души растрогала непосредственная связь изображений с нынешней жизнью. Это позднейшее искусство, но простое, естественное и всем понятное. Нет здесь закованных в латы коленопреклоненных мужей, ожидающих радостного воскресения. Художник, с бóльшим или меньшим искусством, изобразил лишь обыденную жизнь, тем самым продлив и увековечив существование людей. Они не простирают руки с мольбою, не подымают взор горе, они остались здесь, на земле, такие, какими были. Стоят группами, участливо относятся друг к другу, друг друга любят, и все этопрелестно выражено в камне, хотя и не без некоторой ремесленнической примитивности. Многое я понял по-новому и благодаря великолепно изукрашенной мраморной колонне.

Как ни похвально такое обыкновение, все же мы видим, что благородный дух почитания прошлого, положивший ему начало, теперь его покинул. Драгоценный треножник вскоре рухнет, ибо стоит открыто и не защищен от непогоды, налетающей с запада, тогда как деревянный футляр запросто уберег бы это сокровище.

Будь дворец проведиторе достроен, мы увидели бы прекрасный образец зодческого искусства. Правда, знать все еще строит много, но, увы, каждое семейство — на том месте, где стояло прежнее его жилище, а значит, частенько на узких улочках. Так, сейчас возводится роскошный фасад семинарии на захудалой улице отдаленного предместья.

Когда я, со случайно повстречавшимся мне путником, проходил мимо больших величественных ворот какого-то удивительного строения, он добродушно осведомился, не хочу ли

я на минуту заглянуть во двор. Это был Дворец правосудия. Из-за высоты зданий двор казался глубочайшим колодцем. «Здесь, — сказал он, — содержатся все преступники и подозреваемые». Я огляделся. По всем этажам мимо множества дверей шли открытые галереи с железными перилами. Узник, которого вели на допрос, прямо из своей камеры оказывался на открытом воздухе, но и у всех на глазах. А так как комнат для допроса здесь, вероятно, было немало, то цепи гремели на всех этажах и на всех галереях. Очень тяжкое впечатление!..

Верона, 17 сентября.

Произведений живописи, увиденных мною, я коснусь лишь бегло и присовокуплю здесь несколько замечаний. Я пустился в это замечательное путешествие не затем, чтобы обманывать себя, а чтобы себя познать среди того нового, что мне откроется, и теперь могу откровенно признаться: в искусстве, в ремесле живописца я мало что смыслю. Мое вниманье и мои наблюдения в общем-то сосредоточены лишь на практической стороне предмета и на его трактовке.

Сан-Джорджио — галерея, полная превосходных картин, алтарные образы, конечно, не одинаково хороши, но, безусловно, примечательны. Несчастные художники, — что только им не приходилось писать! И для кого! Дождь манны небесной футов эдак тридцать длины и двадцать высоты! На противоположной стене чудо с пятью хлебами. Ну, что тут писать? Голодные люди, набросившиеся на мелкие зерна, огромная толпа, которую одаривают хлебом. Живописцы не пожалели сил, стараясь придать значительность этому убожеству. И все-таки даже подневольный труд дал гению возможность создать и прекрасное. Художник, которому надлежало изобразить святую Урсулу с одиннадцатью тысячами девственниц, весьма хитроумно вышел из положения. Святая стоит на переднем плане с победоносным видом амазонки, покорившей страну. Благородная девственница, лишенная чувственной прелести. В дальней, все уменьшающей перспективе, мы видим шествие ее воинства, сходящего с кораблей. Тициановo «Вознесение Марии» в соборе изрядно почернело. Мысль заставить возносящуюся богоматерь смотреть не на небо, а долу, на своих друзей, достойна всяческих похвал.

В галерее я обнаружил превосходные вещи Орбетто и как-то разом ознакомился с этим достойным художником. В отдалении узнаешь только о мастерах наивысшего класса, причем нередко довольствуешься их именами, но стоит приблизиться к звездному небу, и для тебя уже мерцают звезды второй и третьей величины, и каждая из них является частью всей картины мироздания, — о,

тогда мир огромен, а искусство неимоверно богато.

В Палаццо Бевилаква имеются прекрасные произведения живописи. Так называемый «Рай» Тинторетто, — собственно, венчание Марии царицей небесной перед лицом патриархов, пророков, апостолов, святых, ангелов и т. д., — удобный случай показать все многообразие гениально одаренного художника. Легкость кисти, ум, множество выразительных средств, собственно, чтобы это оценить, чтобы вдосталь нарадоваться этой картине, надо было бы всю жизнь иметь ее перед глазами. Работа художника уходит в бесконечность, — даже из последних, исчезающих в сиянии нимбов головок ангелов каждая имеет свой характер. Наиболее крупные фигуры, — величиной, наверно, с фут, — Мария и Христос, возлагающий на нее корону, дюйма эдак четыре. Ева, пожалуй, самая красивая женщина на картине; и, как издревле, несколько похотливая.

Несколько портретов работы Паоло Веронезе лишь приумножили мое к нему уважение. Собрание антиков — великолепно; распростертый сын Ниобеи — восхитителен, бюсты, несмотря на реставрированные носы, в большинстве своем очень интересны, так же как Август в гражданской короне, Калигула и прочие.

Радостное преклонение перед великим и прекрасным свойственно мне с младых ногтей, и сознание, что я день ото дня, час от часу ращу и воспитываю в себе это свойство, — поистине блаженное сознание.

В краях, где день услаждает тебя, вечер радует и того больше, наступление ночи — значительное событие. Окончена работа, вернулись с прогулки гуляющие, отец нетерпеливо поджидает дома свою дочь: день окончен. Но мы, киммерийцы, едва знаем, что такое день. В вечном тумане и сумраке, — что день, что ночь, нам все равно. Ибо долго ли мы радуемся и веселим свою душу под открытым небом? Здесь наступление ночи означает, что прошел день, состоявший из вечера и утра, прожиты двадцать четыре часа, начинается новый отсчет времени: гудят колокола, люди творят вечернюю молитву, служанка вносит в комнату зажженную лампу и говорит: «Felicissima notte!» Этот миг наступает раньше или позже в зависимости от времени года, и тот, кто живет здесь полной жизнью, с толку не собьется, — ведь любая радость приурочена не к какому-то часу, а ко времени дня. Навяжите этому народу немецкое время, и вы сведете его с ума, ибо здешнее тесно связано с натурой итальянцев. За час-полтора до наступления ночи местная знать выезжает кататься по Бра, широкой и длинной улице, к новым воротам Nuova, потом за ворота, вокруг города, и, когда пробьет полночь, все экипажи

поворачивают обратно. Кто едет в церковь послушать «Ave Maria della sera», кто задерживается на Бра, кавалеры подходят к каретам, беседуют с дамами; это продолжается довольно долго, я ни разу не дождался конца. Пешеходы прогуливаются до глубокой ночи. Сегодня шел дождь, он только-только прибил пыль, — весело и радостно было на все это смотреть…

Виченца, 19 сентября.

Я приехал сюда несколько часов тому назад, успел уже обежать город, видел Олимпийский театр и строения Палладио. Для удобства приезжих здесь издана премилая книжечка, иллюстрированная гравюрами на меди; автор ее хорошо разбирается в вопросах искусства. Только увидев эти творения собственными глазами, познаешь всю их значимость, ибо подлинной своей величиной и материальностью они дают пищу зрению, а прекрасной пространственной гармонией доставляют удовлетворение духу, и притом не на абстрактном чертеже, но в согласии со всеми законами перспективы, то приближающей их к нам, то от нас отдаляющей, так что я теперь смело могу сказать о Палладио — это человек огромной внутренней силы, сумевший обратить ее вовне. Основная трудность, с которой ему приходилось бороться, как и всем зодчим новейшего времени, — это распределение колонн в гражданском зодчестве, так как сочетание стены и колонн — извечное противоречие. Но как же он с ним справился, как он умеет произвести впечатление и заставить нас позабыть, что это всего лишь уловка! Право, есть нечто божественное в его строениях, они — как чудодейственная сила великого поэта, который из правды и вымысла создает нечто третье, завораживающее нас своим заимствованным бытием.

Олимпийский театр — театр древних в миниатюре. Несказанно прекрасный, он в сравнении с нынешними театрами все же представляется мне знатным, богатым, хорошо воспитанным ребенком рядом с умным, многоопытным человеком, пусть не столь знатным, богатым и воспитанным, но зато знающим, как распорядиться средствами, у него имеющимися.

Когда здесь, на месте, рассматриваешь величественные здания, возведенные этим человеком, и видишь, как они изуродованы мелкими, грязными людскими потребностями, когда понимаешь, что планы по большей части превосходили возможности исполнителей, и еще: сколь мало эти бесценные памятники высокого духа соответствовали жизни всего прочего человечества, то поневоле начинаешь думать, что везде происходит одно и то же. Люди не поблагодарят тебя за

стремление возвысить их внутренние потребности, внушить им более высокое представление о самих себе, заставить их почувствовать величие доподлинно благородного существования. Но ежели ты обманешь «птиц», начнешь рассказывать им небылицы, изо дня в день будешь портить их, тогда ты для них «свой человек», — наверно, поэтому новейшее время так пристрастно к безвкусице. Я говорю это не затем, чтобы принизить моих друзей, а просто чтобы сказать — они таковы, а следовательно, не стоит удивляться, что все идет так, как идет.

Как выглядит базилика Палладио рядом со старым зданием, смахивающим на замок и усеянным разнокалиберными окнами, которое архитектор, конечно же, намеревался снести вместе с башней, трудно передать словами, и мне приходится гнать от себя странно неприятное чувство, ибо здесь я, увы, нахожу рядом то, от чего бегу, и то, чего ищу.

20 сентября.

Вчера давали оперу, она затянулась до полуночи, а мне до смерти хотелось спать.

Отрывки из «Трех султанш» и «Похищения из сераля» — вот материал, из которого неумело сварганили это произведение. Музыка, довольно приятная, видимо, была состряпана любителем, — ни одной новой мысли, которая бы меня взволновала. Зато балетные номера прелестны. Главные солисты протанцевали аллеманту с изяществом необыкновенным.

Театр новый, уютный, роскошный, но и скромный в то же время; все одно к одному, как то и подобает провинциальному театру; на барьере каждой ложи — одноцветный ковер, ложу капитана Гранде отличает от прочих только более длинный занавес.

Примадонну, видимо, любимицу здешней публики, каждый раз встречают громом аплодисментов, от восторга «птицы» ведут себя достаточно буйно, когда она особенно отличается, что бывает в общем-то часто. Примадонна держится очень естественно, у нее красивая фигура, прекрасный голос, милое лицо и хорошие манеры. Жесты ее могли бы быть грациознее. И все-таки второй раз в этот театр я не пойду, — видно, уже не гожусь в «птицы».

21 сентября.

…Сегодня я посетил так называемую «Ротонду» — великолепный дом на живописном холме в получасе ходьбы от города. Это четырехугольное здание заключает в себе круглую

залу с верхним светом. Со всех четырех сторон к нему поднимаешься по широким лестницам и всякий раз попадаешь в портик, образуемый шестью колоннами. Думается, что зодчество никогда еще не позволяло себе подобной роскоши. Пространство, занимаемое лестницами и портиками, много больше того, что занимает самый дом, ибо каждая его сторона в отдельности может сойти за храм. Внутри это строение я бы назвал уютным, хотя оно и не приспособлено для жилья. Пропорции залы поистине прекрасны, комнат — тоже. Но для летнего пребывания знатного семейства здесь, пожалуй, тесновато. Зато дом царит над всей округой, и откуда ни глянь — он прекрасен. А в каком разнообразии предстает перед путником весь массив здания вкупе с выступающими колоннами! Владелец полностью осуществил свое намерение — оставить потомкам майорат и в то же время чувственный памятник своего богатства. И если это здание, во всем своем великолепии, видно с любой точки окружающей местности, то вид из его окон тоже утеха зрению.

Падуя, 26 сентября, вечером.

За четыре часа я добрался до Падуи в маленькой одноместной карете, так называемой седиоле, куда втиснулся вместе со всем своим добром. Обычно такое расстояние спокойно проезжают за два часа, но так как мне было приятно провести этот чарующий день под открытым небом, то я не сердился на веттурино, небрежно отнесшегося к своим обязанностям. Мы ехали по богатой, плодородной долине все время на юго-восток, ничего не видя, кроме изгородей и деревьев, покуда справа не показалась живописная горная цепь, тянувшаяся с севера на юг. Изобилие плодов и растений, свешивавшихся с деревьев на изгороди и стены, не поддается описанию. Крыши завалены тыквами, с подпорок и шпалер свешиваются какие-то немыслимые огурцы.

Из обсерватории мне как на ладони видно было великолепное расположение города. С севера заснеженные Тирольские горы, наполовину скрытые облаками, на северо-западе примыкают Вичентинские и, наконец, поближе на западе — горы Эсте, очертания и впадины которых тоже видишь совершенно отчетливо. На юго-востоке — зеленое море растительности, без малейшего возвышения, дерево к дереву, куст к кусту, бесчисленные насаждения и несметное количество белых домиков, вилл и церквей, выглядывающих из зелени. На горизонте я ясно различал колокольню св. Марка в Венеции и другие башни — поменьше…

ВЕНЕЦИЯ

Венеция, 28 сентября 1786 г.

Итак, в книге судеб на моей странице стояло, что в 1786 году двадцать восьмого сентября под вечер, по нашему времени в пять часов, мне суждено, въезжая из Бренты в лагуны, впервые увидеть Венецию и вскоре затем вступить в этот дивный город-остров, в эту республику бобров. И вот, благодарение богу, Венеция для меня уже не только звук, не пустое слово, так часто отпугивавшее меня, заклятого врага пустых слов и звуков.

Когда к нашему кораблю подошла первая гондола (это делается для того, чтобы поскорее доставить в Венецию торопливых пассажиров), мне вспомнилась игрушка из моего раннего детства, о которой я уже лет двадцать не вспоминал. Отец привез из своего итальянского путешествия прекрасную модель гондолы. Он очень ею дорожил, и мне, лишь в виде особой милости, позволялось играть ею. Первые остроконечные клювы из блестящего листового железа и черные клетки гондол приветствовали меня, как добрые старые знакомцы, я упивался уже позабытыми было впечатлениями детства.

Поселился я в «Королеве Англии», неподалеку от площади Св. Марка, что составляло основное преимущество и вообще-то удобной гостиницы. Окна мои выходят на узкий канал, зажатый высокими домами, прямо подо мною горбатый мостик, а напротив — узкая оживленная улочка. Так вот я живу, и проживу еще некоторое время, покуда не будет готов мой пакет для Германии и покуда я досыта не нагляжусь на этот город. Одиночеством, по которому я так тосковал, мне наконец-то дано насладиться, — ведь нигде не бываешь более одинок, чем в толчее, через которую ты протискиваешься, никем не знаемый. В Венеции меня знает разве что *один* человек, да и тот не сразу встретится мне.

29, в день святого Михаила, вечером.

О Венеции столько уже написано и напечатано, что я не стану вдаваться в подробные описания, скажу только, какою она открывалась мне. Как всегда, мое внимание прежде всего привлек народ — большие массы людей, их вынужденная, а не избранная жизнь здесь.

Не для забавы бежали эти люди на острова, не произвол погнал других последовать за ними. Нужда принудила их искать безопасного укрытия в этом, казалось бы, неблагоприятном месте,

впоследствии столь им благоприятствовавшем и научившем их уму-разуму, в то время, когда весь северный мир еще пребывал во мраке. А их размножение, их богатство было уже неизбежным следствием. Жилища теснились друг к другу, песок и трясина заменялись скалистым основанием, дома искали воздуха, — как деревья, стесненные в густой чащобе, они стремились в высоту, наверстывая то, что теряли в ширину. Скупясь на каждую пядь земли и с самого начала теснясь на малом пространстве, они оставляли улице не больше ширины, чем требовалось для того, чтобы один ряд домов отделить от противоположного и оставить жителям лишь необходимейшие проходы. Вообще же вода служила им улицей, площадью, местом для прогулок. Венецианец волей-неволей должен был стать человеком совсем новой породы, ибо и Венецию можно сравнивать только с Венецией же. Большой, извивающийся змеею канал не уступает ни одной улице на свете, так же как пространство перед площадью Св. Марка не знает равных себе на свете. Я говорю о большом водном зеркале, которое, как полумесяц, с одной стороны охвачено городом Венецией. По другую сторону водной глади слева виден Сан-Джорджио-Маджори, чуть правее — Джудекка с ее каналом, немного подальше — Догана и въезд в Большой канал, где нас встречают своим сиянием два гигантских мраморных храма. Вот краткий перечень того, что сразу бросается нам в глаза, когда мы стоим меж двух колонн площади Св. Марка. Все эти виды так часто гравировались на меди, что мои друзья без труда составят себе наглядное представление о них.

После обеда, в жажде поскорее составить себе впечатление от целого, я без провожатого, ориентируясь только по странам света, ринулся в лабиринт этого города. Весь изрезанный каналами и канальчиками, он тем не менее воссоединен мостиками и мостами. Здешнюю тесноту и скученность трудно себе представить, не видя ее. Как правило, ширину улочки можно измерить распростертыми руками, а на самых узких, подбоченясь, локтями уже касаешься стен. Есть, правда, улочки пошире, кое-где даже маленькие площади, но в общем-то — повсюду теснота.

Я без труда нашел Большой канал и главный мост Венеции — Риальто. Собственно, этот мост — одна беломраморная арка. С нее открывается широкий вид — канал, изборожденный судами, которые доставляют сюда с материка все, что нужно людям, здесь причаливают и разгружаются, между ними снуют гондолы. Сегодня по случаю праздника святого Михаила, все оживлено еще более чем обычно, но, чтобы дать представление об этой картине, я должен предварить ее несколькими словами.

Две главные части Венеции, разделенные Большим каналом,

соединяет только мост Риальто, однако здесь предусмотрены и другие коммуникации, а именно — баржи, которые в определенных местах перевозят людей и грузы. Сегодня они выглядели особенно живописно, заполненные нарядными женщинами, — правда, в черных вуалях, — спешивших в церковь на престольный праздник. Я ушел с Риальто и отправился к перевозу, поближе посмотреть на них. И сколько же я увидел красивых лиц и стройных фигур!

Уставши, я покинул тесные улочки, сел в гондолу и, чтобы уготовить себе прямо противоположное зрелище, обогнув остров Св. Клары, через лагуны въехал в канал Джудекки и так добрался до площади Св. Марка, чувствуя себя властителем Адриатического моря, как любой венецианец, усевшийся в свою гондолу. При этом я с глубоким уважением думал о славном своем отце, которому ничто не доставляло большей радости, чем подобные воспоминания. Будет ли и со мною так же? Все, что сейчас меня окружает, — это грандиозное и достойное творение объединенных человеческих усилий, величественный памятник, памятник не властелину, а народу. И если лагуны Венеции мало-помалу заполняются илом, если зловредные испарения подымаются над болотами, торговля чахнет, могущество республики ослабевает, то все же самый ее строй и ее сущность ни на мгновенье не покажутся наблюдателю менее достойными почитания. Она подвластна времени, как и все сущее в мире явлений.

3 октября.

Церковь Il Redentore[1] — прекрасное, величавое творение Палладио. Фасад ее примечательнее фасада Сан-Джорджио. Надо воочию увидеть эти здания, многожды гравированные на меди, чтобы сказанное мною стало наглядным. Я же ограничусь несколькими словами.

Палладио, до мозга костей проникнутый жизнью древних, ощущал мелкость и узость своего времени, как истинно великий человек, который не желает уступать, но, напротив, стремится по мере возможности все преобразить в соответствии со своими высокими и благородными представлениями. Он был недоволен, — я это заключаю из одного, достаточно, впрочем, мягкого, оборота в его книге, — что христианские церкви продолжают воздвигать в форме старинных базилик, и потому тщился приблизить свои священные здания к формам древних храмов. Отсюда возникли известные несообразности, которые он, как мне думается, удачно устранил в Il Redentore, тогда как в Сан-Джорджио они очень заметны. Фолькман высказывается по этому

поводу, но в точку, собственно, не попадает.

Внутри Il Redentore тоже все очаровательно, вплоть до росписи алтарей, собственноручной работы Палладио. К сожалению, ниши, предназначавшиеся для статуй, заполнены плоскими размалеванными дощатыми фигурами.

3 октября.

Вчера вечером был в опере у св. Моисея (здесь театры называются по ближайшей церкви). Особого удовольствия не получил! Либретто, музыке и певцам недостает внутренней энергии, которая только и может довести до совершенства подобный спектакль. Ни одну его часть плохой не назовешь, но только две женщины прилагали усилия, не для того, чтобы хорошо играть, но чтобы повыгоднее подать себя и понравиться публике. А это уже нечто. У обеих хорошая внешность, превосходные голоса, и вообще они изящные, веселые и бойкие создания. У мужчин, напротив, ни малейшего признака внутренней силы и желания что-то внушить публике, да и голоса не сказать, чтобы блестящие.

Балет, убогая придумка, в целом был освистан, хотя нескольким отличным прыгунам и прыгуньям порядком аплодировали, возможно, потому, что последние считали своим долгом знакомить зрителей с каждой красивой частью своего тела.

3 октября.

Сегодня мне довелось побывать на другой комедии, больше меня порадовавшей. Во Дворце дожей публично разбиралось гражданское дело, весьма важное. К моей радости, слушанье его пришлось на каникулярное время. Один из адвокатов соединял в себе все утрированные качества классического буффо. Толстый, приземистый, при этом необыкновенно подвижный, с резким профилем, с голосом, точно медная труба, и таким пылом, словно то, что он говорит, до глубины души волнует его. Я называю происходившее комедией, ибо весь этот публичный спектакль, видимо, разыгрывается как по нотам. Судьи знают, что им надо будет сказать, стороны — чего им ждать. И все же эта процедура мне больше по душе, чем наше нескончаемое сидение в душных канцеляриях. А сейчас я попытаюсь описать, как естественно и чинно, без всякой театральности все это совершается.

В просторной зале Дворца дожей по одну ее сторону полукругом сидят судьи. Напротив них, за кафедрой, за которой могли бы в ряд поместиться несколько человек, сидят адвокаты

обеих сторон, перед ними на скамейке истцы и ответчица собственной персоной. Адвокат истца сошел с возвышения, поскольку в сегодняшнем заседании прений не предполагалось, а должны были зачитываться все документы pro и contra, впрочем, имевшиеся уже в печатном виде.

Тощий писарь в черном потрепанном сюртуке, с толстой подшивкой в руках готовился приступить к своим обязанностям чтеца. Зала была битком набита пришедшими послушать и поглядеть. Правовой вопрос сам по себе, равно как и лица, которых он затрагивал, видимо, представлялись венецианцам весьма важными.

Наследники майоратов пользуются в этой республике немалыми привилегиями, недвижимость, однажды объявленная майоратом, навечно сохраняет свои права; если в силу каких-нибудь обстоятельств она и подвергалась отчуждению даже несколько столетий тому назад, то, когда дело дойдет до открытого судебного разбирательства, оказывается, что права потомков первого семейства неприкосновенны и земельная собственность должна быть возвращена им.

На сей раз вопрос стоял очень остро, так как иск был вчинен самому дожу, вернее, его супруге, которая, закутанная в свою накидку, самолично восседала на скамеечке, отделенной лишь малым расстоянием от места истца. Дама почтенного возраста, благородного телосложения, с красивым лицом, которое хранило суровое, даже угрюмое выражение. Венецианцы горды тем, что догаресса в собственном дворце была вынуждена предстать перед судом и перед ними.

Писарь начал читать, и тут только мне уяснилась роль человечка, сидевшего на низкой скамеечке за маленьким столиком напротив адвокатской кафедры, и, прежде всего, что значили песочные часы, которые он поставил перед собой. Покуда писарь читает, время остановлено, адвокату же, если он пожелает говорить, дается только ограниченное время. Писарь читает, часы лежат, человечек держит на них руку. Но стоит адвокату открыть рот, и часы уже принимают вертикальное положение; не успеет он замолкнуть, как они опять лежат. И это большое искусство — прервав поток чтения, вставлять беглые замечания, неукоснительно возбуждать вниманье слушателей. Но маленький Сатурн испытывает тут немалую трудность — он вынужден то и дело менять вертикальное положение часов на горизонтальное, иными словами, он оказывается чем-то вроде злого духа в кукольном театре, который в ответ на быстрые восклицания озорника Гансвурста: «Берлике! Берлике!» — не знает, уходить ему или оставаться.

Тот, кто наслышался в канцеляриях, как последующие документы сверяют с оригиналом, может без труда представить себе это чтение — быстрое, монотонное, но хорошо артикулированное и удобопонятное. Искусный адвокат умеет шутками разгонять скуку, и публика покатывается со смеху над его остротами. Не могу не вспомнить одну его шутку, пожалуй, самую необычную из тех, которые я понял. Писарь как раз зачитал документ, согласно коему один из владельцев, признанный неправомочным, распорядился спорным имуществом. Адвокат попросил его читать помедленнее, и, когда тот отчетливо произнес: «Я дарю, я завещаю», — он яростно напустился на чтеца, восклицая: «Что это ты собрался дарить? Что завещать, несчастный голодранец. Нет ведь ничего на свете, что бы тебе принадлежало. Впрочем, — он, сделал вид, что одумался, — тот сиятельный владелец был точно в таком же положении и намеревался подарить, намеревался завещать то, что также не принадлежало ему, как не принадлежит и тебе».

Хохот разразился в зале, но песочные часы тотчас же приняли горизонтальное положение. Писарь продолжал свое назойливое чтение, бросая на адвоката злобные взгляды. Но это была заранее обусловленная потеха.

5 октября, поздним вечером.

Я вернулся с трагедии, покатываясь со смеху, и решил тотчас закрепить на бумаге эту забавнейшую историю. Пьеса была недурна, автор выложил все свои трагические козыри, и актерам было легко играть. Некоторые положения были общеизвестны, другие новы и даже удачны. Два отца, исполненных ненависти друг к другу, сыновья и дочери этих разделенных враждою семейств, страстно влюбленные вопреки родовой вражде, более того, одна пара даже тайно обвенчана. Вокруг молодых людей разыгрывались свирепые, дикие страсти, и под конец автору, чтобы устроить их счастье, пришлось заставить заколоться обоих отцов, после чего занавес опустился под бурные аплодисменты. Овация становилась все громче, публика кричала: «Fuora!»[2] — до тех пор, покуда две главные пары не выбрались из-под занавеса, чтобы отвесить несколько поклонов и уйти в другую кулису.

Но публика этим не удовлетворилась, под неумолчные аплодисменты она вопила: «I morti»[3] Длилось это, покуда оба мертвеца не вышли, чтобы, в свою очередь, раскланяться, а так как многие все еще кричали: «Bravi i morti!»[4] — то их еще долго задерживали на просцениуме, прежде чем отпустить. Все эти выходки имеют особую прелесть для тех, кто видел их своими

глазами и у кого крики «браво! браво!», ежеминутно готовые сорваться с языка у итальянцев, все еще звенят в ушах, как у меня, а тут он еще слышит, как и мертвых почтили этим восторженным возгласом.

«Доброй ночи!» Мы, северяне, говорим это всякий раз, расставаясь, когда уже стемнело, итальянец желает другим: «Felicissima notte!»— лишь однажды, когда в комнату, на рубеже дня и ночи, вносят зажженные свечи, и значит это нечто совсем другое. Дело в том, что особенности языка всегда непереводимы; от самого высокого и до самого низкого слова все зависит от своеобразия нации, будь то ее характер, убеждения или жизненные обстоятельства.

6 октября.

Вчерашняя трагедия многому меня научила. Во-первых, я услышал, как итальянцы, декламируя, управляются со своими одиннадцатисложными ямбами, и к тому же понял, как умно Гоцци соединял свои маски с трагическими образами. Таков доподлинный театр этого народа; итальянцы жаждут примитивной растроганности, глубокого, нежного сочувствия к несчастному они не испытывают, их радует лишь красноречие героя, ораторские способности они умеют ценить, но «на закуску» хотят посмеяться или принять участие в какой-нибудь вздорной истории.

Театральное представление они воспринимают как действительную жизнь. Когда тиран протянул меч сыну и потребовал, чтобы тот заколол им свою собственную жену, стоявшую рядом, публика стала громко выражать свое неудовольствие этой коллизией; еще немножко, и спектакль был бы сорван. Публика требовала, чтобы старик взял свой меч обратно, что, разумеется, сделало бы последующие сцены невозможными. Наконец злополучный сын решился, вышел на просцениум и смиренно попросил сидящих в зале еще хоть на минутку набраться терпения, — дальше, мол, все пойдет, как им того хочется. С точки зрения искусства сцена убийства и вправду была нелепа и противоестественна, и я воздал народу хвалу за его чуткость.

Теперь мне сделались понятнее длинноты и нескончаемые рассуждения в греческих трагедиях. Афиняне еще охотнее, чем итальянцы, слушали речи и знали в них толк; недаром же они целыми днями возлежали в судилищах, кое-чему они там научились.

6 октября.

Сегодня утром был на литургии в церкви св. Юстина, где в этот день, в память давней победы над турками, непременно присутствует дож. Когда к маленькой площади подходят позолоченные барки, на которых прибывает дож и многие знатные семейства, корабельщики в оригинальных костюмах орудуют ярко-красными веслами, а на берегу духовенство и монашеские ордена с зажженными свечами на шестах или в переносных серебряных светильниках стоят, теснятся, волнуются и ждут, когда наконец с судов на землю перебросят обитые коврами мостки и по мостовой начнут расстилаться сперва лиловые одежды шестнадцати министров республики, затем красные — сенаторов и под конец сойдет старец в золотом фригийском колпаке, длиннейшем золотом таларе и горностаевой мантии, трое слуг несут его шлейф, — и все это происходит на маленькой площади перед порталом церкви, а у ее дверей — развернутые турецкие знамена, так что вдруг начинает казаться, что ты видишь старинные тканые шпалеры с ярким и прекрасным рисунком. Мне, беглецу с севера, эта церемония доставила много радости. У нас, где на празднествах щеголяют в куцых камзолах, а в самых торжественных случаях еще и с оружием за плечами, такого, конечно, быть не может. Здесь же эти одеяния со шлейфами, эти мирные процессии естественны и уместны.

Дож — рослый, красивый мужчина, возможно, нездоровый, но сейчас, дабы не уронить своего достоинства, он держится очень прямо под тяжелыми своими одеждами. Благосклонный и приветливый, он выглядит дедушкой всего своего народа. Торжественный наряд очень идет к нему, шапочка под колпаком не режет глаз, — тонкая и прозрачная, она прикрывает самые белые, самые светлые волосы, какие только есть на свете.

Человек пятьдесят нобилей в длинных темно-красных одеждах сопровождают его. Почти все — ладные, видные мужи, рослые и большеголовые; им очень идут завитые белокурые парики. Черты у них резкие, хотя лица белые, мягкие, впрочем, лишенные непривлекательной дряблости; они выглядят умными и спокойными. Эти мужи явно уверены в себе, они легко и, без сомнения, радостно приемлют жизнь.

Когда все уже заняли в церкви положенные им места и литургия началась, в главную дверь стали входить монахи; окропив себя святой водою и склонив колена перед главным алтарем, перед дожем и перед знатью, они выходили в правую боковую дверь.

6 октября.

На сегодняшний вечер я заказал для себя прославленное пение гондольеров, которые поют Тассо и Ариосто на собственные мелодии. Это пение поневоле приходится заказывать, ибо оно стало редкостью, сродни наполовину отзвучавшим преданиям старины. При лунном свете я сел в гондолу, один певец встал впереди, другой сзади. Они затянули свою песню и пели поочередно, строфу за строфой. Мелодия, которую мы знаем из Руссо, — нечто среднее между хоралом и речитативом, ход ее остается неизменным, но такт в ней отсутствует; да и модуляция одна и та же, только что гондольеры, в зависимости от содержания строфы, как бы декламируя, меняют интонацию и размер. Но дух их пения, его жизнь мне понятны, о чем я и скажу сейчас.

Как создавалась эта мелодия, я вникать не стану, знаю только, что она как нельзя лучше подходит для праздного человека, который что-то напевает себе под нос, подгоняя под нее стихи, которые помнит наизусть.

Он сидит на острове, на берегу канала или на барке и всепроникающим голосом, — народ здесь превыше всего ценит силу голоса, — что есть мочи поет свою песню. Она разносится над тихим зеркалом вод. Где-то вдали ее слышит другой, мелодия ему знакома, слова он разобрал и отвечает уже следующей строфой, — так один гондольер становится эхом другого. Песня длится ночи напролет и, не утомляя, забавляет их. Чем дальше они друг от друга, тем обворожительнее их пение. Если слушатель находится посередине — значит, он выбрал себе наилучшее место.

Чтобы дать мне возможность это услышать, они высадились на берегу канала Джудекки и пошли в разные стороны, я же ходил взад и вперед между ними, всякий раз удаляясь от того, кто сейчас должен был запеть, и торопясь к тому, кто только что замолк. Тут-то мне и открылся смысл этого пения. Издалека песня звучит очень странно, как жалоба без печали. Есть в ней что-то невероятное и трогательное до слез. Я приписал это своему настроению, но старик, меня сопровождавший, сказал: «È singolare, come quel canto intenerisce, e molto più, quando è più ben cantato»[5]. Он рекомендовал мне послушать женщин с Лидо, в первую очередь с Маламокко и Палестрины, они тоже поют Тассо на эти или похожие мелодии. И еще добавил: «У них вошло в привычку, когда рыбаки, их мужья, уходят в море, вечерами садиться на берегу и что есть силы петь эти песни, покуда издалека до них не донесутся голоса мужей, — таким манером, они переговариваются с ними». Разве это не замечательно? И все же думается, что вблизи не порадуешься голосам, вступившим в

спор с волнами морскими. Однако человечным и правдивым становится смысл этой песни, живой — мелодия, над мертвыми вокабулами которой мы прежде ломали себе голову. Это песнь одинокого человека, несущаяся вдаль и вширь, дабы другой, тоже одинокий, услышал ее и на нее ответил.

8 октября.

В доме Фарсетти имеется ценнейшая коллекция слепков с античных статуй… Не буду говорить о тех, что известны мне еще по Мангейму или по другим собраниям, упомяну лишь о новых знакомых. Клеопатра в ужасающем спокойствии, с аспидом, обвившим ее руку, она уже объята сном, переходящим в смерть; далее, мать Ниобея: стремясь защитить свою младшую дочь от стрел Аполлона, она прикрыла ее плащом; несколько гладиаторов; гений, покоящийся на сложенных крылах; философы — одни из них сидят, другие ходят.

Этим творениям человечество может радоваться, тысячелетиями учиться на них, не в силах исчерпать мыслью достоинств их создателей.

Множество замечательных бюстов переносят меня в прекрасные античные времена. Увы, мне ясно, как сильно я отстал в этой области знаний, но я все наверстаю, путь мне уже открылся. Палладио показал мне его, так же как путь ко всем искусствам и к самой жизни. Это, пожалуй, звучит странновато, но все же менее парадоксально, чем история с Якобом Бёме, которому Юпитер ниспослал озарение, и тот, при виде оловянной миски, познал Вселенную. В собрании находится также обломок перекрытия храма Антонина и Фаустины в Риме. Это произведение, тотчас поражающее наш взор, напоминало мне капитель Пантеона, которую я видел в Мангейме. Скажу без обиняков; это, конечно, ничего общего не имеет с нашими готическими украшениями — нахохленными святыми на консолях, взгроможденных одна над другой, с нашими колоннами, смахивающими на курительные трубки, с остроконечными башенками и зубчатыми цветочными гирляндами, — от них я, слава богу, избавился на веки вечные!

Хочу упомянуть еще о нескольких скульптурах, которые я видел в эти дни, пусть мимоходом, но созерцал я их с благоговейным изумлением: два гигантских льва из белого мрамора перед воротами арсенала. Один сидит, упираясь передними лапами, другой — лежит, — величественные противоположности в живом своем многообразии. Они так огромны, что все вокруг них выглядит мелким, да и ты сам превратился бы в ничто, если бы твою душу не возвышали

величественные произведения искусства. Говорят, что эти львы были созданы в лучшие времена Эллады и доставлены сюда из Пирея, когда республика переживала свою блистательнейшую пору.

Барельефы, вделанные в стены храма св. Юстины, видимо, афинского происхождения, — жаль, что их несколько затемняют церковные стулья. Служитель обратил на них мое внимание, так как, по преданью, они послужили Тициану прообразом его бесконечно прекрасных ангелов в картине «Убиение Петра-мученика». Эти гении резвятся, карают атрибутами богов, и это тем прекрасно, что превосходит все наши представления.

Смотрел я еще, с совсем особым чувством, колоссальную обнаженную статую Маркуса Агриппы во дворе одного палаццо; дельфин возле него, как бы вынырнувший из морских глубин, указует на то, что Маркус — герой-мореход. Подумать только, что такое героическое изобретение делает человека богоравным!

Коней на соборе св. Марка я рассматривал на близком расстоянии. Снизу тотчас не замечаешь, что все они пятнистые: местами с красивым желтоватым металлическим блеском, а местами уже тронуты медной зеленью. Отсюда видишь и догадываешься, что в свое время они были целиком позолочены. По тому, как они исполосованы, становится ясно, что варвары не спиливали позолоту, а силились сколоть ее. Ну что же, по крайней мере, хоть фигуры коней сохранились.

Великолепная упряжка! Хотел бы я услышать, что скажет о ней истинный знаток лошадей. Удивительно и то, что вблизи эти кони выглядят тяжелыми, а снизу, с площади, — легкими, точно олени.

8 октября.

Сегодня поутру я поехал с моим ангелом-хранителем на Лидо, то есть на косу, которая замыкает лагуны и отделяет их от моря. Мы вышли из гондолы и зашагали поперек косы. До меня донесся громкий гул, — это было море, вскоре я его увидел: отступая, волны высоко вздымались у берега. Уже настал полдень — время отлива.

Итак, мне довелось своими глазами увидеть море, довелось пройти по гладкой, как гумно, поверхности, которую оно, откатываясь, оставляет после себя. Мне захотелось, чтобы здесь были дети, — из-за раковин. Я и сам, как ребенок, набрал их немалую толику, правда, для определенной цели — засушить хоть немного жидкости каракатиц, которую те щедро выпускают здесь.

На Лидо невдалеке от моря хоронят англичан, подальше —

евреев: и тем и другим не положено покоиться в освященной земле. Я разыскал могилу благородного консула Смита и его первой жены. Обязанный ему своим экземпляром Палладио, я возблагодарил его за таковой на этой неосвященной могиле.

Если бы только неосвященной, но она еще и наполовину засыпана песком. Лидо ведь не более как дюна, море наносит песок, ветер гонит его во все стороны; целые горы песка местами скапливаются, и он проникает повсюду. В скором времени трудно будет отыскать даже достаточно высокий памятник на могиле консула.

И все-таки море — величественное зрелище! Я хочу проплыть по нему в рыбачьей лодке, — гондолы в море выходить не отваживаются.

8 октября.

На берегу я нашел всевозможные растения, общность характера позволила мне ближе узнать их свойства. Все они тучные и в то же время жесткие, сочные, но и стойкие, — ясно, что исконная соль песчаной почвы, но еще больше соленый воздух придали им эти свойства. Они изобилуют соками, как водоросли, они крепки и устойчивы, как горные растения; ежели кончики их листьев снабжены чем-то вроде колючек, наподобие осота, то эти колючки острые и крепкие. Я наткнулся на клубок таких листьев, поначалу я принял его за нашу невиннейшую мать и мачеху, только что вооруженную грозным оружием; листья у нее точно кожа, так же как семенные коробочки, и стебли — мясистые, жирные. Я решил взять с собою немного семян и засушенных листьев (eryngium maritimum).

Рыбный рынок и бесчисленные «плоды моря» доставляют мне большое удовольствие, я часто захожу туда получше рассмотреть злополучных обитателей пучин, попавшихся в сети.

9 октября.

Чудный день, с утра и до вечера! Я побывал напротив Киоццы на Палестрине, где республика, спасаясь от натиска моря, возводит огромные сооружения, так называемые мурацци. Они сделаны из обтесанных камней и, собственно, предназначены для того, чтобы оградить от свирепой стихии длинную косу, — прославленное Лидо, — отделяющую лагуны от моря.

Лагуны — следствие извечной работы природы. Прилив, отлив и земля противоборствовали друг другу, затем началось постепенное понижение первозданных вод, все это вместе и стало причиной того, что на верхнем конце Адриатического моря

образовалась большая полоса болот. Прилив набегает на нее, а отлив лишь частично ее затрагивает. Искусство завладело всеми возвышенностями, и так вот простирается Венеция, составившаяся из сотен островов и сотнями же островов окруженная. В то же самое время, с невероятными усилиями и расходами, в болотах прорыли каналы, дабы военные корабли и во время отлива могли входить в важнейшие гавани. То, что людское усердие и хитроумие придумали и создали в давние времена, ныне должно поддерживаться умом и трудоспособностью потомков. Лидо — длинная коса, отделяет лагуны от моря, которое проникает в них лишь в двух местах — неподалеку от Кастелло и на противоположном краю, у Киоццы. Во время прилива, обычно дважды в день, морская вода заливается в лагуны, отлив дважды выносит ее, всегда тем же путем и в том же направлении. Прилив покрывает болотистые места внутри лагун, более же высокие остаются если не сухими, то все же видимыми.

Все было бы по-другому, если бы море в поисках новых путей хлынуло на косу и воды его свободно устремились бы туда и обратно. Не говоря уж о том, что поселки на Лидо, Палестрине, Сан-Пьетро и прочих были бы затоплены, но разлились бы и проезжие каналы. Такой водяной разгул все бы перемешал и перепутал, Лидо превратилось бы в острова, острова, лежащие за ним, — в песчаные отмели. Стремясь избегнуть этой беды, венецианцы всеми силами сберегают Лидо, чтобы стихии неповадно было сметать и рушить то, чем уже сумел завладеть человек, то, чему он придал форму и обличье для определенных целей.

В исключительных случаях, когда море разливается сверх всякой меры, счастьем следует почитать, что доступ ему открыт лишь в двух точках, все же остальное наглухо заперто от него; это уменьшает ярость его натиска, а через несколько часов оно все равно неизбежно подчинится закону отлива.

Вообще же Венеции нечего тревожиться, медлительность, с которой отступает море, подарит ей еще тысячелетье спокойствия; разумно поддерживая каналы, она сумеет сохранить все, чем владеет.

Если бы только венецианцы почище содержали свой город, — это необходимо, нетрудно и крайне важно для будущего. Правда, сейчас уже под угрозой крупного штрафа запрещено выбрасывать или сметать мусор в каналы, но ведь внезапно налетевшему дождю не запретишь ворошить мусор, рассованный по углам, и сыпать его в каналы или, что еще хуже, забивать им трубы для стока воды и засорять их до такой степени, что главным

площадям грозит опасность быть постоянно залитыми водой. Даже некоторые стоки на малой площади Св. Марка, проложенные, как и на большой, весьма искусно, я видел забитыми сором и полными воды.

Когда выдастся дождливый день, грязь в городе — непролазная, прохожие ругаются и клянут все на свете; всходя на мостики и спускаясь с них, обязательно измараешь пальто и табарро, с которыми здесь не расстаются, вдобавок венецианцы всегда носят чулки и башмаки; то и другое забрызгано грязью, кстати, грязью липкой и едкой. Но вот опять распогодилось, и ни один человек уже не думает о чистоте. Верно говорят, что люди вечно жалуются на плохую обслугу, но как сделать ее лучше, никто ума не приложит. В Венеции, если бы верховный правитель этого пожелал, все бы мигом устроилось.

10 октября.

Наконец-то и мне можно сказать: я видел комедию! Сегодня в театре св. Луки давали «Le Baruffe Chiozzotte», что приблизительно можно перевести как «Ссоры и свары в Киоцце». Действующие лица — моряки, жители Киоццы, их жены, сестры и дочери. Крикливые голоса этих персонажей в разговоре как добродушном, так и сердитом, их ссоры, их запальчивость, добродушие, пошлость, остроты, юмор и полная непринужденность манер воспроизведены превосходно. Пьеса принадлежит еще перу Гольдони, а так как я только вчера побывал в Киоцце, а голоса и повадки моряков и рабочих гавани еще звучали у меня в ушах и стояли перед глазами, то я, естественно, получил большое удовольствие, и хотя кое-какие подробности и ускользали от меня, целое я все же понимал довольно хорошо. Сюжет пьесы заключается в следующем: жительницы Киоццы сидят на берегу перед своими домами и, как обычно, прядут, вяжут, шьют, плетут кружева. Мимо проходит молодой человек и с одной из них здоровается приветливее, чем с другими. Тотчас же начинают сыпаться шпильки, они быстро перерастают в насмешки, в злые укоры, в отчаянное озорство, одна бесцеремонная соседка выпаливает всю правду, дело доходит до серьезных оскорблений, в конце концов появляются судебные власти.

Второй акт происходит в зале суда; вместо отсутствующего подесты действует актуарий, подеста как нобиле не должен появляться на сцене театра; итак, актуарий поодиночке вызывает женщин. Положение довольно щекотливое, так как сам он влюблен в первую любовницу, счастлив, что наконец-то оказался с нею наедине, и вместо того, чтобы ее допрашивать, объясняется

ей в любви. Другая, влюбленная в актуария, в приступе ревности врывается к ним, следом за нею — взволнованный любовник первой, а за ним и остальные; новые попреки, перебранка, и в зале суда разыгрывается та же чертовщина, что и в гавани.

В третьем акте все еще смешнее, но развязка — торопливая и довольно бесцветная. Зато очень удачно воплощена идея пьесы в одном персонаже, а именно — в старом моряке, вся стать которого, равно как и органы речи, из-за тяжелой юности утратили быстроту и подвижность.

Он как бы являет собою противоположность вертлявому, болтливому и крикливому народу. Прежде чем облечь в слова свою мысль, он словно берет разбег — шевелит губами, жестикулирует и наконец выпаливает ее. Но поскольку ему все равно удаются лишь короткие фразы, то у него выработалась привычка к лаконической суровости, отчего все его речи звучат как сентенции или пословицы, что прекрасно уравновешивает дикое, необузданное поведение остальных.

Однако такого буйного веселья, какое охватило публику, узнавшую себя и себе подобных в столь правдивом изображении, я сроду не видывал. Хохот и восторженные восклицания не умолкали в зале. Надо сказать, что и актеры играли великолепно. В зависимости от воплощаемых персонажей, они усвоили голоса и повадки, часто встречающиеся в народе. Примадонна была обворожительна, — куда лучше, чем объятая страстью, в одеждах героини на прошлом представлении. Всяческих похвал заслуживает автор, из сущего пустяка создавший приятнейшее вечернее времяпрепровождение. Но такое, конечно, возможно, только среди собственного жизнерадостного народа. Пьеса, несомненно, написана рукой большого мастера.

Из труппы Сакки, для которой писал Гоцци и которой более, собственно, не существует, я видел Смеральдину — маленькую толстушку, полную жизни, проворства и веселья. Вместе с нею играл Бригелла — худощавый, хорошо сложенный актер, с прекрасной мимикой и выразительной жестикуляцией. Маски эти для нас нечто вроде мумий, безжизненные и ничего не значащие, здесь же они отлично вписываются в общую картину жизни. Возраст, характеры людей, сословная принадлежность находят свое выражение в причудливых костюмах, и ежели ты сам большую часть года носишь такую личину, то тебя ничуть не удивляют и черные лица на подмостках.

Венеция, 14 октября, 2 часа ночи.

Последние минуты моего здешнего пребывания; ибо сейчас на почтовом судне я отправляюсь в Феррару. Венецию я покидаю

охотно. Чтобы с удовольствием и пользой остаться здесь, мне пришлось бы предпринять кое-какие новые шаги, а они не входят в мои планы. К тому же вся и всё покидает сейчас этот город, спеша в свои сады и владения на твердой земле. Мой багаж и так уже основательно пополнен, вдобавок я увожу с собой богатейшую, удивительнейшую, ни с чем не сравнимую картину.

ОТ ФЕРРАРЫ ДО РИМА

16 октября, утром, на корабле.

Мои попутчики, мужчины и женщины, вполне сносные и непритязательные люди, еще спят в каюте, я же, кутаясь в плащ, провел обе ночи на палубе. Холодновато было только под утро. Теперь я, действительно, нахожусь под сорок пятым градусом и повторяю свою старую песню: все бы я оставил здешним жителям, если бы мне можно было, подобно Дидоне, захватить отсюда воздуха столько, сколько стянут мои ремни, и окружить им наши жилища. Это было бы иное бытие. Плаванье при великолепной погоде очень приятно, виды просты, но восхитительны. По, веселая, приветливая река, течет меж плоских берегов, поросших лесом и кустарником, никакие дали глазу не открываются. Здесь, впрочем и на Эче, я видел нелепейшие гидротехнические сооружения, ребяческие и никому не нужные, как на Заале.

Феррара, 10-го, ночью.

Прибыл сюда в семь утра по немецкому времени и собираюсь завтра же ехать дальше. Впервые я ощутил своего рода уныние в большом и прекрасном, равнинном, обезлюдевшем городе. Блестящий двор некогда оживлял эти улицы, здесь жил Ариосто — неудовлетворенным, Тассо — несчастным, а мы-то надеемся усладить свою душу посещением этих мест. Гробница Ариосто — это груды неудачно распределенного мрамора. Вместо узилища Тассо здесь показывают то ли дровяной сарай, то ли угольную яму, где он, конечно, не был заточен. Соседи давно уже не знают, зачем сюда ходят чужестранцы. Наконец, получив солидные чаевые, они начинают что-то припоминать. Это как с Лютеровым чернильным пятном, которое время от времени подновляет кастелян. Многие путешественники, одержимые своего рода охотничьей страстью, жаждут взглянуть на такие памятки. Я впал в столь мрачное настроение, что почти не обратил внимания на прекрасный научный институт, выстроенный и богато оснащенный одним из кардиналов, уроженцев Феррары; подбодрили меня только некоторые старинные памятники в институтском дворе.

Затем меня позабавила удачная мысль одного художника изобразить Иоанна Крестителя перед лицом Ирода и Иродиады. Пророк, облаченный в лохмотья пустынника, гневно указывает на упомянутую даму. Она спокойно смотрит на сидящего рядом с нею правителя, а тот тоже спокойно и проницательно — на

восторженного пророка. Перед правителем стоит довольно большая белая собака, а из-под юбки Иродиады вылезает маленькая болонка, и обе лают на Иоанна Крестителя. По-моему — весьма остроумная выдумка.

Болонья, 18 октября, ночью.

…Приехал в Болонью. Расторопный и сведущий гид, узнав, что я не намереваюсь долго оставаться здесь, прогонял меня по всем улицам и по такому количеству дворцов и храмов, что я едва успевал отмечать в своем Фолькмане, где я побывал, и вряд ли впоследствии сумею по этим отметкам вспомнить все, что я видел. А сейчас скажу только о том, что врезалось светлым пятном мне в память.

Начну с Цецилии Рафаэля! Я многое знал о ней, но сейчас увидел ее своими глазами. Рафаэль всегда делал то, что хотели сделать другие, но я могу сказать лишь одно: это мадонна Рафаэля. Пятеро святых рядом друг с дружкой, ни до одного из них нам, собственно, дела нет, но их земное бытие воссоздано так совершенно и несомненно, что этой картине желаешь вечной жизни, примиряясь даже с мыслью, что сам ты обратишься в прах. Но чтобы по-настоящему узнать Рафаэля, оценить и все же не восславить как бога, который, подобно Мелхизедеку, явился на свет без отца и без матери, надо доискаться, кто его предшественники, кто учителя. Утвердившись на надежном грунте истины, они усердно, даже с опаской, стали закладывать мощные фундаменты и, соревнуясь друг с другом, камень за камнем возводить пирамиду, покуда он, ободренный уже содеянным, озаренный горним светом, не увенчал ее последним камнем, на который или рядом с ним уже нельзя было положить другого.

Интерес к истории охватывает тебя все сильнее, когда рассматриваешь картины старых мастеров. Франческо Франчиа заслуживает безусловного уважения, Пьетро из Перуджи такой славный парень, что, право, хочется сказать: вот истинно немецкая душа. О, если бы счастливый случай поглубже завел Альбрехта Дюрера в Италию!.. В Мюнхене я видел несколько его вещей, доподлинно великих. Бедняга здорово просчитался в Венеции, заключив договор с попами, на выполнение коего потерял долгие месяцы! А если вспомнить, что во время путешествия по Нидерландам он выменивал на попугаев свои дивные творения, которые, как он надеялся, должны были принести ему счастье, и, чтобы не тратиться на чаевые, писал портреты с прислуги, приносившей ему тарелку фруктов! Меня всегда до глубины души трогает простофиля-художник, потому

что, по сути дела, и я таков же, только иной раз удачнее устраиваю свою жизнь.

Под вечер я наконец сбежал из этого почтенного, старого, ученого города, сбежал от толпы, что снует по сводчатым галереям, построенным почти на всех улицах и дающим ей возможность в жару и в непогоду бродить взад и вперед, глазеть, покупать, — словом, делать что вздумается. Поднявшись на башню, я наслаждался свежим воздухом и видом, открывавшимся с нее.

Наклонная башня — препротивная штука, но я считаю вполне вероятным, что ее старательно строили именно такой. Нелепость же эту объясняю себе следующим образом: во время городских беспорядков любое солидное здание служило крепостью, а в этой крепости любая могущественная семья возводила башню. Мало-помалу это превратилось в удовольствие или в дело чести, каждый хотел блеснуть своей башней, а когда прямые башни стали уже будничными, решили построить наклонную. Архитектор и владелец в общем-то достигли своей цели, — взор наш, привыкший к множеству прямых и стройных башен, невольно ищет наклонную. Потом я побывал и на такой. Кирпич уложен горизонтальными рядами. С хорошим цементом и железными скрепами можно, как видно, соорудить какую хочешь нелепость.

19 октября, вечером.

Сегодняшний день я использовал на то, чтобы смотреть и опять смотреть, но с искусством обстоит так же, как с жизнью: чем глубже в нее вникаешь, тем она становится необъятнее. На небе искусства возникают новые звезды; я не могу их исчислить, и они сбивают меня с толку; оба Караччи, Гвидо, Доминико появились уже в более позднюю и более счастливую для искусства пору. Но чтобы по-настоящему насладиться ими, нужно знание и уменье судить. Мне же недостает того и другого, а приобретается это лишь постепенно. К тому же чистоте созерцания и непосредственному впечатлению очень мешают нелепые в большинстве случаев сюжеты картин, которые бесят тебя, хотя должны были бы вызывать преклонение и восторг.

Кажется, что сыны божии, вступив в брак с дочерьми человеческими, наплодили ублюдков. Если божественный дух Гвидо, его кисть, словно бы созданная запечатлевать лишь совершеннейшее из того, что нам дано видеть, влечет нас, то все же спешишь, браня его на чем свет стоит, отвести глаза от этих омерзительно глупых сюжетов, унижающих человеческое достоинство; анатомический театр, эшафот, живодерня, герой

вечно страдает, но никогда не действует, ни малейшего интереса к современной жизни, всегда что-то фантастическое, приходящее извне. Злодеи или сумасшедшие, преступники или идиоты, — чтобы спасти положение, художник вписывает в картину голого парня, хорошенькую зрительницу, а не то обходится со своими духовными героями, как с манекенами, обряжая их в плащи с живописными складками. И ничего характерного для человека! Из десяти сюжетов — ни одного, который стоило бы писать, а единственный, этого заслуживающий, художник не осмелился дать в правильной трактовке.

Большая фреска Гвидо в церкви Мендиканти написана по заказу; в ней есть все, что должно быть запечатлено великим мастером, но также и вся чепуха, которой только можно от него потребовать. По-видимому сенат одобрял фреску, а возможно, и давал указания, что должно быть на ней изображено. Оба ангела, достойные утешать Психею, здесь вынужденны…

Святой Прокл написан великолепно, но остальные — сущие попы и епископы! Внизу божественные младенцы, играющие традиционными атрибутами. Художник, зная, что к горлу его приставлен нож, старался выйти из положения, но, видимо, только доказал, что не он варвар. Есть там и две нагих фигуры, давно написанные, — святой Иоанн в пустыне и святой Себастиан, но что вы скажете? Один разинул рот, другой скорчился в три погибели.

В дурнейшем расположении духа, задумываясь над историей, я прихожу к выводу, что вера возродила искусство, но суеверие, заполучив власть над ним, снова сгубило.

После обеда, несколько утихомирившись и придя в менее задиристое настроение, чем сегодня утром, я записал в свою книжицу следующее: в палаццо Танари имеется знаменитая картина Гвидо — Мария, больше натуральной величины, кормящая грудью младенца. Кажется, что бог написал ее голову; невозможно передать выражение, с которым мать смотрит на сосущего младенца. Мне видится в ней тихая, глубокая покорность, словно бы на руках у нее не дитя любви и радости, но подкинутый ей небесами младенец, и она кормит его — ибо так уж случилось — в глубочайшем своем смирении, даже не понимая, как все это произошло. Остальное пространство заполнено гигантским занавесом, который очень высоко ценят знатоки; я же не знал, как к нему отнестись. Правда, краски его потемнели, но, кстати сказать, день и комната тоже были не из светлых…

Вот я и уподобился Валааму, растерявшемуся пророку, который благословил тех, кого собирался проклясть, и так

повторялось бы еще не раз, останься я здесь подольше.

Но если вновь наткнешься на картину работы Рафаэля, или хотя бы с некоторой достоверностью ему приписываемую, то ты исцелен и счастлив. Так я набрел на «Святую Агату», бесценную, но, увы, не очень хорошо сохранившуюся. Художник изобразил святую здоровой, уверенной в себе девственницей, но не грубоватой и не холодной. Мне врезался в память этот образ, я буду мысленно читать ей «Ифигению» и не позволю своей героине выговорить ни слова, которого не могла бы сказать эта святая.

Раз уж я снова вспомнил о сладостной ноше, с которой не расстаюсь в своем странствии, то не могу умолчать и о том, что, помимо великих явлений искусства и природы, которые я обязан усвоить, мне не дает покоя еще и удивительная вереница поэтических образов. Едучи сюда из Ченто, я намеревался продолжить работу над «Ифигенией», но что же произошло? Перед моим внутренним взором предстал сюжет «Ифигении Дельфийской», и я должен был его разработать. Скажу о нем по возможности кратко.

Электра, в надежде, что Орест доставит в Дельфы изображение Дианы Таврической, является в храм Аполлона и, как последнюю искупительную жертву, посвящает божеству грозный топор, учинивший столько бед в доме Пелопса. Но, увы, к ней приближается некий грек и говорит, что он, сопровождая Ореста и Пилада в Тавриду, своими глазами видел, как обоих друзей повели на казнь, сам он спасся благодаря счастливой случайности. Одержимая страстью Электра, вне себя и не знает, обратить ей свою ярость на богов или на людей.

Меж тем Ифигения, Орест и Пилад тоже прибывают в Дельфы. Священное спокойствие Ифигении странно контрастирует с земной страстью Электры, когда обе они встречаются, не зная друг друга. Спасшийся бегством грек узнает жрицу, принесшую в жертву его друзей, и открывает это Электре. Та уже готова, схватив с алтаря злополучный топор, убить Ифигению, когда счастливый оборот событий отвращает от сестер последнее ужаснейшее зло. Ежели эта сцена мне удастся, то вряд ли на театре было когда-либо нечто более высокое и трогательное. Но где взять сил и времени, даже если дух твой готов совершить?

И вот, испытывая своего рода страх, под напором такого избытка добрых и удачных замыслов, я хочу напомнить друзьям сон, привидевшийся мне около года тому назад, который я принял за предзнаменование. Мне приснилось, что я в довольно большой лодке подплыл к плодородному и богатому растительностью острову, на котором, мне это было известно,

водились отличнейшие фазаны. Я живо столковался с тамошними жителями относительно покупки дичи, они живо ее забили и приволокли мне целую груду. Это и вправду оказались фазаны, но так как во сне все преображается, у них были длинные хвосты с пестрыми глазками, как у павлинов или столь редких райских птиц. Их складывали связками головами вовнутрь лодки, так что пестрые хвосты, свисая через борта, в лучах солнца образовали прекраснейший сноп, какой только можно себе представить, и до того пышный, что для рулевого и гребцов оставалось очень мало места и на носу и на корме. Так рассекали мы водную гладь, и я уже мысленно перечислял друзей, с которыми поделюсь своими пестрыми сокровищами. Потом, когда мы зашли в большую гавань, я стал блуждать среди кораблей с гигантскими мачтами, переходя с палубы на палубу, в поисках подходящей стоянки для моего суденышка.

Мы тешим себя такими фантасмагориями, и они, возникнув из нас самих, становятся аналогией нашей жизни и наших судеб.

Лойяно на Апеннинах, 21 октября, вечером.

Добровольно ли я покинул Болонью или меня оттуда прогнали, сказать трудно. Как бы там ни было, я жадно ухватился за возможность поскорее уехать. Тут я стою в убогой гостинице, в компании папского офицера, направляющегося в свою родную Перуджу. Подсев в его двуколку и желая сказать ему что-нибудь приятное, я заметил, что мне, как немцу, привыкшему иметь дело с солдатами, доставляет удовольствие ехать в обществе папского офицера.

«Не прогневайтесь, — отвечал он, — вы, может быть, и питаете склонность к военным, — я слышал, в Германии все военные, — но что касается меня, то хотя наша служба и не очень затруднительна в Болонье, где размещен наш гарнизон, я живу очень сносно, но мне все же хотелось бы, скинув этот мундир, управлять небольшим имением отца. К сожалению, я младший сын, и тут уж ничего не поделаешь».

25-го вечером, Перуджа.

Два вечера я ничего не писал. Постоялые дворы настолько убоги, что и листа бумаги положить негде. Вообще во всем какая-то путаница. После моего отъезда из Венеции веретено путешествия крутится уже не так ровно и безостановочно.

Двадцать третьего утром, в десять по нашему времени, мы оставили позади Апеннины и увидели Флоренцию на широкой равнине, необычайно густо застроенной и усеянной

бесконечными виллами и домами.

Я быстро обошел город, осмотрел собор и баптистерий. Здесь мне опять открывается новый, доселе неведомый мир, но задерживаться на нем я не хочу. Сад Боболи восхитителен, однако я вышел из него так же торопливо, как и вошел.

По этому городу можно судить о богатстве народа, его построившего, и также ясно становится, что целая чреда правительств ему благоприятствовала. В Тоскане сразу бросаются в глаза красивые и грандиозные общественные сооружения, дороги, мосты. Все здесь и основательно и опрятно, помимо практической полезности предусмотрена и внешняя привлекательность, во всем заметна деятельная заботливость. Папская область, напротив, кажется, только потому еще и существует, что земля не пожелала ее поглотить. Выше я говорил, какими могли бы стать Апеннины, но такою стала Тоскана. Поскольку она расположена много ниже, то древнее море выполнило свое предназначение и нанесло на эти земли толстый слой глины. Она светло-желтая и легко поддается обработке. Вспашка здесь ведется глубокая, но, можно сказать, первобытная, — плуг не имеет колес, и лемех у него неподвижный. Крестьянин, согнувшись, тащит его за своими волами, вороша землю. Пашут они до пяти раз, а легкий навоз разбрасывают руками. Наконец, сеют пшеницу, потом делают нечто вроде узких грядок, между которыми образуются глубокие борозды, устроенные так, что по ним стекает дождевая вода. Хлеб всходит на этих грядках, крестьяне при прополке ступают по бороздам. Подобный образ действий уместен там, где приходится опасаться излишней влаги, но почему они проделывают это на своих превосходных полях — мне непонятно. Такой же способ я наблюдал и под Ареццо, на плодороднейшей долине. Невозможно представить себе лучше возделанных полей — ни комочка, земля чистая и гладкая, как будто просеянная сквозь сито. Пшеница дает обильный урожай, — видимо, здесь налицо все нужные ей условия. На следующий год сажают бобы для лошадей, овсом их здесь не кормят. Сеют еще и люпин, который уже теперь зазеленел, а в марте принесет плоды. Лен здесь озимый, он уже взошел, а морозы пойдут ему на пользу.

Оливы — удивительнейшие деревья. Они очень похожи на ивы, у них тоже высыхает сердцевина и лопается кора. Но с виду они крепче. Судя по древесине, можно сказать, что растут они медленно и организованы необычайно тонко. Листья похожи на ивовые, но на ветвях их очень мало. Горы вокруг Флоренции засажены оливами и виноградом, свободная земля между ними используется под посев различных злаков. Под Ареццо и во

многих других местах эту землю оставляют свободной. Я считаю, что здесь недостаточно борются с плющом, который вредит оливам и другим растениям, тогда как уничтожить его — сущий пустяк. Луга в этих местах отсутствуют. И еще: говорят, что кукуруза истощает почву; с тех пор как ее стали сеять, в Италии земледелие заметно пострадало. При малом количестве удобрений мне это кажется естественным.

Сегодня вечером я распрощался со своим капитаном, клятвенно заверив, что на обратном пути навещу его в Болонье. Он — истинный представитель многих своих соплеменников. Несколько слов, его характеризующих. Так как я часто бывал молчалив и задумчив, он однажды сказал: «Che pensa! Non deve mai pensar l'uomo, pensando s'invecchia». Что в переводе означает: «Что вы так много думаете! Человеку не следует думать, от дум только старишься». И после одного разговора: «Non deve fermarsi l'uomo in una sola cosa, perchè allora divien matto; bisogna aver mille cose, una confusione nella testa». — «Нельзя человеку сосредоточиваться на одном предмете, а то он сойдет с ума; в голове должна быть тысяча предметов, целая сумятица».

Славный этот человек не мог, конечно, знать, что именно потому я бываю молчалив и задумчив, что в голове у меня сумятица от старых и новых предметов. Образованность этого итальянца станет еще яснее из следующего. Познав, видимо, что я протестант, он, правда, не без околичностей, попросил разрешения задать мне ряд вопросов, так как слышал много удивительного о нас, протестантах, и хочет наконец убедиться в достоверности слышанного. «Вправе ли вы, — спросил он, — быть в близких отношениях с хорошенькой девушкой, если вы не состоите с нею в браке? Разрешают ли вам это ваши священники?» На что я отвечал: «Наши священники умные люди и не обращают внимания на такие пустяки. Конечно, если бы мы у них спрашивались, они бы не разрешили». — «Так вы не обязаны их спрашивать? — воскликнул он. — Вот счастливцы! А раз у вас нет исповеди, то они ничего не узнают». Тут он принялся на чем свет стоит честить своих попов и превозносить нашу благословенную свободу. «А как, собственно, — продолжал он, — обстоит у вас с исповедью? Нам говорят, что все люди, даже не христиане, должны исповедоваться, а так как, закоснев в невежестве, они не могут понять, в чем здесь суть, то исповедуются даже старому дереву, что, конечно, смешно и богохульно, но все же доказывает, что они признают необходимость исповеди». Я счел своим долгом объяснить ему наши представления об исповеди и то, как она происходит. Мои объяснения пришлись ему по вкусу, но он тут же заметил, что это

мало чем отличается от исповеди дереву. Немного помявшись, он попросил меня честно ему ответить еще на один вопрос; дело в том, что он слышал от одного из патеров, человека вполне правдивого, будто нам позволено жениться на своих сестрах, но ему кажется, что это, пожалуй, излишне. Когда я стал его опровергать и попытался внушить ему разумное понятие о нашем вероучении, он слушал меня в пол-уха, так как все это показалось ему очень уж будничным, и задал мне новый вопрос.

«Нас уверяют, — сказал капитан, — что Фридрих Великий, одержавший так много побед, в том числе и над верующими, и прославившийся на весь мир, что он, которого считали еретиком, на самом деле был католиком, но папа дозволил ему это обстоятельство скрывать. Как известно, он ни в одну вашу церковь не ходил и отправлял богослужение в подземной часовне, причем сердце у него разрывалось от невозможности открыто исповедовать истинную веру; сделай он это, его пруссаки — народ злой, ярые еретики — прикончили бы своего короля на месте, отчего ничто бы не изменилось к лучшему. Святой отец и дал королю это разрешение, с условием, что он по мере сил будет втайне поддерживать и распространять учение единославной церкви». Дальнейшая наша беседа продолжалась в том же духе, и я поневоле дивился мудрости их духовенства, пытающегося отрицать или искажать то, что могло бы прорвать темный круг традиционного учения и сбить с толку верующих.

Читта-Кастеллана, 28 октября.

Не хочу упустить последний вечер. Еще нет и восьми часов, а все уже улеглись спать. Так что мне можно напоследок вспомянуть прошлое и порадоваться ближайшему будущему. День сегодня был великолепный, — с утра холодный, потом ясный и теплый, вечер несколько ветреный, но прекрасный.

Из Терни мы выехали спозаранку; в Нарви поднялись, когда еще не рассвело, так что моста я не видел. Долы и ущелья, близи и дали, прелестные места, повсюду известняковые горы, ни следа иной горной породы.

Едва переехав мост, оказываешься на вулканической почве, покрытой либо доподлинной лавой, либо изверженной породой, видоизменившейся из-за жара и частично расплавившейся. Шоссе, идущее вниз к Читта-Кастеллана, из того же камня, оно уже достаточно накатано, и ехать по нему удобно; город стоит на вулканическом туфе, в котором я, или мне это только показалось, заметил золу, пемзу и куски лавы. Очень хорош вид из дворца, гора Соракте высится одиноко и весьма живописно, вероятно, это отрог Апеннинских известняковых гор. Вулканические

пространства значительно ниже Апеннин, и лишь пробив себе путь, вода сделала из них горы и скалы; таким образом возникли потрясающе живописные детали, нависшие утесы и прочие случайности пейзажа.

Итак, завтра вечером — Рим. Я еще и сейчас с трудом в это верю, а когда и это мое желание сбудется, что же еще я смогу себе пожелать? Разве только благополучно вернуться домой, в лодке, полной фазанов, и застать своих друзей здоровыми, веселыми и благожелательными.

РИМ

Рим, 1 ноября 1786 г.

Наконец-то я вправе нарушить молчанье и радостно приветствовать своих друзей. Да простится мне моя скрытность и мое словно бы подземное путешествие. Я едва отваживался сам себе признаться, куда я направляюсь, и только под Porta del Popolo уверился — я в Риме.

И еще я хочу сказать вам, что тысячекратно, нет, непрерывно, вспоминаю вас вблизи от *того*, что я никогда не думал увидеть в одиночестве. Только убедившись, что вы душой и телом прикованы к северу, что вас более не манят эти края, я решился пуститься в дальний, одинокий путь и отыскать его средоточие, к которому меня влекло неодолимо. В последние годы это уже превратилось в своего рода болезнь, излечить от которой меня могло лишь непосредственное лицезренье. Нынче я могу признаться: под конец мне уже было нестерпимо смотреть на книгу, напечатанную латинским шрифтом, на любую зарисовку итальянского пейзажа. Жажда увидеть эту страну полностью созрела. Теперь, когда я утолил ее, друзья и отечество снова дороги мне, возвращенье — желанно, тем более что я убежден: сокровища, которые я привезу с собой, не могут, не должны оставаться моей собственностью, надеюсь, что они навеки пребудут для всех нас поощрением и путеводной нитью.

Рим, 1 ноября 1786 г.

Вот я и добрался до сей столицы мира! Если бы я, в сопровождении достойного и сведущего человека, увидел ее лет пятнадцать тому назад, я счел бы себя счастливцем. Но раз уж мне было суждено в одиночестве посетить ее и увидеть своими глазами, то хорошо, что эта радость так поздно выпала мне на долю.

Через Тирольские горы я словно бы перелетел. Верону, Виченцу, Падую, Венецию осмотрел добросовестно, Феррару, Ченто, Болонью — бегло, а Флоренцию разве что увидел краем глаза. Страстное желанье скорее попасть в Рим было так велико, так вырастало с каждым мгновением, что о задержке в пути не могло быть и речи, и я всего три часа пробыл во Флоренции. Но вот я здесь, я успокоился, и, как мне кажется, успокоился до конца своих дней. Ибо смело можно сказать — жизнь начинается сызнова, когда твой взор объемлет целое, доселе известное тебе лишь по частям. Все мечтания юности воочию стоят передо мной.

Первые гравюры, которые мне запомнились (мой отец развесил виды Рима в приемных комнатах), я вижу теперь в действительности, и все, что я давно знал по картинам и рисункам, по гравюрам на меди и на дереве, по гипсовым и корковым слепкам, теперь сгрудилось вокруг меня; куда бы я ни пошел, я встречаю знакомцев в этом новом мире. Все так, как мне представлялось, и все ново. То же самое я могу сказать о своих наблюдениях и своих мыслях. Ни одна совсем новая мысль не посетила меня, ничто не показалось мне вовсе чужим, но все старье стало таким определенным, живым, таким связным, что вполне может сойти за новое.

Когда Пигмалионова Элиза, которую он создал согласно своим представлениям и желаниям, придав ей столько жизненной правды, сколько может придать художник, в конце концов приблизилась к нему и сказала: *«Вот я»,* — как же разнилась она, живая, от каменного изваяния!

Как благотворно, в нравственном отношении, сказывается на мне жизнь среди этого насквозь чувственного народа, о котором говорят и пишут столько, что каждый иностранец судит о нем по привезенной с собою мерке. Я не сержусь на тех, кто осуждает и бранит итальянцев; очень уж они далеки от нас, и чужестранцу общаться с ними трудно, да и накладно.

Рим, 3 ноября.

Одной из основных причин, побуждавших меня спешить в Рим, был дразнивший мое воображение Праздник всех святых первого ноября. Я рассуждал так: если одному святому воздаются превеликие почести, то каков же будет праздник всех святых! Но как я обманулся! Римской церкви неудобно было всеобщее торжество, и каждому ордену в отдельности предоставлялось чтить память своего патрона, ибо в торжественный день именин каждый святой является народу в сиянии своей славы.

Но вчера, в День поминовения усопших, мне больше повезло. Папа празднует его в своей домашней часовые на Квиринале. Доступ открыт для всех. Мы с Тишбейном поспешили на Монте-Кавалло. Площадь перед дворцом — нечто совершенно единственное: неправильной формы, грандиозная, но при этом очаровательная. Вот наконец и я увидел обоих колоссов! Ни взглядом, ни мыслью охватить их невозможно. Вместе с толпой мы устремились через великолепный просторный двор вверх по более чем просторной лестнице. В покоях напротив часовни, где перед тобой открывается анфилада комнат, испытываешь странное чувство — ты под *одной* крышей с наместником Христа.

Богослужение началось, папа и кардиналы, уже были в

церкви. Святой отец — прекрасный, достойнейший, с мужественной осанкой, кардиналы разного возраста, разного обличья.

Непостижимое томление овладело мною, — о, если бы глава церкви отверз свои златые уста и, с восторгом говоря о несказанном блаженстве праведных душ, поверг бы в восторг и нас! Но он только расхаживал перед алтарем, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, жестикулируя и бормоча что-то, как обыкновеннейший поп. Тут во мне пробудился протестантский первородный грех, и знакомый, привычный обряд литургии на сей раз был мне не по душе. Ведь Христос еще отроком устно излагал Святое писанье и юношей, уж конечно, не молча поучал и воздействовал; из Евангелий мы знаем, что он говорил охотно, метко и красноречиво. Что бы он сказал, думал я, если бы вдруг вошел и увидел своего наместника на земле, который что-то бормочет и раскачивается на ходу. «Venio iterum crucifigi!» — вспомнилось мне, и я потянул своего спутника в простор сводчатых, расписанных зал.

Там множество народу рассматривало прекрасные картины; дело в том, что Праздник всех усопших одновременно является и праздником всех римских художников. В этот день не только часовня, но весь дворец и все его комнаты доступны каждому, двери их распахнуты на долгие часы, здесь не приходится раздавать чаевые, и кастелян никого не поторапливает.

С наибольшим вниманием я отнесся к фрескам и ознакомился с новыми для меня крупнейшими художниками, которых раньше едва знал по именам, — так, например, я высоко оценил сразу полюбившегося мне Карло Маратти…

Пожалуй, еще больше поразила меня одна картина Тициана. Она превосходит все, ранее виденные мною. Развился ли у меня вкус или она и в самом деле наилучшая, я в толк не возьму. Пышная риза, которая стоит колом от обилия золотой вышивки и облекает массивную фигуру епископа. С тяжелым пастырским посохом в левой руке, он подъемлет восторженный взор к небесам, в правой — держит книгу, видимо, сейчас только осенившую его божественной благодатью. Позади него прекрасная девушка с пальмовой ветвью с милым и участливым любопытством заглядывает в эту раскрытую книгу. Суровый старец справа, стоя почти рядом с книгой, на нее и не смотрит; держа в руке ключи, он, надо думать, доверяет лишь собственному восприятию. Насупротив этой группы обнаженный, стройный юноша, связанный по рукам и ногам и пронзенный стрелами, смотрит прямо перед собой, смиренно покорствуя судьбе. В промежутке между ними два монаха с крестом и с

лилией, благоговейно подняли очи горе. Ибо полукруглая стена, которою все они замкнуты, открыта вверху. Оттуда, окруженная сиянием, смотрит вниз сострадающая матерь. Живой, резвый младенец, улыбаясь, то ли протягивает им венок, то ли намеревается сбросить его вниз. По обе стороны младенца парят ангелы, держа уже припасенные венки. Надо всеми и над тройным кругом сияния — голубь как средоточие картины и одновременно как ключ свода.

Думается, что в основе здесь лежит старая священная традиция, позволившая столь искусно и значительно объединить эти различные, неподходящие друг другу образы. Мы не задаемся вопросом, как и почему, а принимаем все так, как оно есть, и преклоняемся перед непостижимостью искусства.

Но для смягчения искусствоведческого глубокомыслия расскажу о некоем забавном приключении: я заметил, что многие немецкие художники, приветствуя Тишбейна как доброго знакомого, разглядывали меня, отходили подальше и приближались вновь. Тишбейн, оставивший меня на несколько минут, вернулся и сказал:

«Ну, и потеха доложу я вам! Слух о том, что вы здесь, распространился, и художники насторожились при виде незнакомого чужестранца. Среди нашей братии есть один художник, давно уже утверждающий, что он вам знаком и будто бы даже состоял с вами в дружеских отношениях, правда, мы ему не очень-то верили. Его позвали взглянуть на вас и рассеять наши сомнения, он тотчас же решительно заявил, что вы не вы и этот иностранец ничуть и ничем на вас не похож. Так что инкогнито, по крайней мере, на данный момент, сохранено, а дальше нам будет над чем посмеяться».

Теперь я уже без стеснения вмешался в толпу художников и стал их расспрашивать о мастерах, чья кисть мне была еще неведома. Всего больше, пожалуй, меня привлекла картина, изображавшая святого Георгия, победившего дракона и освободителя девы. Никто не мог назвать мне художника. Но вдруг из толпы выступил маленький, скромный человек, до этой минуты не проронивший ни слова, и сказал мне, что это одно из лучших произведений венецианца Порденоне, по которому можно судить о достоинствах его работ. Теперь я понял, что эта картина так привлекла меня потому, что с венецианской школой я был уже несколько знаком и до известной степени мог судить о достоинствах ее мастеров.

Художник, меня просветивший, был Генрих Мейер, швейцарец, уже несколько лет учившийся в Италии вместе со своим другом неким Цёлла. Он, как оказалось, прекрасно

копировал в сепии античные бюсты и был хорошо осведомлен в истории искусства.

Рим, 5 ноября.

Вот уже неделя, как я здесь, и мало-помалу в моей душе складывается общее представление об этом городе. Мы ходим повсюду, я знакомлюсь с планами старого и нового Рима. Разглядываю руины, здания, захожу то в одну, то в другую виллу, самое примечательное изучаю очень неторопливо, вперяюсь глазами и ухожу, потом возвращаюсь потому, что только в Риме можно подготовиться к Риму.

Нельзя не признаться, что выковыривать старый Рим из нового огорчительное и печальное занятие, но все же это нужно делать, уповая в конце концов на несказанное удовлетворение. Мы находим следы великолепия и упадка, те и другие превосходят все наши представления. То, что пощадили варвары, стерли с лица земли строители нового Рима.

Здесь видишь жизнь, которая длится две тысячи лет, а то и больше, столь многообразную в силу смены эпох и в корне изменившуюся, но ведь почва-то осталась все та же, и горы все те же, а частенько та же колонна и стена, в народе — все тот же характер; ты становишься соучастником великих решений судьбы, и наблюдателю поначалу трудно разобраться, как Рим сменяется Римом, и не только старый Рим новым, но как различные эпохи наслаиваются одна на другую. Сначала я хочу самостоятельно прощупать и прочувствовать полустертые точки, лишь тогда может уясниться вся полезность предшествующих великих трудов; ибо начиная с XV столетия и до наших дней превосходные художники и ученые всю свою жизнь посвящали разрешению этих вопросов.

Грандиозность прошлого и настоящего успокаивающе действуют на нас, когда мы быстро проходим по Риму, торопясь увидеть наипрекраснейшее. В других местах значительные произведения искусства приходится отыскивать, — здесь они теснят и подавляют нас. Куда бы мы ни шли, где бы ни стояли, нашему взору открываются разнообразные пейзажи, дворцы и руины, сады и заросли, дали и теснины, домишки, сараи, триумфальные арки и колонны, иной раз в таком близком соседстве, что все это можно было бы набросать на одном листке бумаги. Нужно иметь тысячу грифелей, — разве справишься здесь одним пером! Но к вечеру ты уже утомлен и обессилен созерцанием и восхищеньем.

7 ноября 1786 г.

Да простят мне друзья, ежели в будущем им придется счесть меня скупым на слова, но в путешествии подбираешь все, что попадется под руку, каждый день приносит нам что-то новое, о чем тоже надобно поразмышлять, выработать свое суждение. Но в Риме попадаешь в школу, где каждый день говорит тебе так много, что ты о нем уже ничего не решаешься сказать. Надо было бы годами жить здесь, храня пифагорейское молчание.

В тот же день.

Чувствую себя прекрасно. Погода, как говорят римляне, brutto; дует полуденный ветер, сирокко, каждый день приносящий дождь то большой, то малый, но меня такая погода не раздражает, на дворе все равно тепло, чего у нас в дождливые дни не бывает.

7 ноября.

Талант Тишбейна, его намерения, его художественные планы я узнаю все лучше и все больше ценю их. Он показывал мне свои зарисовки и наброски, очень хорошие и многообещающие. Пребывание у Бодмера заставило его задуматься о первобытных временах рода человеческого, о временах, когда он оказался на земле и должен был решить задачу: как сделаться властелином мира.

В качестве остроумного предварения доисторических времен Тишбейн постарался чувственно изобразить древнейшую пору земли. Горы, поросшие густыми лесами, ущелья, прорытые бурными потоками, потухшие вулканы, еще только чуть-чуть дымящиеся. На переднем плане торчащий из земли обломок многолетнего дуба, полуобнаженные корни которого, пробуя силу своих рогов, пытается подрыть олень; удачно задумано и прелестно выполнено.

И далее: на весьма оригинальном рисунке он изобразил укрощающего коней человека, который если не силой, то хитроумием превосходит всех животных, обитающих землю, воды и воздух. Композиция продуманно-прекрасна; написанная маслом, такая картина производила бы огромное впечатление. Копию этого рисунка нам обязательно нужно иметь в Веймаре. Теперь Тишбейн замышляет изобразить собрание старцев, мудрых и многоопытных, причем это будут не вымышленные, а действительно существовавшие мужи. С упоением работает он и над эскизами к битве, где два отряда всадников бьются с одинаковой яростью, и все это происходит в горах, на краю гигантского каменистого ущелья, которое лишь с невероятным

усилием может перепрыгнуть конь… О том, чтобы защищаться, здесь и речи нет. Отчаянный натиск, неистовая отвага, удача или паденье в бездну! Эта картина даст ему возможность использовать свое глубокое знание коней, их стати и движений.

Он хочет, чтобы эти картины, целый ряд последующих или дополнительных, были связаны между собой несколькими стихотворениями, которые будут им служить объяснением, он же, в свою очередь, благодаря отдельным образам и положениям сообщит этим стихам плоть и кровь, а также обаяние.

Мысль прекрасная, но для того, чтобы ее осуществить, нужно, конечно, несколько лет прожить вблизи друг от друга.

7 ноября.

Наконец-то я увидел Лоджии Рафаэля, большие картины его «Афинской школы» и etc.[6], но это все равно, что изучать Гомера по местами стертой, поврежденной рукописи. С первого взгляда особой радости не ощущаешь, только постепенно, все просмотрев и проштудировав, испытываешь истинное наслаждение. Лучше всего сохранились плафоны Лоджий. На библейские сюжеты, они словно вчера написаны, — правда, лишь немногие рукою Рафаэля, но все выполнены, и выполнены превосходно, по его рисункам и под его наблюдением.

7 ноября.

В былые времена меня одолевала нелепая причуда, страстное желание поехать в Италию с образованным, сведущим в истории и в искусствах англичанином. И вот все сложилось лучше, чем я мог предполагать. Тишбейн долго прожил здесь и, будучи, истинным моим другом, носился с желанием показать мне Рим. Наша дружба стара, если мерить по переписке, и нова в смысле личного общения, — где я мог бы сыскать лучшего гида? Пусть время мое ограничено, но я все же получу много наслаждения и многому научусь.

При всем том я предвижу, что, когда придет время уезжать, я уже захочу быть дома.

10 ноября 1786 г.

Я живу здесь в душевной ясности и в покое — чувства, мною почти забытые. Мое старанье, видеть и воспринимать вещи такими, каковы они есть, сохранить остроту зрения, полностью отобщиться от каких бы то ни было претензий, вновь приносит мне пользу и в тиши дарит меня великим счастьем. Всякий день — новая достопримечательность, всякий день — другие,

поразительные, редкостные картины, и целое, о котором сколько ни думай и ни мечтай, все равно не может возникнуть в твоем воображении.

Сегодня был у пирамиды Цестия, а вечером на Палатине, на самом верху, возле руин императорских дворцов, которые высятся, как утесы. Рассказать об этом, увы, невозможно. Здесь нет ничего мелкого, хотя кое-где и встречается что-то достойное порицания и безвкусное; но все равно даже это — часть общего величия.

Когда я самоуглублен, — а мы любим самоуглубляться по любому поводу, — то открываю в себе чувство, так бесконечно радующее меня, что я даже решаюсь его высказать. Тот, кто всерьез всматривается здесь во все, что его окружает, и кому глаза даны, чтобы видеть, должен набраться солидных знаний, да и вообще солидности, даже если ранее она была вовсе чужда ему.

На ум наш накладывается печать деловитой восприимчивости, он обретает серьезность, лишенную сухости, некую радостную положительность. Мне, во всяком случае, кажется, что никогда я так верно не оценивал различные явления этого мира. И я радуюсь благодатным последствиям, которые будут на мне сказываться до конца моих дней.

Так дозвольте же мне собирать, что попадется под руку, все упорядочить — я успею. Я здесь не для того, чтобы наслаждаться на свой лад, а чтобы ревностно усваивать то великое, что мне открылось, учиться и совершенствоваться, покуда мне еще не минуло сорока.

11 ноября.

Сегодня навестил нимфу Эгерию, потом ристалище Каракаллы, разрушенные погребения вдоль Виа-Аппиа и гробницу Метеллы; при виде ее только и начинаешь понимать, что значит прочная каменная кладка. Эти люди работали для вечности, все было ими учтено, кроме безрассудного, дикого варварства, от которого нет спасения. Как страстно я хотел, чтобы ты была здесь со мной. Развалины гигантского водопровода достойны восхищения. Прекрасная и великая цель — напоить народ при посредстве сего грандиозного сооружения! Вечером, уже в сумерки, мы добрались до Колизея. Когда видишь его, все другое уже опять кажется малым, — он так огромен, что душа не в силах удержать его обличье, в воспоминаниях он становится меньше, а когда возвращаешься к нему, как бы вновь вырастает.

18 ноября.

Тут я должен сказать несколько слов об одной удивительной и загадочной картине, — она кажется привлекательной, даже после тех превосходных вещей, которые здесь видишь.

Уже много лет тому назад в Риме жил один француз, известный любитель искусства и коллекционер. Неожиданно он приобрел *античную* фреску на известняке, причем никто не знал, откуда она взялась; поручив Менгсу ее реставрировать, он ее приобщает к своей коллекции как ценнейшее произведение искусства. Винкельман, уже не помню где, восторженно отзывается о ней. Фреска изображает Ганимеда, подающего Юпитеру чашу, наполненную вином, за что Юпитер благодарно его целует. Француз, умирая, завещал *античную* фреску своей квартирной хозяйке. Менгс на смертном одре заявляет, что *она не античная, это он ее написал.* Разгораются горячие споры. Кто утверждает, что Менгс написал ее так, шутки ради, другие — что Менгс ничего подобного просто не мог сделать, фреска эта-де едва ли не превыше работ Рафаэля. Я смотрел ее вчера и должен признаться, что тоже не знаю ничего прекраснее этого Ганимеда, его головы, спины и всей фигуры, — остальное подверглось сильной реставрации. Между тем вся вещь была скомпрометирована, и бедняжку-хозяйку никто не хочет освободить от ее сокровища.

24 ноября.

Об итальянцах могу сказать только, что это — дети природы; среди роскоши и величия искусств и религии они ничуть не отличаются от того, чем были бы в пещерах и в лесах. То, что поражает всех приезжих и о чем сегодня опять говорит весь город, — но только *говорит,* — это убийства, ставшие здесь обычным делом. Неподалеку от нас за последние три недели произошли четыре убийства. Сегодня злодеи напали, в точности как на Винкельмана, на известного художника-модельера, швейцарца, ученика Гедлингера. Убийца, с которым он вступил в борьбу, нанес ему двадцать ножевых ран, а когда подоспела стража — закололся. Вообще-то это здесь не модно. Убийца вбегает в церковь — тем самым он спасен.

Итак, чтобы в моих картинах был не только свет, но и тень, я должен был бы поведать о преступлениях и несчастьях, о землетрясении и наводнениях, но нынешнее изверженье Везувия посеяло сумятицу среди большинства чужеземцев, и приходится делать над собою недюжинные усилия, чтобы не быть в нее вовлеченным. Это явление природы как гремучая змея, оно неодолимо притягивает человека. Сейчас кажется, что все художественные сокровища Рима мигом обратились в ничто; ни

один приезжий ими больше не интересуется, все мчатся в Неаполь. Я решил проявить выдержку, надеюсь, гора что-нибудь прибережет и для меня.

1 декабря.

Здесь Мориц, обративший на себя вниманье своим «Антоном Рейзером» и «Путешествиями в Англию». Это превосходный, чистый человек, он доставляет нам много радости.

Рим, 2 декабря 1786 г.

Прекрасная, теплая, ровная погода в конце ноября, лишь изредка сменяющаяся дождливыми деньками, — для меня совершенная новость. Погожее время мы проводим на вольном воздухе, дождливое — в комнатах, и везде есть чему порадоваться, поучиться, над чем поработать.

Двадцать восьмого ноября мы вновь посетили Сикстинскую капеллу и попросили отпереть нам галерею, с которой лучше видна плафонная живопись. Правда, галерея очень узкая, приходится жаться к железным перилам, даже не без некоторой опасности, так что люди, подверженные головокружению, на эту галерею не идут. Но все искупается лицезрением величайшего творения. Сейчас я так захвачен Микеланджело, что после него охладел даже к самой природе, ибо мне недостает его всеобъемлющего зрения. Если бы имелось средство навеки запечатлеть в душе эти картины! Во всяком случае, я привезу с собой все гравюры и рисунки с его произведений, какие только сумею раздобыть.

Из Сикстинской капеллы мы пошли к Лоджиям Рафаэля, и я едва осмеливаюсь сказать, что на них и смотреть не хотелось. Зрение наше так расширилось, так избаловалось гигантскими формами и божественной завершенностью всех отдельных частей, что остроумная игра арабесок уже не производила впечатления, а библейские предания, как они ни прекрасны, не выдерживают сравнения с величием художника.

Оттуда под солнцем, пожалуй, не в меру палящим, мы побрели на виллу Памфили, где в парке имеются прекраснейшие уголки, и оставались там до вечера. Большая лужайка, окаймленная вечнозелеными дубами и стройными пиниями, вся была засеяна маргаритками, которые поворачивали головки к солнцу. Тут я снова предался своим ботаническим размышлениям и на следующий день продолжил их во время прогулки к Монте-Марио, на виллу Мелини и виллу Мадама. Очень интересно наблюдать, как протекает постоянная, не прерываемая сильными

холодами вегетация. Почек здесь и в помине нет, отчего начинаешь понимать, что такое почка. Земляничное дерево (arbutus unedo) снова цветет, в то время как дозревают его последние плоды, а на апельсиновых деревьях цветы соседствуют с дозревающими и уже созревшими плодами (впрочем, последние, ежели они не растут между строениями, в это время года принято укрывать). Кипарис, это респектабельнейшее дерево, в особенности когда он стар и строен, тоже наводит на различные размышления. В ближайшие дни я побываю в ботаническом саду и надеюсь там многое узнать. Да и вообще ничего нельзя сравнить с той новой жизнью, которою мыслящего человека одаривает знакомство с новой страною. И хотя я остался тем же, кем был, но мне представляется, что я изменился до мозга костей.

На сей раз кончаю, но следующий листок заполню наконец рассказом о бедах, убийствах, землетрясении и несчастьях, дабы помимо света в моих картинах была и тень.

13 декабря.

Как я счастлив, что вы поняли мое исчезновение как должно. Примирите же со мною и тех, кого оно могло больно задеть. Я никого не хотел обидеть, но, увы, мне нечего сказать в свое оправдание. Боже меня упаси, если предпосылки для этого решения покажутся обидными кому-нибудь из моих друзей.

Постепенно я прихожу в себя после моего salto mortale и больше учусь, чем наслаждаюсь. Рим — это целый мир, и на то, чтобы узнать его, потребны годы. Я завидую тем путешественникам, которые глянут и пойдут дальше.

Сегодня утром мне попались под руку письма Винкельмана из Италии… С какой растроганностью начал я читать их! Тридцать один год тому назад, в то же самое время года, прибыл он сюда еще более блаженным глупцом, чем я, и с немецким усердием принялся изучать основное и непреложное в античности и в искусстве. Как рьяно и честно он трудился! И как много здесь значит для меня память об этом человеке.

Помимо созданий природы, правдивой и последовательной во всех своих проявлениях, ничто так внятно не взывает к нам, как наследие хорошего, разумного человека, как истинное искусство, не менее последовательное, чем сама природа.

Одно место в письме Винкельмана к Франкену очень порадовало меня: «В Риме надо ко всему подходить спокойно и с некоторой флегмой, иначе вас примут за француза. Рим, думается мне, высшая школа для всего человечества, меня она тоже просветила и подвергла испытаниям».

Вышесказанное могло бы относиться ко мне, и я не иначе подхожу к тому, что здесь вижу, и, конечно, вне Рима нельзя понять, какую школу здесь проходишь. В Риме ты перерождаешься, прежние понятия делаются тесны тебе, как детские башмачки. Заурядчейший человек здесь становится чем-то или, по крайней мере, приобретает незаурядные понятия, даже если они не входят в его плоть и кровь.

Это письмо вы получите к Новому году, желаю вам всего самого доброго к его началу, а в конце его мы уже свидимся, и какая же это будет радость… Прошлое — самое важное в моей жизни; суждено ли мне умереть в скором времени или нет, его у меня все равно не отнимешь. Еще словечко — для малышей.

Прочитайте или расскажите детям следующее: зимы здесь словно и не бывает, в садах — вечнозеленые деревья, светит и греет солнце, снег виден только на дальних горах к северу от нас. Лимонные деревья, — их здесь сажают под стенами и мало-помалу накрывают тростниковыми циновками, апельсиновые стоят неприкрытые. Сотнями висят на каждом из этих деревьев прекраснейшие плоды, а само дерево не подстрижено и не посажено в кадку, как у нас, оно вольно и радостно стоит в земле среди своих собратьев. Более веселого зрелища, пожалуй, не придумаешь. За скромные чаевые — ешь сколько влезет. Апельсины и сейчас очень вкусные, а в марте будут еще вкуснее.

На днях ездили к морю и попросили рыбаков закинуть невод. Каких только диковин в нем не оказалось: странно-уродливые рыбы, крабы и вдобавок рыбина, которая бьет электрическим током того, кто к ней прикоснется.

20 декабря.

Но что ни говори, все это скорее труд и забота, чем услада. Второе рождение, которое изнутри пересоздает меня, еще не завершилось. Я думал, что кое-чему научусь здесь. Но не предполагал, что должен буду вернуться к своей школьной поре, что мне надо будет от многого отучаться и уж безусловно переучиваться. Теперь, убедившись в этом, я целиком предался занятиям, и чем больше мне приходится себя отрицать, тем больше я радуюсь. Я уподобляюсь зодчему, который, намереваясь, построить башню, заложил негодный фундамент, но вовремя спохватился и охотно крушит то, что уж высится над землей, стараясь расширить свой план, облагородить его, укрепить фундамент, и заранее радуется прочности своего будущего строения. Дай-то бог, чтобы по моем возвращении домой люди ощутили и то нравственное воздействие, которое оказала на меня жизнь в широком мире. Ибо заодно с обновлением восприятия

искусства значительнейшее обновление претерпевает и нравственное начало человека.

Здесь доктор Мюнтер, вернувшийся из поездки по Сицилии; это энергичный, пылкий человек, цель его пребывания в Риме мне неизвестна. В мае он будет у вас и многое вам расскажет. Два года он странствовал по Италии и остался недоволен итальянцами за то, что они не очень-то обращали внимание на привезенные им с собой весьма солидные рекомендации, которые должны были открыть ему доступ ко многим архивам и частным библиотекам, так что далеко не все его желания исполнились.

Ему удалось собрать много прекрасных монет, и сверх того он еще является обладателем рукописи, в которой нумизматические сведения систематизированы по образцу Линнеевых. Гердера это, вероятно, заинтересует, может быть, он даже добьется разрешения снять копию. Такая возможность не исключена, и хорошо, если это удастся, — рано или поздно нам все равно придется обратить более серьезное внимание на нумизматику.

25 декабря.

Я уже начинаю вторично осматривать лучшее из того, что видел, ибо прошла пора, когда первые восторги превращаются в радостное созерцание, и высвобождается из пут чистое осознание ценности произведения искусства. Чтобы воспринять наивысшее понятие о человеческих деяниях, душа должна обрести совершенную свободу.

Мрамор удивительный материал, поэтому Аполлон Бельведерский так бесконечно радостен в подлиннике, тогда как высокое дыханье живого, свободного, вечно юного создания тотчас же исчезает даже в наилучшем гипсовом слепке.

Напротив нас, в палаццо Ронданини, имеется маска Медузы, на возвышенно-прекрасном лице которой, больше натуральной величины, поразительно удачно воссоздан предсмертный ужас. Я уже обзавелся хорошим слепком с нее, но от волшебства мрамора в нем ничего не осталось. Благородная полупрозрачность желтоватого, как бы телесного цвета камня исчезла. Гипс ведь всегда походит на мел и кажется мертвым.

И все же какая радость, войдя в мастерскую отливщика, увидеть, как он вынимает из формы отдельные дивные члены статуй, и таким образом получить совсем новые представления о фигурах в целом. Вдобавок здесь видишь вместе все, что разбросано по Риму, и это дает неоценимые возможности сравнения. Я не удержался и приобрел колоссальную голову Юпитера. Удачно освещенный, он стоит насупротив моей

кровати, дабы, едва проснувшись, я мог вознести ему свою утреннюю молитву, — впрочем, при всем своем величии и достоинстве, он стал поводом для одной забавной историйки.

Когда моя квартирная хозяйка, уже старая женщина, приходит застилать мою постель, за нею обычно прокрадывается ее любимая кошка. Я сидел в большой комнате и слышал, как старуха возится в спальне. Вдруг она, против обыкновения, стремительно распахнула дверь и крикнула, чтобы я скорее шел посмотреть на чудо. В ответ на мой вопрос, что там такое, она отвечала, что кошка молится господу богу. Она, правда, давно заметила, что разум у малой твари, как у доброго христианина, но все равно — это чудо. Я поспешил собственными глазами взглянуть, что там происходит, и вправду увидел нечто необычное. Бюст Юпитера, срезанный ниже грудной клетки, водружен на высокую подставку, голова кажется вскинутой. Кошка вскочила на стол, уперлась лапками в грудь божества и вытянулась так, что ее мордочка достала до священной бороды, которую она грациозно вылизывала, не обратив ни малейшего внимания ни на возглас хозяйки, ни на мой приход. Я оставил добрую женщину в ее заблуждении, себе же объяснил кошачью молитву тем, что острое обоняние зверька донесло до него запах жира, который из формы попал в завитки бороды и застрял в них.

29 декабря.

Здесь, в квартале художников, чувствуешь себя как в зеркальной комнате, где, хочешь не хочешь, видишь себя и других многократно повторенными. Я заметил, что Тишбейн частенько внимательно меня рассматривает, — оказалось, что он собирается писать мой портрет. Эскиз готов, холст уже натянут. Я буду изображен в натуральную величину, путешественником, который сидит на поверженном обелиске, завернувшись в белый плащ, и разглядывает руины Римской Кампаньи на заднем плане. Наверно, это будет превосходная картина, но слишком большая для наших северных жилищ, я-то уж как-нибудь заберусь туда, а вот найдется ли место для портрета — не знаю.

29 декабря.

Сколько бы ни делалось попыток вывести меня из тени на свет, сколько бы поэты ни читали мне стихов сами или прося об этом других, — так что лишь от меня зависит играть здесь роль или нет, — это не сбивает меня с толку, а разве что забавляет, так как я уже уразумел, к чему сводится жизнь в Риме. Множество разнородных кружков у ног владычицы мира то тут, то там

свидетельствуют о провинциальных нравах.

Да, и здесь все как везде, и то, что могло бы случиться со мной или через меня, нагоняет на меня тоску раньше, чем случается. Необходимо примкнуть к какой-то партии, содействовать ей в ее страстях и в ее интригах, хвалить художников и дилетантов, принижать соперников, решительно все сносить от богатых и знатных. Неужто и мне петь в этом всеобщем хоре, от которого хочется сбежать, пусть даже на тот свет, и все без смысла и цели?

Нет, так далеко я заходить не стану, мне бы только вдосталь здесь всего насмотреться, чтобы по возвращении домой испытывать полное удовлетворение и отшибить у себя и у других тоску по этому далекому миру. Я хочу видеть Рим — вечный, а не изменяющийся через каждый десяток лет. Будь у меня время, я нашел бы ему лучшее применение. История читается здесь иначе, чем в любом уголке земного шара. В других местах ее читаешь извне, в Риме кажется, что читаешь изнутри, — все прошедшее теснится вокруг тебя и от тебя же исходит. И это относится не только к римской, но и ко всеобщей истории. Ведь отсюда я могу сопровождать завоевателей до Везера или до Евфрата, а не то, если придет охота, глазеть, стоя на Via Sacre, на возвращающихся триумфаторов; до сих пор я кормился подаянием, а теперь сопричастен всему этому великолепию.

6 января.

Сейчас вернулся от Морица, рука его зажила, и сегодня ему сняли повязку. Она правильно срослась, он может двигать ею. То, что я узнал и чему научился за эти сорок дней в качестве сиделки, исповедника, поверенного, казначея и секретаря у одра страдальца, впоследствии нам пригодится. Трудно переносимые страдания и благороднейшие наслаждения все это время шли бок о бок.

Вчера я потешил свою душу, поставив в зале слепок с колоссальной головы Юноны, оригинал коей находится в вилле Лудовизи. Она была моей первой любовью в Риме и теперь принадлежит мне. Никакие слова не дают представления о ней. Она — как песнь Гомера.

Правда, я и на будущее заслужил эту близость, ибо теперь могу известить вас, что «Ифигения» наконец закончена, иными словами: два ее почти тождественных экземпляра лежат передо мной на столе, и один из них вскоре отправится к вам. Встретьте же его радушно, ведь на бумаге, разумеется, не стоит, что́ я должен был сделать, но угадать, к чему я стремился, — можно.

Вы уже не раз сетовали на темные места в моих письмах,

свидетельствующие о гнете, который я испытываю среди того прекрасного, что меня окружает. В этом немало виновата и моя греческая спутница; ибо она понуждала меня действовать, тогда как мне следовало только смотреть.

Мне вспомнился тот достойный друг, который собирался в большое путешествие, вернее было бы сказать: в погоню за открытиями. После того как он несколько лет учился и экономил деньги на эту затею, ему под конец еще вздумалось похитить дочь из некоего знатного семейства, ибо он решил: семь бед, один ответ.

Так же дерзко было с моей стороны взять «Ифигению» с собою в Карлсбад. Сейчас кратко перечислю, где я всего оживленнее с нею беседовал. Покидая Бреннер, я вынул ее из самого большого тюка и оставил при себе. На озере Гарда, когда неистовый южный ветер гнал волны к берегу и где я был ничуть не менее одинок, чем моя героиня на берегу Тавриды, я сделал первые наметки новой редакции и работу над нею продолжал в Вероне, в Виченце, в Падуе, но всего прилежнее — в Венеции. Потом моя работа застопорилась, так как я соблазнился новым замыслом, а именно: написать «Ифигению в Дельфах», за которую я бы и засел немедленно, если бы меня не отвлекали новые впечатления и чувство долга по отношению к первой пьесе.

Зато в Риме я продолжал работу с подобающим постоянством. Вечером, ложась спать, я готовился к своему завтрашнему заданию, а проснувшись, тотчас брался за него. Поступал я очень просто: спокойно переписывал пьесу и читал ее себе вслух — строку за строкой, период за периодом, добиваясь правильного звучания. А что из этого вышло — судите сами. К пьесе прилагаю еще несколько заметок.

10 января.

Итак, отправляю вам мое горемычное дитя, этого эпитета «Ифигения» заслуживает во многих отношениях. Читая ее нашим художникам, я подчеркивал некоторые строки, кое-какие из них исправил по собственному усмотрению, другие — не тронул. Может быть, Гердер захочет внести в них кое-какие поправки. Я уже доработался до полного отупения.

В течение многих лет я предпочитал прозу поэзии потому, что наша просодия витает в совершенной неопределенности, а мои проницательные, ученые, сочувствующие моим трудам друзья предоставляли решение многих вопросов чувству, вкусу, отчего утрачивалась путеводная нить.

Я бы в жизни не отважился переложить «Ифигению» ямбами, если бы «Просодия» Морица не явилась для меня путеводной

звездою. Общение с автором, прежде всего во время его болезни, еще больше разъяснило мне ее, и я прошу моих друзей благосклонно все это обдумать.

Примечательно, что в немецком языке очень редко встречаются безусловно короткие или безусловно длинные слоги. В остальном мы обходимся либо в соответствии с нашим вкусом, либо совершенно произвольно. Мориц, однако, докопался до существования определенной иерархии слогов и утверждает, что слог, более значительный по смыслу, в сравнении с менее значительным как бы долог и последний делает кратким, но он может, в свою очередь, сделаться кратким, оказавшись поблизости от слога, наделенного большим смысловым весом. Тут уже есть за что ухватиться, и хотя этим не все исчерпывается, но уже имеется путеводная нить, по которой можно идти вперед. Я нередко руководствовался этой максимой и счел, что она совпадает с моим ощущением.

Поскольку выше я упомянул о чтении «Ифигении», то должен вкратце сказать и о том, чем оно кончилось. Молодые люди, привыкшие к моим прежним, пылким стремительным работам, и сейчас ожидали чего-то берлихингенского и не могли быстро освоиться со спокойной поступью «Ифигении», но все же наиболее благородные и чистьте места произвели на них впечатление. Тишбейн, которому тоже трудно было примириться с почти полным отсутствием страсти, запечатлел на бумаге хорошее сравнение, вернее — символ. Он уподобил эту пьесу жертвоприношению, когда дым из-за давления воздуха стелется по земле, пламя же рвется ввысь. Нарисовано это красиво и многозначительно. Рисунок прилагаю.

Итак, работа, которую я надеялся скоро закончить, на добрую четверть года приковала меня к себе, тешила меня и мучила. Я уже не впервые важнейшее делаю как бы между прочим, так не стоит больше об этом говорить и сокрушаться.

Посылаю вам еще красивый резной камешек — на нем львенок и овод, вьющийся вкруг его носа. Древним нравился этот сюжет, и они часто его повторяли. Мне хочется, чтобы вы впредь запечатывали им свои письма; благодаря этой безделке до меня будет доноситься от вас нечто вроде художественного эха.

19 января.

Итак, великий король, чья слава полнила мир, чьи деяния сделали его достойным даже католического рая, наконец-то приказал долго жить, дабы в царстве теней беседовать с ему подобными героями. Как хорошо бы молчать, когда навеки умолк столь доблестный муж.

Сегодня мы устроили себе прекрасный день, осмотрели часть Капитолия, которой я до сих пор почему-то пренебрегал, засим переправились через Тибр и пили испанское вино на только что причалившем судне. На этом берегу будто бы были найдены Ромул и Рем. Право же, мы вдвойне и втройне чувствовали себя как на троицын день, одновременно опьяненные священным духом искусства, удивительно мягким воздухом, памятью о древних временах и сладким вином.

Рим, 25 января 1787 г.

Мне все труднее давать отчет о своем пребывании в Риме; это как с морем: чем дальше ты входишь, тем глубже оно становится; то же самое испытываю я при осмотре этого города.

Нельзя познать настоящее, не познав прошлого, а для сравнения того и другого требуется много времени и спокойствия. Самое расположение сей столицы мира относит нас ко времени ее созидания. Вскоре мы убеждаемся, что не многолюдное кочующее, хорошо управляемое племя осело здесь, мудро избрав это место для средоточия государства. Не могущественный властитель пожелал тут поселиться. Нет, пастухи и разный сброд первыми уготовили себе здесь пристанище, двое юношей могучего телосложения заложили основания дворцов для повелителей мира на *том самом* холме, к подножию которого, между болотом и камышовыми зарослями, они были некогда положены ретивым исполнителем чужой воли. Итак, семь холмов Рима — не земляные валы, защищающие его от страны, расположенной за ними, они отгораживают город от Тибра, от древнего его русла, ставшего впоследствии Марсовым полем. Если весна будет способствовать дальним экскурсиям, то я подробнее опишу неудачное расположение столицы мира. Мое сердце доныне преисполнено сочувствия к воплям и отчаянью женщин Альбы, видевших, как сравнивают с землей прекрасное место, выбранное умным предводителем, вынужденных уйти в туманы Тибра, жить на убогом холме Целия и оттуда смотреть на свой потерянный рай. Я еще плохо знаю местность, но убежден, что ни одно поселение древних народов не было расположено хуже, чем Рим, а когда он поглотил все вокруг, римлянам пришлось строить для себя загородные дома на месте разрушенных городов, чтобы жить и наслаждаться жизнью…

28 января 1787 г.

Я непременно хочу сказать здесь несколько слов о двух своих наблюдениях, к которым поневоле ежеминутно приходится

возвращаться, так как они многое разъясняют.

Первое: при виде грандиозного, хотя и полуразрушенного великолепия этого города, при виде любого произведения искусства в нем нас одолевает желание узнать, когда же оно возникло. Винкельман учил нас различать эпохи, распознавать стиль, выработанный народами с течением времени, а потом утраченный. Это очевидно каждому любителю искусства. И все мы признаем справедливость и важность такого подхода.

Но как до такого подхода дойти? Подготовки никакой, само понятие правильно и преподнесено отлично, но частности покрыты непроглядным мраком. Нужно долгие годы упражнять свое зрение, а для того, чтобы иметь право спрашивать, нужно немало учиться. Колебаниям, нерешительности тут места нет, вниманье, обращенное на этот важнейший пункт, пробуждено, и каждый, кто принимает его всерьез, видит, что и в этой сфере суждение невозможно, если оно не обосновано исторически.

Второе относится только к греческому искусству и пытается установить, как поступали эти несравненные художники, чтобы из человеческой фигуры создать круг божественных образов, круг вполне завершенный, в котором не забыт ни один из главных богов, равно как боги младшие и посредствующие. Я предполагаю, что греческие художники действовали по тем же законам, что и природа, на след этих законов я уже напал. Правда, есть тут и еще что-то другое, что я не умею передать.

2 февраля 1787 г.

Не пройдя по Риму в полнолуние, нельзя представить себе, как он прекрасен. Все детали поглощены огромными массами света и тени, только грандиозные, только общие картины открыты нашему взору. Вот уже третьи сутки мы здесь сполна наслаждаемся дивными светлыми ночами. Но, пожалуй, всего прекраснее — Колизей. На ночь его запирают, рядом в маленькой церквушке живет отшельник, и нищие ютятся под развалившимися сводами. Они развели костер на земле, и легкий ветерок сперва погнал дым на арену, так что он закрыл всю нижнюю часть развалин, над которыми мрачно вздымаются стены. Прильнув к решетке, мы смотрели на этот феномен, луна стояла высоко и ярко светила. Мало-помалу дым расползся по стенам, по проломам и отверстиям, в свете луны он походил на туман. Зрелище было незабываемо прекрасно. В таком освещении надо бы увидеть Пантеон, Капитолий, преддверие собора св. Петра, другие большие улицы и площади. Итак, у луны и солнца, как и у человеческого духа, здесь совсем иные задачи, чем в других местах, ибо им предстоят гигантские, но все же

организованные массы.

16 февраля 1787 г.

О благополучном прибытии «Ифигении» я узнал самым неожиданным и приятным образом. На пути в оперу мне подали письмо, написанное хорошо знакомым почерком, на сей раз вдвойне желанным. Оно было запечатано львенком — предварительное доказательство, что пакет прибыл благополучно. Я протиснулся в залу и среди чужой толпы разыскал себе место под большой люстрой. Тут уж я почувствовал себя в такой близости от друзей, что, казалось, впору вскочить и обнять их. Большое вам спасибо за весть о прибытии «Ифигении», хорошо, если в следующем письме для меня найдутся еще и слова одобрения.

Прилагаю указание, как распределить среди моих друзей экземпляры, которых я жду от Гёшена; хотя сейчас мне и безразлично, как отнесется к моим вещам публика, но друзьям мне все же хотелось бы доставить радость.

Плохо, что я слишком многое предпринял. Как подумаю о четырех моих последних томах вкупе, у меня голова начинает кружиться, — надо подержать в руках каждый в отдельности, так, пожалуй, дело скорее пойдет на лад.

Наверно, было бы лучше, если б я, как хотел вначале, опубликовал все эти вещи в отрывках и бодро, с новыми силами взялся за другие темы, которые сейчас живее меня затрагивают. Ну разве не предпочтительнее было бы написать «Ифигению в Дельфах», чем возиться с причудами Тассо? Но я и в «Тассо» слишком много вложил своего, чтобы от него отступиться.

Я сижу в приемной перед камином, и щедрое тепло хорошо разгоревшегося пламени придает мне отваги начать новый листок. Ведь это же прекрасно, что новые твои мысли преодолевают столь дальнее расстояние, более того — что с помощью слов мне можно перенести к вам все меня окружающее. Погода прекраснейшая, дни заметно увеличиваются, цветет лавр и самшит, миндаль тоже. Сегодня утром меня поразило странное зрелище: издали я увидел деревья, похожие на жерди, но сплошь покрытые лиловыми цветами. При ближайшем рассмотрении это оказалось деревом, в наших теплицах известным как иудино дерево, ботаники называют его cercis siliquastrum. Лиловые его цветы, напоминающие мотыльков, растут прямо из ствола. Прошлой зимой эти жерди были обрублены, а сейчас из их коры тысячами лезут красивые ярко окрашенные цветы. Маргаритки, словно муравьи, усыпали лужайки, крокусы и адонис встречаются реже, но тем они здесь прелестнее и декоративнее.

Сколько же радостей и знаний подарит мне край, еще более южный, и какими выводами меня обогатит! Явления природы все равно, что искусство; сколько о них понаписано, но всякий может изобрести для них новые комбинации.

Когда вспоминаешь картины, изображающие Неаполь, даже Сицилию, или слышишь рассказы об этих краях, поражаешься, что в земном раю с такою силой разверзается вулканический ад, который тысячелетиями страшит и повергает в смятение тамошних жителей и приезжих.

Но я гоню от себя надежду увидеть эти контрастные картины, так как хочу успеть до отъезда наилучшим образом использовать пребывание в Риме.

Вот уже две недели я с утра до вечера на ногах, отыскиваю то, что еще не видел. Наиболее значительное осматриваю во второй и в третий раз, и все понемногу упорядочивается. А когда основное поставлено на свои места, находится местечко и для второстепенного. Мои пристрастия становятся чище, определеннее, и лишь теперь моя душа способна возвыситься до спокойного восприятия подлинно великого.

При этом невольно начинаешь завидовать художнику, которому великие замыслы старых мастеров, благодаря копированию и подражанию, становятся ближе и понятнее, чем тому, кто только созерцает и мыслит. Но в конце концов каждый делает лишь то, на что он способен; итак, я подымаю все паруса моего духа, чтобы обогнуть эти берега.

Сегодня камин хорошо разогрелся, превосходные угли я сгреб в кучку, чего у нас обычно не делают, так как редко у кого есть время и охота посвятить несколько часов внимания огню в камине; и сейчас я хочу, воспользовавшись приятным теплом, спасти несколько заметок из моей записной книжки, уже наполовину стершихся.

Второго февраля мы пошли в Сикстинскую капеллу на освящение свечей. У меня сразу стало тяжело на душе, и вместе с друзьями я поспешил оттуда уйти. Ибо мне подумалось: ведь это те самые свечи, что в продолжение трехсот лет коптят божественные картины, и тот самый ладан, что со святым бесстыдством не только обволакивает это солнце искусства, но год за годом затемняет его, чтобы в конце концов погрузить в кромешную тьму.

Мы долго гуляли на свежем воздухе и пришли к монастырю Сент-Онофрио, где в каком-то углу находится могила Тассо. В монастырской библиотеке стоит его бюст. Лицо — из воска, видимо, это маска, снятая с усопшего. Не очень четкая, местами попорченная, она все же больше, чем любое другое его

изображение, передает, какой это был одаренный, тонкий, чувствительный и замкнутый в себе человек.

На сей раз хватит. Надо мне взяться за «Рим», вторую часть достопочтенного Фолькмана, — может, удастся напасть на то, чего я еще не видел. Прежде чем уехать в Неаполь, надо, по крайней мере, снять урожай, а чтобы связать его в снопы, хорошие деньки еще найдутся.

17 февраля.

Погода невероятно, несказанно прекрасна, весь февраль, за исключением четырех дождливых дней, — ясное небо, к полудню даже жарко. В такие дни тянет на свежий воздух, и если до сих пор хотелось заниматься лишь богами и героями, то теперь меня влечет в окрестности Рима, их к тому же красят эти изумительные дни. Иной раз я вспоминаю, как северный живописец тщится извлечь что-то из соломенных крыш и развалин замков, как суетятся художники вокруг какого-нибудь ручейка, кустарника или раскрошившегося камня, стремясь извлечь из них художественный эффект, и я сам кажусь себе чудаком, тем паче что из-за долгой привычки убогие северные представления словно бы прилипают к нам. Но вот уже две недели, как я, набравшись мужества, отправляюсь в путь по горам и долам, взяв с собою лишь маленькие листки бумаги, на которых я, долго не раздумывая, набрасываю небольшие, но истинно южные, истинно римские достопримечательности, и затем уже уповаю, что удастся внести в них свет и тени. Странное дело: можно отчетливо видеть и знать, что хорошо, а что лучше, но только захочешь практически это усвоить, как все словно бы тает у тебя под руками, и мы схватываем не то, что надо, а то, к чему привыкли. Продвинуться вперед можно лишь с помощью регулярного упражнения, но откуда мне, спрашивается, взять время и сосредоточенность. И все же я чувствую, что кое-чего достиг, благодаря страстным двухнедельным усилиям.

Художники охотно меня поучают, так как я быстро все усваиваю, но усваивать еще не значит воплощать. Быстрота понимания — свойство ума, но чтобы создавать как должно, потребно неустанное и непрерывное упражнение.

И все же любитель, как ни слабы его успехи, не должен отступать в испуге. Немногие линии, которые я провожу на бумаге, — часто слишком поспешно, редко правильно, — облегчают мне чувственное представление о виденном, ибо до всеобщего легче возвыситься, когда пристально и остро наблюдаешь вещи.

Нужно только не равняться с художником, а действовать по

собственному разумению. Природа позаботилась о своих детищах, существованию самого ничтожного не может помешать даже существование величайшего. И «маленький человек — человек». Этим и будем руководствоваться.

Я дважды видел море, сначала Адриатическое, потом Средиземное, но только как гость. В Неаполе мы сведем с ним более близкое знакомство. Все чувства мои приходят в движение: почему не раньше, почему не столь дорогой ценою? О тысячах предметов совсем новых и по-новому я мог бы вам сообщить!

17 февраля 1787 г.
Вечером, после утихшего карнавального безумия.

Уезжая, я с неохотой оставляю Морица в одиночестве. Он на правильном пути, но без присмотра сразу же постарается нырнуть в свою излюбленную нору. Я уговорил его написать Гердеру, письмо прилагаю и очень хочу, чтобы на него пришел ответ, который сослужит Морицу добрую и полезную службу. На редкость хороший человек, но достиг бы большего, если бы время от времени ему встречались люди одаренные и способные по-доброму разъяснить ему его состояние. В настоящее время он не может завязать отношений более желательных, чем отношения с Гердером, если тот позволит изредка писать ему. Мориц предпринял сейчас весьма похвальное дело — собирание древностей, которое заслуживает поощрения. Наш друг Гердер вряд ли сможет уместнее применить свои усилия и вряд ли найдет почву, в которой его советы дадут лучшие всходы.

Большой портрет, который Тишбейн пишет с меня, уже выступил за пределы холста, — художник поручил умелому скульптору сделать маленькую модель из глины и, весьма изящно, задрапировать ее плащом. Он усердно пишет с нее, так как необходимо, чтобы до нашего отъезда в Неаполь портрет был доведен до известной законченности, а даже на то, чтобы покрыть красками столь большое полотно, потребуется немало времени.

21 февраля 1787 г.

В перерывах между укладкой вещей хочется кое-что добавить. Завтра мы едем в Неаполь. Я радуюсь новому, которое должно быть несказанно прекрасным, и надеюсь среди тамошней райской природы обрести новое ощущение свободы и желанье здесь, в суровом Риме, продолжить изучение искусства.

Укладываться мне нетрудно, ибо я делаю это с более легким сердцем, чем полгода тому назад, когда я расставался со всем, что мне было дорого и мило. Да, вот уже прошло полгода, и из

четырех месяцев, прожитых в Риме, я не потерял ни одного мгновения, — это, пожалуй, сильно сказано, но отнюдь не преувеличено.

Что «Ифигения» прибыла, мне известно; хорошо бы, у подножия Везувия меня настигла весть, что встретили ее радушно.

Мне очень важно совершить эту поездку с Тишбейном, который одинаково зорко и проникновенно видит как искусство, так и природу. Впрочем, как истые немцы мы все равно не можем отделаться от планов и видов на работу. Уже закуплена превосходная бумага, на ней мы собираемся рисовать, хотя изобилие, красота и блеск того, что будет нас окружать скорее всего ограничит наши добрые намерения.

В одном я преодолел себя, — из всех поэтических работ беру с собой только «Тассо», с ним у меня связаны разумные надежды. Если бы мне знать, что вы скажете об «Ифигении», ваши слова послужили бы мне путеводной нитью, — это ведь схожие работы, только что тема «Тассо», пожалуй, еще ограниченнее и требует еще более детальной разработки. Не знаю, что из этой пьесы получится; уже написанное я должен уничтожить, слишком долго оно лежало, и ни действующие лица, ни экспозиция, ни самый тон не имеют ничего общего с моими нынешними воззрениями.

Я собираю вещи, и мне под руку попались кое-какие из ваших дружеских писем; перечитав их, я наткнулся на упрек: я-де в своих письмах сам себе противоречу. Я, правда, этого не заметил, потому что незамедлительно отсылал написанное, но вполне вероятно, что так оно и есть. Неведомые силы бросают меня из стороны в сторону, и вполне естественно, что я и сам не знаю, где сейчас нахожусь.

Существует рассказ о некоем лодочнике, застигнутом в море ночной бурей; он силился добраться до родного берега. Сынишка, прижавшийся к нему впотьмах, спросил: «Отец, что это там за смешной огонек, я его вижу то над нами, то вдруг под нами?» Отец пообещал завтра все объяснить ему, но вдруг выяснилось, что это свет маяка, мелькавший то тут, то там перед взором сидящего в лодке, качавшейся на вздыбленных волнах.

Я тоже плыву к гавани по бурному морю и, если сумею уследить за огнем маяка, сколько бы он ни менял положение, то под конец все-таки приду в себя на берегу.

Перед отъездом все былые прощанья, а также грядущее последнее прощанье невольно приходят на ум, и сейчас передо мной острее чем когда-либо встает вопрос: не слишком ли много приготовлений мы делаем для того, чтобы жить; так вот и мы с Тишбейном поворачиваемся спиной к своим сокровищам, даже к

нашему малому музею. В нем рядом, для сравнения, уже стоят три Юноны, а мы их покидаем, словно нет у нас ни одной.

ВТОРОЕ ИТАЛЬЯНСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ

НЕАПОЛЬ

Неаполь, 25 февраля 1787 г.

Наконец и сюда добрались благополучно, к тому же при хороших предзнаменованиях. О сегодняшней поездке скажу кратко: из Сент-Агаты выехали с восходом солнца, свирепый северо-восточный ветер все время дул нам в спину. Лишь после полудня он разогнал облака; мы страдали от холода.

Наша дорога опять шла по вулканическим холмам, среди них я как будто различил несколько известковых скал. Наконец мы въехали в долину Капуи, а вскоре и в самый город, где передохнули и пообедали. Под вечер мы увидели красивое плоское поле. Шоссе широко раскинулось меж зеленеющими полями пшеницы, ровной, как ковер, и притом высокой; на других полях рядами рассажены тополя, за их ветви цепляются виноградные лозы. И так до самого Неаполя. Почва, беспримесная и рыхлая, хорошо возделана. Лоза необычно крепкая и рослая, усики ее, как сетка, покачиваются меж тополей.

Везувий, из которого валил дым, все время был по левую руку от нас, я молча радовался, что наконец собственными глазами вижу это чудо. Небо постепенно прояснялось, и напоследок солнце уже вовсю припекало наше тесное жилье на колесах. К Неаполю мы подъезжали при совершенно ясной погоде; теперь мы и вправду очутились в совсем иных краях. Здания с плоскими крышами свидетельствуют, что это уже другая страна света, — внутри они, вероятно, выглядят неуютно. Все высыпали на улицу и греются на солнце, покуда оно светит. Неаполитанец считает себя владыкою рая и северные страны рисует себе весьма мрачно. «Sempre neve, case di legno, gran ignoranza, ma danari assai». Вот их представление о нас. В назидание всем немецким народностям переведу эту характеристику: «Вечный снег, деревянные дома, полное невежество, но денег вволю».

Неаполь — весел, свободен, оживлен, бесчисленное множество людей снует по улицам, король на охоте, королева — в интересном положении, словом — все прекрасно.

Неаполь, 27 февраля 1787 г.

Вчера весь день отдыхал, чтобы избавиться от легкого физического недомогания, зато сегодня наслаждался жизнью, без устали предаваясь созерцанию красоты. Сколько бы ни говорить, ни рассказывать, ни живописать, всего не передашь. Берега, бухты и заливы, Везувий, самый город, его предместья, крепости,

увеселительные заведения! Вечером мы еще пошли в грот Позилипо, как раз когда заходящее солнце освещало его с противоположной стороны. Я простил всех, кто теряет голову в Неаполе, и растроганно вспомнил об отце, который до конца своих дней не забывал того, что я сегодня увидел впервые. И если говорят, будто человек, увидавший привидение, никогда уже не будет счастлив, то о моем отце можно сказать обратное, — никогда он не мог стать несчастным, так как мысленно постоянно видел себя в Неаполе. Я, по своему обыкновению, отмалчиваюсь, только пошире раскрываю глаза, когда все вокруг становится прекрасным до безумия.

Неаполь, 1 марта, вечером.

Трудно мне отчитаться в сегодняшнем дне. Кто не знает, что даже беглое чтение захватывающей книги может решительно воздействовать на всю последующую жизнь человека; первое впечатление таково, что повторное чтение и углубленный разбор вряд ли что к нему добавят позднее. Так было у меня в свое время с «Сакунталой», и разве не то же самое происходит при встрече со значительными людьми? Морская поездка до Поццуоли, небольшие прогулки за город, радующие душу странствия по местам, прекраснейшим на свете. Под ясным небом — самая ненадежная земля. Развалины немыслимого благоденствия, поруганные и мрачные. Кипучие воды; бездны; выдыхающие серу горы шлака, который противится всякой растительной жизни; голые, отталкивающие просторы — и в конце концов снова неизменно пышная вездесущая растительность. Она высится над всем омертвелым, густеет вдоль озер и ручейков и в виде великолепнейшего дубового леса взбирается по стенам старого кратера.

Так вот и мечешься между природой и событиями народной жизни. Хочется подумать, но чувствуешь, что думать ты не способен. А меж тем живые живут и веселятся, — впрочем, мы от них не отстаем. А ведь мы просвещенные люди, мы принадлежим к светскому обществу и соблюдаем его обычаи, хотя уже получали предупреждения от суровой судьбы, и вдобавок мы расположены к созерцанию. От безбрежных просторов земли, моря и неба наш взор возвращается к премилой молодой даме, привыкшей и склонной принимать поклонение.

2 марта.

Я поднимался на Везувий в пасмурную погоду, когда вершина его была окутана облаками. В экипаже я доехал до Резины,

дальше — на муле между виноградниками, еще выше — пешком по лаве семьдесят первого года, уже покрывшейся тонким, но крепким слоем мха; потом шел вдоль лавы. Хижина отшельника осталась слева от меня. Дальше взбирался по целой горе золы, — пренеприятное занятие! Две трети ее вершины тоже затянуты облаками. Наконец мы дошли до уже заполнившегося водою кратера, обнаружили новую лаву, выброшенную вулканом два с половиной месяца тому назад, и рыхлую, пятидневной давности, но уже застывающую. По ней мы поднялись на только что образовавшийся вулканический холм, он дымился со всех сторон. Дым относило ветром, и мне захотелось подойти к кратеру. В дыму мы прошли шагов пятьдесят, и он так сгустился, что я едва видел свои башмаки. Носовой платок, которым я закрыл лицо, ничуть не помог мне, проводник мой куда-то исчез, ноги неуверенно ступали по раскрошившейся лаве; я счел за благо повернуть назад и отложить вожделенное зрелище до более погожего дня, когда и дыму будет меньше. Все-таки я успел убедиться, как же трудно дышать в такой атмосфере.

Вообще-то вулкан был тих и спокоен. Ни огня, ни гула, ни извержения камней, что имело место все последнее время. Я только произвел рекогносцировку, чтобы при лучшей погоде, по всем правилам, пойти на штурм вулкана.

Кусочки лавы, которые я подобрал, в большинстве были мне известны. Но среди них я открыл и некий феномен, по-моему, весьма примечательный, я хочу получше его исследовать и затем посоветоваться со знатоками и коллекционерами. Это сталактитоподобная оболочка вулканического очага, некогда бывшая сводом, ныне он рухнул, и обломок его торчит из старого, заполнившегося водою кратера. Эта твердая, сероватая, сталактитоподобная порода, думается мне, образовалась благодаря сублимации тончайших вулканических испарений, без воздействия влаги и без плавки. А сие наводит на размышления.

Сегодня, третьего марта, небо серое, дует сирокко, — самая подходящая погода для писания писем.

На смешанную публику, прекрасных лошадей и диковинных рыб я уже насмотрелся вдоволь.

О расположении города и его красотах, часто описываемых и прославляемых, ни слова. «Vedi Napoli e poi muori!»— говорят неаполитанцы. «Увидеть Неаполь и умереть!»

Неаполь, 3 марта.

Посылаю вам несколько густо исписанных страниц, — вести о моем пребывании в этом городе. И еще. Конверт с закоптелым уголком от вашего последнего письма, как свидетельство, что оно

и на Везувии было при мне. Только прошу вас, ни во сне, ни наяву не воображайте, что я здесь окружен опасностями; заверяю вас — там, где я брожу, опасности не больше, чем на шоссе к Бельведеру. «Вся земля — господне достояние!» — уместно будет сказать по этому поводу. Я не ищу приключений из любопытства или оригинальничанья, но так как голова моя обычно ясна и я быстро улавливаю свойства того или иного явления, то могу отважиться на большее и больше предпринять, чем другой. Путь в Сицилию ничуть не опасен. На днях в Палермо отбыл фрегат при благоприятном северо-восточном ветре. Обогнув Капри справа, он наверняка дошел туда за тридцать шесть часов. Да и в Сицилии все не так опасно, как это любят изображать на расстоянии.

Землетрясение в Южной Италии здесь не чувствовалось, в Северной на днях пострадал Римини и его окрестности. Удивительно капризное явление природы. Здесь о нем говорят как о ветре, о погоде или, как в Тюрингии, о пожарах.

Я рад, что вы освоились с моей переработкой «Ифигении», но радовался бы еще больше, если бы вы живее почувствовали разницу. Я знаю, что я сделал, и считаю себя вправе говорить об этом, потому что мог бы сделать еще больше. Если радость — наслаждаться хорошим, то еще радостнее воспринимать лучшее, в искусстве же удовлетворяться можно лишь наилучшим.

Неаполь, 5 марта 1787 г.

Я должен, хотя бы кратко, в общих чертах, упомянуть о превосходном человеке, с которым на днях познакомился. Это кавалер Филанджиери, известный своим сочинением о законодательстве. Он принадлежит к тем редкостным молодым людям, которые всегда помнят о счастье человечества и о том, что оно достойно свободы. В повадках Филанджиери узнаешь рыцаря и светского человека, впрочем, все это смягчено тонким нравственным чувством, которое, проникая во все его существо и радуя нам душу, проглядывает во всех его словах и поступках. Он нелицеприятно предан королю и королевству, хотя и не может одобрить того, что там происходит, но, увы, и этого человека гнетет страх перед Иосифом II. Образ деспота, даже только витающий в атмосфере, повергает в трепет благородного человека. Он откровенно сказал мне, чего надо страшиться Неаполю. Любимые темы его разговоров — Монтескье, Беккариа, впрочем, он охотно говорит и о собственных сочинениях, проникнутых тем же духом доброй воли и искреннего молодого стремления ко благу людей. Ему, вероятно, лет тридцать.

Вскоре он ознакомил меня с творениями одного более давнего писателя, в их бездонной глубине новейшие итальянские

друзья закона черпают силу и поучение, звать этого писателя Джованни Баттиста Вико, они ставят его выше Монтескье. При беглом знакомстве с книгой, которую они вручили мне как святыню, я отметил, что в ней содержатся сивилловы прорицания добра и справедливости, которые когда-нибудь свершатся или должны были бы свершиться, основанные на преданиях и житейском опыте. Хорошо, если у народа есть такой прародитель и наставник; для немцев подобным законоучителем со временем станет Гаманн.

Неаполь, 6 марта 1787 г.

Хотя и неохотно, а лишь из дружеской преданности, Тишбейн сегодня отправился вместе со мною на Везувий. Художнику, постоянно имеющему дело с прекрасными формами человека или животного, более того, благодаря своему разуму и вкусу умеющему очеловечить бесформенное, как, например, скалы или пейзаж, такое страшное нагромождение бесформенности, каковая вечно сама себя пожирает и воюет со всяким чувством прекрасного, должно показаться омерзительным.

Мы ехали в двух колясках, так как не надеялись самостоятельно выбраться из городской сутолоки. Возницы то и дело кричали: «Берегись! берегись!» — чтобы ослы, нагруженные вязанками дров или мешками с мусором, встречные экипажи, люди, переносящие тяжести или просто гуляющие, дети, старики поостереглись или посторонились и езда быстрой рысью могла бы продолжаться.

Уже дорога через дальние пригороды и сады напоминала царство Плутона. Дождя давно не было, и вечнозеленая листва покрылась толстым слоем пепельно-серой пыли, равно как крыша, междуэтажные карнизы, — словом, все, что являло собою какую-то плоскость, давно посерело, и только дивное синее небо и жаркое солнце свидетельствовали, что мы находимся в царстве живых.

У подножия крутого откоса нас встретили два проводника, один постарше, другой помоложе, оба — дельные люди. Один потащил в гору меня, другой — Тишбейна. «Потащил», говорю я, ибо такой проводник опоясывается кожаным ремнем, за который цепляется путешественник и, влекомый им да еще опираясь на палку, все же на собственных ногах подымается в гору.

Так мы добрались до площадки, над которой высится конус вулкана, а севернее — обломки Соммы.

Взгляд на местность в западном направлении, как целительное купанье, снимает все боли, все напряжение и усталость. Теперь мы уже шли вокруг вечно дымящейся,

изрыгающей камни и пепел конусообразной вершины. Покуда было довольно пространства, чтобы оставаться от нее на подобающем расстоянии, это было величественное, возвышающее дух зрелище. Сперва из жерла кратера до нас доносился оглушительный грохот, затем высоко в воздух стали взлетать тысячи камней, больших и малых, окутанных тучами пепла. Большая их часть, падала обратно в жерло. Остальные, раскрошившиеся, относило на внешнюю сторону конуса; опускаясь, они производили странный и громкий шорох: сначала шлепались наиболее тяжелые и, подпрыгивая, с глухим грохотаньем скатывались по склону, за ними с дробным стуком следовали те, что поменьше, под конец же сыпался пепел. Все это происходило через равномерные промежутки, которые мы могли определить, спокойно отсчитывал время.

Однако проход между Соммой и вулканом заметно сузился. Вблизи от нас начался камнепад; обход, предпринятый нами, стал достаточно неприятен. Тишбейн на этой высоте изрядно помрачнел, — видимо, чудовищу показалось мало своего уродства, оно хотело стать еще и опасным.

Но в опасности есть своя прелесть, она пробуждает в человеке дух противоречия, желанье пойти ей наперекор; вот я решил, что в промежутке между двумя извержениями можно добраться до кратера и успеть сойти вниз. Я советовался об этом с проводниками под выступающим утесом Соммы, где мы, в безопасности, подкреплялись взятой с собою провизией. Младший решил пуститься вместе со мной в это рискованное предприятие; мы наполнили свои шляпы полотняными и шелковыми платками и стояли наготове с палками в руках, а я к тому же ухватившись за его пояс.

Мелкие камешки еще стучали вокруг, в воздухе еще носился пепел, но юный силач уже тащил меня по раскаленной осыпи. И вот мы стоим у чудовищной пасти, легкий ветерок отогнал от нас дым, но в то же время застлал жерло, так что дым повалил из тысяч щелей. Когда он на мгновение рассеивался, мы видели потрескавшиеся стенки кратера. Вид их не был ни поучительным, ни отрадным, но именно поэтому мы мешкали, стараясь хоть что-нибудь разглядеть. Об отсчете времени мы и думать позабыли, стоя на самом краю бездны. Вдруг снова раздался неистовый грохот, страшный заряд пролетел мимо; мы невольно пригнулись, словно это могло бы спасти нас от низвергающихся масс; уже застучали мелкие камешки, а мы, не подумав, что сейчас снова наступит перерыв, и радуясь, что избегли опасности, подошли к самому кратеру, хотя пепел еще не перестал засыпать наши шляпы и плечи.

Радостно встреченный Тишбейном, который, впрочем, разбранил меня и этим подкрепил мои силы, я смог уделить больше внимания старым и новым лавам. Пожилой проводник знал годы всех извержений. Старая лава была выровнена покрывавшей ее золой; та, что поновее, в особенности стекавшая медленно, выглядела весьма необычно. Сползая, она, некоторое время, тащила за собою застывшие на ее поверхности массы; заторы, разумеется, были неизбежны, но, приведенные в движение раскаленным потоком, эти массы громоздились друг на друга, застывали причудливыми зубцами, более причудливыми, чем сталкивающиеся льдины. В этой расплавленной дикой мешанине попадались крупные глыбы, которые, если сломать их, на свежем изломе удивительно сходствовали с первичной горной породой. Наши проводники утверждали, что это старейшая глубинная лава, которую изредка выбрасывает гора.

На обратном пути в Неаполь меня поразили одноэтажные домишки необычной постройки — без окон, комнаты освещались только выходящей на улицу дверью. С раннего утра и до поздней ночи обитатели сидят перед этой дверью, покуда не заберутся, наконец, в свои логова.

Вечерний город, суетливый, как днем, но в то же время и по-другому, пробудил во мне желанье побыть здесь еще некоторое время, дабы по мере сил запечатлеть на бумаге сию подвижную картину. Но это дастся мне нелегко.

Неаполь, среда, 7 марта 1787 г.

На днях Тишбейн добросовестно показал и при этом многое поведал мне о значительной части неаполитанских сокровищ. Знаток и отличный художник-анималист, он еще раньше много говорил мне о бронзовой конской голове во дворце Коломбрано. Сегодня мы туда отправились. Этот обломок, установленный прямо против въездных ворот в нише возле фонтана, повергает в изумление. Какое же впечатление должна была некогда производить эта голова в сочетании с туловищем! В целом конь был много больше коней на соборе св. Марка, к тому же здесь мы могли рассмотреть голову ближе, подробнее, а следовательно, лучше узнать и оценить ее силу и все характерное в ней. Прекраснейшая лобная кость, раздувающиеся ноздри, настороженные уши и замершая в неподвижности грива! Могучее существо в сильнейшем напряжении.

Мы повернулись, чтобы получше рассмотреть статую женщины в нише над воротами. Еще Винкельман считал ее

изображением танцовщицы, ибо эти артистки умели разнообразнейшими движениями создавать то, что ваятели сберегли для нас в образах окаменелых нимф и богинь. Она легка и прекрасна. Голова была отломана, но потом удачно поставлена на плечи и не повреждена, — право, эта статуя заслуживала бы лучшего места.

Неаполь, пятница, 9 марта 1787 г.

В путешествиях радостно то, что даже самое обыденное, благодаря новизне и неожиданности, приобретает видимость приключения. Воротившись вечером с Капо-ди-Монте, я еще нанес визит Филанджиери. У них на канапе рядом с хозяйкою дома сидела женщина, чья внешность, как мне показалось, не соответствовала доверительно-вольному обхождению и непринужденности, с каковою она себя вела. В легком полосатом шелковом платьице, с мудреной прической, эта маленькая, изящная особа походила на модистку, которая, в заботе о клиентках, поневоле пренебрегает собственной наружностью. Эти девицы так привыкли работать за деньги, что им и в голову не приходит сделать что-нибудь бесплатно для себя. Мое появление не прервало ее болтовни, она продолжала рассказывать разные потешные историйки, случившиеся на днях, вернее, вызванные ее шалостями.

Хозяйка дома, желая и меня приобщить к разговору, сказала несколько слов о красоте Капо-ди-Монте и сокровищах, там имеющихся. Бойкая маленькая особа вскочила с канапе и стоя показалась мне еще милее. Она откланялась, помчалась к дверям и на ходу бросила мне: «Филанджиери на днях у меня обедают, надеюсь и вас увидеть у себя!» По ее уходе я узнал, что она принцесса, состоящая в близком родстве с этим домом. Филанджиери были небогаты и жили скромно. Наверно, и принцесса тоже, подумалось мне, ведь в Неаполе не редкость столь громкие титулы. Я заметил себе имя, день и час, решив непременно в положенное время быть у нее.

Неаполь, понедельник, вечером, 12 марта.

…Чтобы вовремя и не ошибившись домом явиться к удивительной маленькой принцессе, я нанял себе провожатого. Он привел меня к воротам большого дворца. Не предполагая, однако, что жилище ее так роскошно, я еще раз, по слогам, повторил имя принцессы. Провожатый заверил меня, что все правильно. Передо мною был просторный, тихий, чистый и пустой двор, окруженный строениями, не считая самого дворца.

Архитектура уже знакомая мне — веселая, неаполитанская, равно как и окраска зданий. Далее: большой портал и широкая пологая лестница. По обе стороны ее стояли лакеи в дорогих ливреях, они низко кланялись, когда я проходил мимо. Я казался себе султаном из Виландовой волшебной сказки и по его примеру решил быть храбрым. Затем меня встретили слуги более высокого ранга, и, наконец, самый почтенный из них распахнул передо мной двери большой залы, и я увидел еще одно помещение, светлое и безлюдное. Спускаясь и поднимаясь по лестницам, я заметил в одной из боковых галерей стол, сервированный человек на сорок, с роскошью, свойственной этому дворцу. Тут вошел священник, принадлежащий к белому духовенству, не спрашивая, кто я и откуда явился, он вступил со мной в непринужденный разговор, словно мы были давно знакомы.

Двустворчатые двери распахнулись, пропуская пожилого господина, и тотчас захлопнулись. Священник поспешил ему навстречу, я тоже, мы приветствовали его несколькими учтивыми словами, на которые он отвечал отрывистыми, лающими звуками, я ни словечка не разобрал из его готтентотского диалекта. Когда он встал у камина, священник отошел в сторонку, я — за ним. В комнате появился статный бенедиктинец, сопровождаемый другим — помоложе; он также приветствовал хозяина, который и его облаял, после чего тот, в свою очередь, ретировался поближе к нам и к окну. Монахи, одетые элегантнее других, пользуются в обществе немалыми преимуществами, — их одежда свидетельствует о смиренном отречении от мира и в то же время сообщает им особое достоинство. Не принижая себя, они умеют казаться раболепными, когда же опять крепко стоят на ногах, им даже к лицу известное самодовольство, вряд ли приемлемое в любом другом сословии. Таков был и этот бенедиктинец. Я поинтересовался Монте-Кассино, он пригласил меня туда, посулив мне наилучший прием. Тем временем зала заполнилась: появились офицеры, придворные, представители белого духовенства, даже несколько капуцинов. Тщетно оглядывался я в поисках хоть одной дамы, но и за таковой дело не стало. Опять открылись и захлопнулись двустворчатые двери. Вошла старая дама, еще постарше хозяина дома; присутствие хозяйки исполнило меня уверенности, что я забрел в чужой дворец и совершенно неизвестен его обитателям. Лакеи уже начали подавать кушанья, я держался поближе к духовным лицам, чтобы заодно с ними проскользнуть в рай великолепной столовой, как вдруг появился Филанджиери с супругой, прося извинить его за опоздание. Почти что вслед за ними впорхнула маленькая принцесса, с реверансами, поклонами, кивками она пролетела

мимо всех — прямо ко мне. «Как хорошо, — воскликнула она, — что вы сдержали слово! Садитесь за стол рядом со мной, вам достанутся лучшие кусочки. Погодите минутку, я сейчас сыщу себе хорошее место, и сразу же подсаживайтесь ко мне». Получив такое приглашение, я пошел следом за принцессой, пробиравшейся через толпу гостей, и мы наконец уселись, бенедиктинцы — напротив нас, рядом со мною, с другой стороны, — Филанджиери. «Обед сегодня очень хорош, — сказала принцесса, — кушанья, правда, постные, но изысканные, лучшие я вам укажу: сейчас мне только надо подразнить попов. Я их терпеть не могу; нету дня, чтобы они чего-нибудь не сорвали с нас. Лучше бы мы проели с друзьями то, что имеем!» Разнесли суп, бенедиктинец ел с большим достоинством. «Прошу вас, не стесняйтесь, ваше преподобие, — воскликнула она, — может быть, ложка мала? Я велю принести другую, ведь вы, господа, привыкли к большим порциям». Патер возразил, что в ее доме все всегда великолепно и любые гости — не чета ему — остаются довольны.

Пирожок он взял только один, она через стол крикнула: «Возьмите полдюжины! Ведь слоеное тесто, да будет вам известно, легко переваривается!» Понятливый бенедиктинец, пропустив мимо ушей обидную шутку, взял еще один и поблагодарил хозяйку за милостивое вниманье. Другие, более жесткие изделия из теста снова послужили ей поводом для злой выходки, когда патер подцепил на вилку один кусок, а за ним скатился второй. «Возьмите третий, господин патер, — сказала она, — вы, видно, собрались заложить хороший фундамент!» — «Когда в наличии такие превосходные материалы, — возразил тот, — строить не мудрено». И так все время, паузы она использовала лишь затем, чтобы добросовестно положить мне на тарелку кусочек полакомее.

Между тем я вступил в серьезный разговор с моим соседом. Вообще я ни разу не слышал, чтобы Филанджиери обронил хоть одно пустое слово. В этом смысле, впрочем, и во многих других, он напоминает мне нашего друга Георга Шлоссера, лишь с той разницей, что, будучи неаполитанцем и светским человеком, он по натуре мягче и в обхождении вольнее.

Все это время наша озорная хозяйка не оставляла в покое бенедиктинцев; неисчерпаемым поводом для ее кощунственных и даже безнравственных замечаний явились рыбные блюда, которым по случаю поста был придан вид мясных; больше всего ей нравилось подчеркивать страсть святых отцов к мясному и радоваться, что они могут насладиться хоть формой, если уж сущность запрещена законом.

Я запомнил несколько подобных шуток, но мне недостает мужества воспроизвести их здесь. В жизни, да еще когда такие шуточки произносятся прелестным ротиком, это еще куда ни шло, но написанные черным по белому они, пожалуй, мне бы не понравились. У отчаянной дерзости есть то свойство, что, сказанная в твоем присутствии, она может даже прийтись по душе, так как повергает в изумление, но в пересказе звучит оскорбительно и противно.

Когда подали десерт, я опасался, что так будет продолжаться и дальше; но моя соседка, вполне успокоившись, обернулась ко мне и сказала: «Пускай попы спокойно едят пирожное, все равно до смерти задразнить мне никого еще не удалось, даже испортить им аппетит я не сумела. Ну, а теперь давайте хоть разумным словом перекинемся! Что это за разговор у вас был с Филанджиери? Славный человек, но сколько хлопот он себе доставляет. Я не раз ему говорила: «Вот вы издаете новые законы, а нам приходится прилагать новые усилия, чтобы поскорей научиться их обходить; к старым мы уже привыкли». Посмотрите, как хорош Неаполь. Сколько уж лет люди живут в нем беззаботно и весело, а если изредка кого-нибудь и повесят, то все остальное продолжает идти великолепно». Засим она предложила мне поехать в Сорренто, где у нее большое имение, ее дворецкий будет кормить меня вкуснейшей рыбой и отличной молочной телятиной (типдапа). Горный воздух и божественные виды излечат меня от философствования, а потом она приедет сама, и от многочисленных морщин, которыми я слишком рано обзавелся, не останется и следа. Вместе мы заживем превесело.

Неаполь, 13 марта 1787 г.

Сегодня опять пишу несколько слов, дабы одно письмо подгоняло другое. Мне хорошо, но вижу я меньше, чем должен был бы видеть. Этот город располагает к нерадивости и безмятежной жизни, меж тем общая картина его постепенно для меня завершается.

В воскресенье мы были в Помпеях. Много зла свершилось в мире, но мало такого, что доставило бы великую радость потомкам. Я не припомню ничего более интересного. Дома там маленькие, тесные, но внутри изящно расписанные. Примечательны городские ворота с гробницами возле них. Та, в которой покоится жрица, сделана в виде полукруглой скамьи с каменной спинкой, на ней крупными буквами высечена надпись. За спинкой виднеется море и заходящее солнце. Дивный уголок, достойный прекрасного замысла.

Там нам встретилась веселая и шумная компания

неаполитанцев. Народ здесь вообще жизнерадостный и беззаботный. Мы обедали в Torre dell' Annunziata у самого моря. День был прекрасный, вид на Кастелламаре и Сорренто — близкий и восхитительный. Вся компания превосходно себя чувствовала в родных местах, кто-то заметил, что без вида на море и жить-то невозможно. С меня же хватит того, что запечатлелось в моей душе, и я уже не без удовольствия вернусь в горную местность.

По счастью, здесь живет некий добросовестный пейзажист, который умеет прочувствованно отражать в своих работах изобилие всего, что его окружает. Он уже кое-что сделал по моему заказу.

Продукцию Везувия я тоже основательно изучил; любое явление преображается, когда рассматриваешь его в связи с другими. Собственно, мне следовало бы остаток своей жизни посвятить наблюдениям, я бы сумел разобраться в некоторых явлениях, которые приумножили бы людские знания. Гердеру прошу сообщить, что мои ботанические изыскания идут все дальше и дальше. Принцип остается тем же, но, чтобы его воплотить, требуется целая жизнь. Может быть, мне еще удастся наметить основные линии.

Сейчас предвкушаю радость от музея Портичи. Обычно его осматривают сначала, мы же его осмотрели напоследок. Еще не знаю, что со мною будет дальше: все призывает меня в Рим на пасху. Ну, да будь, что будет. Анжелика начала картину на тему моей «Ифигении»; очень удачная мысль, и она прекрасно с нею справится, изобразив момент, когда Орест приходит в себя рядом с сестрою и другом. То, что эти три действующих лица говорят поочередно, она соединила единовременно в группе, а слова их превратила в жесты. Из этого видно, сколь тонко она чувствует и как умеет использовать то, что относится к ее искусству. Этот момент и вправду стержень всей пьесы.

Будьте здоровы и любите меня! Здесь все добры ко мне, хотя и не знают, как ко мне относиться. Тишбейн больше их удовлетворяет, за вечер он им пишет несколько голов в натуральную величину, они же по этому случаю ведут себя как новозеландцы, вдруг увидевшие военный корабль. Вот вам для примера забавная историйка.

Дело в том, что Тишбейн обладает замечательным даром делать пером наброски богов и героев в натуральную величину или и того больше. Он скупо штрихует контур, а потом широкой кистью умело кладет тени, так что голова мигом становится круглой и выпуклой. Те, кто впервые это видел, изумлялись, до чего же легко у него все получается, и от души радовались. На

беду, им до смерти захотелось попробовать самим; они схватили кисть, пририсовали друг другу бороды да еще и лица перепачкали. Разве не сквозит тут первобытное свойство рода человеческого? А ведь это было просвещенное общество в доме хорошего живописца и рисовальщика. Составить себе представление об этих людях невозможно, не видя их.

Казерта, среда, 14 марта.

У Хаккерта в его необыкновенно уютной квартире, предоставленной ему в помещении старого замка. Новый и, уж конечно, грандиозный дворец, наподобие Эскуриала, построен четырехугольником, со множеством дворов, — вид истинно королевский. Расположен он необыкновенно красиво в долине, плодороднее которой, кажется, нет на свете, сады ее тянутся до подножия гор. По акведуку сюда льются целые потоки воды, которая поит дворец и всю округу. Если эту массу воды перебросить на искусственные скалы, образовался бы роскошнейший водопад. Садовые насаждения здесь прекрасны и отлично гармонируют с местностью, которая и сама-то сплошной сад.

Поистине королевский дворец показался мне недостаточно обжитым, а нашему брату гигантские пустынные покои не могут прийтись по душе. Как видно, и королем владеет такое же чувство, ибо в горах строится дом, теснее соседствующий с человеческим жильем и приспособленный для охоты и развлечений.

Казерта, четверг, 15 марта.

Хаккерт живет в старом замке очень домовито, его апартаменты достаточно просторны как для него, так и для гостей. Постоянно занятый рисунком или живописью, он остается общительным, умеет привлекать к себе людей и каждого сделать своим учеником. Меня он тоже покорил терпением к моей беспомощности в его искусстве, в первую очередь настаивая на определенности рисунка и затем уже на его ясности и четкости. Три вида туши стоят наготове, когда Хаккерт работает; он начинает с последнего флакона, потом уже пользуется двумя другими, и вот возникает картина, хотя никому не понятно, откуда она взялась. Если бы так легко было это сделать, как кажется! Мне он со своей обычной решительной откровенностью сказал: «Задатки у вас есть, но применить их вы не умеете. Останьтесь у меня на полтора года, и вы достигнете того, что доставит радость и вам и другим». Разве же это не канонический

текст для проповеди всем дилетантам? Посмотрим, будет ли и мне от нее какой-нибудь прок.

Казерта, 16 марта 1787 г.

Неаполь — рай, каждый здесь живет в своего рода хмельном самозабвении. Со мной происходит то же самое, я, кажется, стал совсем другим человеком. Вчера я подумал: либо ты всю жизнь был сумасшедшим, либо стал им нынче. Ездил отсюда на развалины старой Капуи, осмотрел и ее окрестности.

В этих краях только и начинаешь понимать, что такое вегетация и для чего возделывают поля. Лен уже скоро зацветет, а пшеница вымахала в полторы пяди вышиной. Вокруг Казерты — сплошная равнина, поля обработаны чисто и аккуратно, как цветочные грядки. Все засажено тополями, их обвивают виноградные лозы, но, даже несмотря на затенение, земля здесь родит превосходно. Если бы только весна была дружная! До сих пор, хоть солнце и светило вовсю, но дули холодные ветры, — это, видимо, из-за снега на горах.

Через две недели я должен решить — ехать ли мне в Сицилию. Никогда еще я не пребывал в таких сомнениях. Сегодня случается что-то, говорящее мне «поезжай», завтра обстоятельства как бы советуют от поездки воздержаться. Два духа вступили в борьбу за меня.

По секрету моим подругам, друзья этого знать не должны! Странная участь постигла мою «Ифигению»; все привыкли к ее первоначальной форме, всем запали в память выражения, часто слышанные или читанные. Сейчас все звучит по-другому, и я отлично понимаю, что никто не поблагодарит меня за мои нескончаемые усилия. Такая работа, собственно, никогда не бывает завершена, ее можно только объявить завершенной, когда сделано все, что позволило сделать время и житейские обстоятельства.

И все-таки я не побоюсь произвести подобную же операцию над «Тассо». Лучше мне бросить его в огонь, чем отступиться от своего решения, а раз так, то быть ему диковинной пьесой. Поэтому я доволен, что печатанье моих произведений подвигается медленно. Но, с другой стороны, весьма полезно знать, что издалека тебе угрожает наборщик. Странно, конечно, что самое свободное действие нуждается в известном принуждении, даже требует его.

Неаполь 19 марта.

Здесь достаточно просто бродить по улицам, да еще иметь

глаза, чтобы увидать неподражаемые картины.

На Моло, самом шумном перекрестке города, я видел вчера Пульчинеллу. На дощатом помосте он ссорился с маленькой обезьянкой, выше, на балконе, прехорошенькая девушка выставляла напоказ свои прелести. Рядом с обезьянкиным помостом какой-то доктор-шарлатан навязывал удрученной и легковерной толпе свою панацею от всех болезней. Напиши такую картину Джерард Доу, она восхищала бы не только современников, но и потомков.

Сегодня праздник святого Иосифа, патрона всех пекарей — пекарей в самом примитивном смысле этого слова. Так как из-под черного кипящего масла все время рвется пламя, в их профессии есть что-то от геенны огненной; поэтому еще вчера вечером они изукрасили дома картинами: душа в огне чистилища, страшные суды тлели и пылали, куда ни глянь. Громадные сковороды стояли перед дверями на наспех сложенных плитах. Один подмастерье замешивал тесто, другой придавал ему форму, вытягивал, лепил из него кренделя и бросал их в кипящий жир. Возле сковороды стоял третий, с небольшим вертелом, он доставал готовые крендели и нанизывал на другой вертел, который держал четвертый, тут же предлагая их столпившимся вокруг. Два последних парня были в белокурых, курчавых париках, здесь это значило — ангелы. Еще несколько парней, дополняя группу, подносили вино работающим, пили сами, кричали, выхваляя товар, впрочем, ангелы и повара тоже кричали что есть мочи. Народ сбегался со всех сторон, — в этот вечер все тестяные изделия продаются со скидкой, а часть выручки даже отдается беднякам.

О таких и подобных сценах можно рассказывать без конца; каждый день какая-нибудь новая выдумка, одна сумасброднее другой, а разнообразие платья на гуляющих и прохожих, а толчея на улице Толедо!

Сколько же оригинальных развлечений, когда живешь в непосредственной близости с народом, а народ здесь до того простой и естественный, что ты и сам становишься таким же. Здесь, например, главная маска — Пульчинелла, Арлекин — тот, можно сказать, родом из Бергамо, так же как Ганс Вурст из Тироля. Местный Пульчинелла, спокойный, неторопливый, как будто бы ко всему равнодушный, довольно ленивый, но тем не менее юмористически настроенный слуга. В Неаполе такие слуги встречаются на каждом шагу. Сегодня меня не хуже Пульчинеллы насмешил наш лакей, а я всего-навсего послал его купить бумаги и перьев. Сначала он не понимал, чего я от него хочу, уразумев наконец, он заколебался, — прелесть, что за сцена получилась из

его желанья услужить и его лукавства, такую с успехом можно было бы сыграть на театре.

Неаполь, вторник, 20 марта 1787 г.

Весть о только что начавшемся извержении лавы, которая изливается на Оттаяно, оставаясь невидимой в Неаполе, подстрекнула меня в третий раз подняться на Везувий. Не успел я выскочить из одноколки, как уже показались оба проводника, которые в прошлый раз сопровождали нас на гору. Я ни от одного не хотел отказываться и взял первого по привычке, второго из благодарности, потому что он внушал мне доверие, а обоих вместе — для большего удобства.

Когда мы достигли вершины, один остался стеречь плащи и съестные припасы, младший пошел со мною, и мы храбро зашагали прямо на густой дым, валивший из горы, пониже кратера. Затем мы стали неторопливо спускаться по склону и под ясным небом отчетливо увидали, как из густых клубов дыма изливается лава.

Можно тысячи раз слышать о каком-либо явлении, но своеобразие такового доходит до нас, только когда видишь его воочию. Лава текла узким потоком, футов десять, не шире, но как она текла по сравнительно мягкой и ровной поверхности, выглядело необычно. Сверху и по краям она застывала, отчего образовывался канал, который все время углублялся, лава застывала даже под огненным потоком, который равномерно отбрасывал направо и налево плывущие по нему шлаки, отчего непрерывно росла дамба, и огненный поток устремлялся по ней спокойно, как мельничный ручей. Мы шли вдоль уже изрядно выросшей дамбы, шлаки скатывались по ее стенкам нам под ноги. Через отверстия в канале мы снизу видели, как течет этот поток, а потом наблюдали его сверху.

На ярком солнце раскаленная лава выглядела тусклой, только дым, кстати, не очень густой, подымался в прозрачный воздух. Я очень хотел подойти к тому месту, где лава выбивается из горы; там, по уверениям моего проводника, она тотчас же образует над собою свод и крышу, на которой он не раз стоял. Чтобы увидеть еще и это, мы снова полезли вверх, стремясь сзади подойти к указанной точке. По счастью, сильный порыв ветра все вокруг нее очистил от дыма, — не совсем, конечно, ибо дым валил из тысяч трещин, — и мы стояли сейчас на некоем подобии навеса из взъерошенной, да так и застывшей лавы, далеко выдававшемся вперед, отчего истока лавы нам было не видно.

Мы попытались ступить еще шагов десять — пятнадцать, но почва становилась все более раскаленной; сплошной удушающий

дым затемнял солнце. Ушедший было вперед проводник вскоре вернулся, подхватил меня, и мы выбрались из этого адского варева.

Потешив взор вновь открывшимися нам видами и смягчив глотку вином, мы немного покружили, желая посмотреть, какие еще сюрпризы может уготовить эта адская вершина, вздымающаяся над раем. К отдельным жерлам вулкана, которые с силой выбрасывали не дым, а раскаленный воздух, я вновь присматривался с сугубым вниманием. Стенки этих жерл сверху донизу словно бы обиты сталактитоподобным материалом, свисающим в виде сосков или сосулек. Благодаря неровности кратеров, многие из этих продуктов лёсовой пылевой дымки оказались более или менее доступными нам. С помощью своих палок и крюков, которые мы наскоро смастерили, нам удалось выудить некоторые из них.

Великолепный закат и божественный вечер усладили мне обратную дорогу; но при этом я явственно ощутил, какое странное действие оказывают на людей разительные контрасты. От ужасающего к прекрасному, от прекрасного к ужасающему — это взаимное уничтожение, которое в конце концов делает нас безразличными. Конечно, неаполитанцы были бы совсем другими, если бы не чувствовали себя затиснутыми между богом и сатаной.

Неаполь, 22 марта 1787 г.

Не подстегивай меня, немецкий склад ума, потребность в первую очередь учиться и действовать, а потом уже наслаждаться, я бы должен был подольше пробыть в этой школе веселой и легкой жизни и поприлежнее в ней учиться. Жизнью в Неаполе не нахвалишься, но и приспособиться к ней не так-то легко. Местоположение города, мягкость климата — лучше не сыщешь, но это, пожалуй, и все, что здесь предоставляют чужестранцу.

Конечно, тот, у кого много времени, много денег, да есть еще и житейская сноровка, может здесь жить в свое удовольствие. Так, лорд Гамильтон отлично обосновался в Неаполе и на закате своих дней наслаждается жизнью. Комнаты, которые он обставил в английском вкусе, — прелестны, а из угловой открывается вид, поистине неповторимый. Под окном море, напротив — Капри, справа Позилипо и справа же, чуть поближе, аллея Виллы Реале, слева старинное здание иезуитской коллегии, за ним — берег Сорренто вплоть до мыса Минервы. Такого места, пожалуй, во всей Европе не сыщешь, во всяком случае, в центре большого города.

Гамильтон — человек тонкого всеобъемлющего вкуса; познав все царствия подлунного мира, он, наконец, удовлетворился

прекрасной женщиной — лучшим творением величайшего из художников.

И вот после всего мною виденного, после стократных наслаждений сирены вновь манят меня за море, и, если ветер будет благоприятный, я покину эти края одновременно с письмом, — оно пойдет на север, я двинусь на юг. Дух человеческий не обуздаешь, мне же просто необходимы дальние странствия. Отныне не столько упорное изучение, сколько быстрое проникновение в предмет должно стать моей целью. Так, чтобы мне только прикоснуться к кончику пальца, а уж всю руку я схвачу с помощью слуха и размышления.

Странным образом на днях один из моих друзей напомнил мне о «Вильгельме Мейстере», требуя от меня продолжения романа; под здешним небом это сделать невозможно, но не исключено, что божественный воздух, который я сейчас вдыхаю, скажется на последних книгах «Мейстера». Может быть, стебель моего бытия вытянется в длину, а цветы распустятся пышнее и прекраснее. И, право же, лучше мне не вернуться вовсе, чем вернуться не возродившимся.

Неаполь, пятница, 23 марта 1787 г.

Отношения мои с Книпом определились и укрепились на вполне практических основаниях. Мы вместе ездили в Пестум, там, как, впрочем, и по дороге туда и обратно, он непрестанно рисовал…

С сегодняшнего дня мы решили жить и путешествовать вместе, так, чтобы он не заботился ни о чем, кроме своего рисования. По очереди правя легкой двуколкой, с простодушным и славным малым на запятках, мы катили по прекраснейшей местности, в которую Книп вглядывался радостным взглядом художника. Наконец мы достигли горного ущелья, промчались через него по отлично накатанной дороге мимо суровых скал и очаровательных, поросших лесом гор. Тут уж Книп не мог удержаться и под Ла-Кава стал решительными, характерными штрихами набрасывать на бумаге склоны, подножия и общие очертания величественной горы, что прямо напротив нас четко вырисовывалась на фоне неба. Мы оба радовались этому рисунку, как свидетельству нашего единения.

Подобный же набросок он сделал вечером из окон в Салерно, тем самым избавив меня от необходимости описывать эту чарующую и плодородную местность. Кто отказался бы здесь учиться в прекрасные времена расцвета Салернской высшей школы? Ранним утром мы поехали по луговым, частенько топким дорогам туда, где виднелись две горы необычно красивой формы.

Путь наш лежал через ручьи и реки, нам удавалось заглянуть в кроваво-красные дикие глаза буйволов, похожих на гиппопотамов.

Пейзаж становился все более пустынным и плоским, редкие строения свидетельствовали о скудости сельского хозяйства. Не понимая толком, проезжаем мы мимо отдельных скал или развалин, мы наконец уразумели, что замеченные нами еще издалека продолговатые четырехугольные массивы — руины храмов и памятников некогда пышного города. Книп, еще в дороге сделавший наброски двух известковых кряжей, живо отыскал точку, с которой можно было окинуть взглядом и зарисовать наиболее своеобразное этой отнюдь не живописной местности.

Между тем один из местных жителей, которого я об этом попросил, водил меня по различным зданиям, на первый взгляд вызывавшим только удивление. Я находился в совершенно чуждом мне мире. Ибо столетия, из суровых преобразуясь в изящные, также преобразуют и человека, более того — создают его по своему образу и подобию. В нынешнее время наше зрение, а следовательно, и наша внутренняя сущность привыкли и приспособились к гармонической и стройной архитектуре, так что эти обрубленные конусы тесно сдавленных колонн нам представляются докучными, даже устрашающими. Но я быстро взял себя в руки, вспомнил историю искусства, подумал о духе времени, коему соответствовало такое зодчество, представил себе строгий стиль тогдашнего ваяния и меньше чем через час со всем этим освоился, и даже воздал хвалу гению, позволившему мне воочию увидеть эти так хорошо сохранившиеся останки, о которых по изображениям никакого понятия себе составить нельзя, ибо в архитектоническом разрезе они выглядят более элегантными, в перспективном отдалении более неуклюжими, чем на самом деле. Только бродя вокруг них и среди них, ты сообщаешь им подлинную жизнь; а потом уже чувствуешь ее такой, какую задумал и вложил в них зодчий. В этом созерцании я провел весь день, покуда Книп, не теряя времени, делал точнейшие зарисовки. Как я радовался, что в этом отношении у меня больше не оставалось забот и что у меня будет что вспомнить при наличии стольких зарисовок. К сожалению, нам не представилось возможности здесь переночевать. Мы вернулись в Салерно и на следующее утро своевременно отбыли в Неаполь. Везувий мы увидели с тыльной стороны, высящимся среди плодороднейшей местности; на переднем плане вдоль дороги — гигантские пирамидальные тополя, — ласкающая взгляд картина, которую мы запечатлели, сделав недолгую остановку.

Но вот мы поднялись на небольшую высоту, и величественный вид открылся нам. Неаполь во всей своей красе, ряд домов, на мили растянувшийся по плоскому берегу залива, предгорья, перешейки, скалы, далее острова, за ними море, — прекраснейшее зрелище.

Омерзительное пение, — скорее крик восторга или радостный вой, — стоявшего на запятках паренька меня испугало, прервав течение моих мыслей. Я на него напустился; до сих пор этот добродушнейший малец не слышал от нас ни единого грубого слова.

На несколько мгновений он оцепенел, потом слегка похлопал меня по плечу, просунул между нами правую руку с поднятым указательным пальцем и сказал: «Signor, perdonate! questa è la mia patria!» В переводе это значит: «Простите, синьор! Ведь это моя родина!» Я вторично был повергнут в изумление. И, бедный северянин, почувствовал, как глаза мои увлажнились.

Неаполь, 26 марта 1787 г.

Завтра это письмо из Неаполя отправится к вам. В четверг, двадцать девятого, на корвете, который, по незнанию мореходной науки, в прошлом письме я возвел в ранг фрегата, я отплыву в Палермо. Сомнения, ехать мне туда или не ехать, внесли тревогу в мое пребыванье здесь; теперь, когда я окончательно решился, мне стало легче. Для моего мировоззрения это путешествие целительно, более того — необходимо. Сицилия — предвестник Азии и Африки, шутка ли оказаться в той удивительной точке, где сходятся столько радиусов мировой истории.

С Неаполем я обошелся на его манер; нисколько я там не усердствовал и все-таки многое видел, составил себе общее понятие о стране, ее жителях и условиях жизни в ней. По возвращении мне надо будет кое-что наверстать, увы, только кое-что, ибо еще до двадцать девятого июня я должен снова быть в Риме. Раз уж мне пришлось поступиться святой неделей, я хочу, по крайней мере, отпраздновать там день святого Петра. Поездка в Сицилию не должна очень уж далеко увести меня от моих первоначальных намерений.

Третьего дня у нас была страшная буря с громом, молнией и проливным дождем; сейчас небо опять ясно, дует чудесная трамонтана, если она не утихнет, мы быстро доберемся до Сицилии.

Вчера мой спутник и я осматривали судно, которое повезет нас, и маленькую каюту — наш временный приют. Что такое морское путешествие, я себе даже не представлял. Этот малый переезд, — возможно, мы только обогнем берег, — возбудит мое

воображенье, расширит для меня мир. Капитан — человек молодой, жизнерадостный, парусное наше судно, построенное в Америке, выглядит стройным, изящным и надежным.

Неаполь, 29 марта 1787 г.

Несколько дней погода стояла какая-то неровная, сегодня, в день отплытия, ее иначе как прекрасной не назовешь. Благоприятный ветер, ясное небо, манящее вдаль. Еще раз желаю друзьям в Веймаре и в Готе всего самого лучшего! Да сопровождает меня ваша любовь, ибо она везде и всюду нужна мне. Нынешней ночью я видел себя во сне погруженным в обычные дела. Кажется, что свою ладью с фазанами я могу разгрузить только у вас. Лишь бы она была как следует нагружена.

СИЦИЛИЯ

В море, четверг, 29 марта.

На сей раз, увы, дул не свежий и попутный северо-восточный ветер, как при последнем рейсе пакетбота, но тепловатый юго-западный, всего более мешавший нашему отплытию. Так мы узнали, до какой степени мореплаватель зависит от своенравия погоды и ветра. Утро мы в нетерпении провели то на берегу, то в кофейне. В полдень наконец взошли на корабль и при прекрасной погоде насладились великолепнейшим видом. Корвет стоял на якоре неподалеку от Молю. При ярком солнце в воздухе висела дымка, отчего затененные скалы Сорренто казались на диво синими. Освещенный солнцем, весь в движении, Неаполь отливал всеми цветами радуги. Корвет тронулся в путь лишь на закате, да и то очень медленно, встречный ветер относил нас к Позилипо, к самой его оконечности. Ночь напролет наше судно спокойно двигалось своим курсом. Построенное в Америке, оно было быстроходно, внутри имелись удобные каюты и отдельные койки. Общество на нем собралось благоприличное и веселое: оперные певцы и танцоры, подписавшие ангажемент в Палермо.

Пятница, 30 марта.

На рассвете мы находились между Искьей и Капри, приблизительно в миле от последнего. Солнце величественно всходило за горами Капри и Капо-Минерва. Книп усердно зарисовывал очертания берегов и острова в разных ракурсах; медленное продвижение корвета было ему на руку. Судно продолжало свой путь при слабом, почти неприметном ветре. Часов около четырех Везувий скрылся из наших глаз, когда Искья и Капо-Минерва все еще были видны. Но и они под вечер исчезли. Солнце ушло в море, провожаемое пурпурными облаками и сияющей пурпуром длинной-предлинной полосой. Книп и это явление запечатлел на бумаге. Земли тоже не стало видно, горизонт со всех сторон — сплошная водная окружность, а ночь светлая, и все залито лунным светом.

Но я недолго наслаждался этой красотой, так как вскоре почувствовал приступ морской болезни. Спустившись в свою каюту, я принял горизонтальное положение, не ел ничего, кроме белого хлеба, пил только красное вино и в общем чувствовал себя совсем недурно. Оторванный от внешнего мира, я позволил возобладать над собою внутреннему и, в предвиденье долгого плаванья, чтобы заняться чем-то дельным, задал себе достаточно

серьезный урок. Из всех бумаг я захватил с собою в плаванье только два первых действия «Тассо», написанных ритмической прозой. Оба эти действия, в смысле плана и развития сюжета, сходны с нынешними, но они были созданы десять лет тому назад и хранили следы какой-то вялости, тумана, которые, впрочем, исчезли, когда я, согласно новым своим воззрениям, во главу угла поставил форму и ритм.

Суббота, 31 марта.

Неомраченное солнце вынырнуло из моря. В семь часов мы поравнялись с французским судном, которое на два дня раньше вышло из Неаполя, — настолько лучше был ход нашего, — и все-таки конца плаванью еще не было видно. Некоторым утешением явился для нас остров Устика, к сожалению, открывшийся нам слева, тогда, как и Капри, он должен был бы остаться справа. Около полудня задул встречный ветер, и мы уже не двигались с места. Море волновалось сильней и сильней, на борту почти все лежали в лежку.

Я тоже не изменил своего ставшего уже привычным положения, вся пьеса была мною продумана вдоль и поперек, от начала и до конца. Часы текли, и я бы даже не замечал их, если бы лукавец Книп, на чей аппетит нимало не влияло бурное море, время от времени принося мне хлеб и вино, злорадно не сообщал, как вкусно они ели и как веселый и бывалый молодой капитан сожалел, что я не участвую в трапезе. Переход от шуток и веселья к дурному самочувствию, а затем и к болезни и то, как это выражалось у того или иного из спутников, тоже давали ему богатый материал для озорных рассказов.

В четыре часа пополудни капитан приказал изменить курс. Подняты были большие паруса, и мы прямиком пошли на остров Устику, за которым с великой радостью увидали наконец горы Сицилии. Ветер переменился, теперь мы быстро приближались к цели. Прошли еще мимо нескольких островов. Закат был хмурый, солнце едва светило сквозь туман. Весь вечер дул попутный ветер. Ближе к полуночи море снова стало беспокойным.

Воскресенье, 1 апреля.

В три часа утра разыгрался шторм. Во сне и в полудремоте я продолжал разрабатывать план своей драмы, а на палубе шла суета. Надо было спускать паруса, судно, казалось, парило на высоких волнах. Перед рассветом буря улеглась, небо прояснилось. Теперь остров Устика находился слева от нас. Нам показали огромную черепаху, плывшую вдалеке, в подзорную

трубу мы различили эту живую точку. Около полудня стал ясно виден берег Сицилии с его предгорьями и бухтами, но нас относило ветром, и мы лавировали из стороны в сторону. После полудня мы все-таки приблизились к Сицилии и теперь отчетливо видели западное побережье от Лилибейских предгорий до Капо-Галло при ясном небе и ярко светившем солнце.

Стая дельфинов сопровождала корабль, держась по обе стороны носовой части и обгоняя его. Весело было смотреть, как они то плыли под незамутненными прозрачными волнами, то, выпрыгнув из них, скачками неслись над водой, причем их плавники и бока отливали золотом и зеленью.

Так как попутного ветра все не было, капитану пришлось взять прямой курс на бухту, непосредственно за Капо-Галло. Книп не упустил удобного случая зарисовать, и довольно детально, разнообразные виды. На закате капитан снова направил судно в открытое море и взял курс на северо-восток, чтобы достигнуть широты Палермо. Время от времени я отваживался выходить на палубу, продолжая обдумывать свой замысел, хотя в общем-то уже овладел материалом. Небо, затянутое облаками, и яркий свет луны, отражающийся в море, были незабываемо прекрасны. Художники стараются убедить нас, — вероятно, чтобы усилить впечатление, — будто бы отражение небесных светил в воде всего полнее воздействует на зрителя вблизи, но здесь оно куда ярче было на горизонте, тогда как вблизи от судна кончалось в виде острой пирамиды и утопало в мерцающих волнах. За ночь капитан произвел еще ряд маневров.

Палермо, 3 апреля 1787 г.

…В четверг, двадцать девятого марта, на вечерней заре мы выехали из Неаполя и лишь через четверо суток в три часа дня вошли в гавань Палермо. Прилагаемый маленький дневник в общих чертах поведает вам о наших судьбах. Никогда ни в одно путешествие я не пускался со столь легким сердцем, как в это, и никогда у меня не было так много времени, как в этом удлиненном непрестанным встречным ветром плаванье, хотя первые дни, из-за сильных приступов морской болезни, я вынужден был лежать в тесной своей каютке. Теперь я спокойно переношусь мыслями к вам: ибо если что и имело для меня решающее значение, то именно это путешествие.

Человек, которого не окружало безбрежное море, не имеет понятия ни о мире, ни о своем отношении к нему. Мне как пейзажисту великая и простейшая линия горизонта внушила совсем новые мысли. Во время плаванья мы испытали много интересного и, в малом, разделили участь мореплавателей.

Впрочем, устойчивость и удобство судна были выше всяких похвал. Капитан — бравый и очень приятный. Общество — целая театральная труппа — люди воспитанные, терпимые и обаятельные. Художник, который меня сопровождает, — жизнерадостный, преданный, добродушный человек, рисующий с превеликой тщательностью; он набросал контуры всех островов и побережий, по мере того как они попадали в поле нашего зрения; вы, конечно же, порадуетесь, если я привезу все это с собой. К тому же, чтобы сократить долгие часы пребыванья на корабле, он записал для меня технику работы с водными красками (акварелью), в Италии доведенную до очень высокого уровня, вернее, технику их смешения, для того, чтобы получить тот или иной оттенок, — без знания секрета над этим мне пришлось бы биться до конца своих дней. В Риме я, правда, кое-что слышал об акварели, но бессвязно. Художники усвоили это искусство в Италии, в краях, где я сейчас нахожусь.

Словами не опишешь прозрачную дымку, паривщую над побережьем, когда мы в прекрасный полуденный час подходили к Палермо. Чистота очертаний, мягкость целого, переходы тонов, гармония неба, моря и земли. Тот, кто это видел, всю жизнь не позабудет. Только сейчас я понял Клода Лоррена и надеюсь, что когда-нибудь на севере мне удастся вызвать в душе тени сей счастливой обители. Лишь все мелкое смылось с нее, как смылась с моих представлений о живописи мелкость соломенных крыш. Посмотрим, на что способна сия царица островов!

Как она встретила нас, словами не скажешь; зеленеющей свежестью тутовых деревьев, вечнозелеными олеандрами, живыми изгородями лимонов. Обширные клумбы лютиков и анемонов пестрели в городском саду. Воздух мягкий, теплый, благоуханный, ветер несет легкую прохладу. А тут еще полная луна вышла из-за мыса и осветила море. Такое наслаждение, после того как нас четыре дня и четыре ночи носило по волнам! Простите за то, что я пишу эти каракули, макая тупое перо в раковину с тушью, из которой мой спутник черпает свои наброски. До вас они дойдут как слабый шепот, а между тем для всех, кто любит меня, я готовлю другой памятник моим счастливым часам. Что это будет — не скажу, когда он до вас дойдет, тоже не могу сказать.

Палермо, четверг, 5 апреля 1787 г.

Мы отправились бродить по городу. Архитектура здесь похожа на неаполитанскую, но общественные строения, к примеру, фонтаны, еще более далеки от хорошего вкуса. Здесь дух искусства не упорядочивает работу, как в Риме, только

случайности определяют облик и самое существование творений зодчего. Так фонтан, которым восхищаются все жители острова, вряд ли бы возник, если бы в Сицилии не добывали красивого, пестрого мрамора и скульптор, понаторевший в изображении животного мира, не был бы тогда в фаворе. Нелегкое дело описать этот фонтан. На довольно тесной площади воздвигнуто круглое сооружение, вышиной едва ли не с целый этаж, цоколь, стены и выступы — из нестрого мрамора; в стенах часто-часто пробиты ниши, из которых на длинных шеях высовываются вперемежку беломраморные головы всевозможных животных: лошади, льва, верблюда и слона; трудно догадаться, что за кру́гом этого зверинца находится фонтан, к которому с четырех сторон, через нарочно оставленные отверстия, ведут мраморные ступени, дабы жители Палермо могли брать воду, в изобилии им источаемую.

Нечто похожее происходит и с церквами, которые роскошью превосходят даже великолепные храмы иезуитов, но не преднамеренно и не в силу какого-то принципа, а по чистой случайности, просто потому, что под рукой оказался ремесленник, искусный резчик фигур или гирлянд, позолотчик, лакировщик или мраморщик, который по мере своих способностей и желанья украшал тот или иной уголок церкви — без всякого вкуса и, уж конечно, без какого бы то ни было руководства.

Надо сказать, что такие ремесленники часто выказывали способности к подражанию природе; так, например, головы зверей сработаны очень неплохо. А это всегда вызывает восторг толпы, ибо радость, которую ей дарит искусство, состоит лишь в сравнении копии с оригиналом.

Под вечер у меня завязалось забавное знакомство. Идя по длинной улице, я зашел в одну лавчонку купить кое-какие мелочи. Когда, стоя у прилавка, я разглядывал товар, порыв ветра, довольно умеренный, пронесся вдоль улицы, взметая пыль, засыпавшую все окна и лавки.

«Скажите мне, бога ради, — воскликнул я, — почему ваш город так нечист и почему этой беде нельзя помочь? Ваша улица ни длиной, ни красотой не уступает римскому Корсо. Тротуары на ней из каменных плит, и каждый владелец лавки или мастерской, стараясь содержать свой участок в чистоте, без устали их метет, при этом сметая весь мусор на мостовую, а она с каждым днем становится грязнее и даже при легком ветерке возвращает вам сор, которым вы изукрасили вашу главную улицу. В Неаполе усердные ослики ежедневно свозят мусор в сады и поля, неужто же у вас нельзя придумать чего-либо в этом роде?»

«У нас как заведено, так и остается, — отвечал хозяин, — все, что мы выбрасываем из дому, гниет в одной куче у дверей. Вот поглядите: тут и солома и тростник, кухонные отбросы, словом, любой мусор, все это, ссохшись, возвращается к нам в виде пыли, с которой мы боремся с утра до ночи. Но дело в том, что наши красивые, изящные и прилежные метелки притупляются и в конце концов только увеличивают груды мусора перед домами».

В этой шутке была большая доля правды. Метелочки у них прелестные, сделанные из карликовой пальмы; они, несколько по-другому связанные, могли бы служить веерами, но, увы, очень ломкие, и огрызки их тысячами валяются на улице. На мой повторный вопрос, неужто же нельзя какими-нибудь мерами оборотъ это бедствие, он отвечал, что в народе поговаривают, будто лица, коим надлежит ведать чистотою города, из-за их высокого положения невозможно принудить расходовать по назначению деньги, положенные на благоустройство. К этому присоединяется еще одно странное обстоятельство: страх, что, когда будут убраны все кучи мусора, обнажится плачевное состояние скрытой под ними мостовой и ответ за нечестное использование денег придется держать уже другим членам магистрата. Впрочем, добавил он с препотешным выражением, это все толки людей неблагонамеренных, он же сам скорее придерживается мнения тех, кто утверждает, будто знать стремится сохранить эту эластичную подстилку для своих карет, чтобы с приятностью совершать традиционные вечерние прогулки. Войдя во вкус, он стал вышучивать еще многие полицейские злоупотребления, утешая меня сознанием, что у людей еще хватает юмора смеяться над тем, что неотвратимо.

Палермо, 6 апреля 1787 г.

Святая Розалия, покровительница Палермо, благодаря описанию ее праздника, сделанного Брайданом, прославилась на весь мир, и я думаю, что моим друзьям будет приятно узнать кое-что о том месте, где ее всего более почитают.

Монте-Пеллегрино — огромная груда скал, не столько высоких, сколько раскинувшихся вширь, — находится на северо-западной оконечности Палермского залива. Он так прекрасен, что словами не скажешь; его изображение, впрочем, далекое от совершенства, имеется в «Voyage pittoresque de la Sicile». Скалы же эти — серые, известняковые остатки далеких времен. Они совершенно нагие — ни деревца, ни кустика, только плоские их части кое-где поросли редкой травой да мхом.

В одной из тамошних пещер в начале прошлого столетия нашли останки святой и перенесли их в Палермо. Они спасли

город от свирепствовавшей в нем чумы, и с этого дня Розалия сделалась покровительницей города; в ее честь были воздвигнуты часовни и стали устраиваться блистательные празднества.

Верующие толпами потянулись на Монте-Пеллегрино, для них с огромными затратами была построена дорога, которая, подобно акведуку, покоилась на столбах и арках и шла сверху между двух утесов.

Место поклонения святой — пещера, в которой она некогда укрылась, — куда больше подобает ее смирению, нежели пышные празднества, устраиваемые в память полного отречения святой Розалии от мира. Возможно, что все христианство, которое вот уже восемнадцать столетий зиждет свою власть, свою пышность, торжественные зрелища на нищете своих основателей и ревностных приверженцев, не знает другого святого места, украшенного так простосердечно и так трогательно почитаемого, как это.

Поднявшись на вершину, пилигримы обходят крутой утес, который как бы продолжен монастырем и церковью.

Во внешнем виде церкви нет ни особой привлекательности, ни чего-то многообещающего; дверь вы открываете, многого, собственно, не ожидая, но войдя — замираете в изумлении. Вы попадаете в предхрамие, которое тянется во всю ширину церкви, открытое в сторону главного нефа. Там, как обычно, стоят сосуды со святой водою и несколько исповедален. Неф же представляет собою открытый двор, справа замкнутый обнаженными скалами, слева являющийся продолжением предхрамья. Он вымощен каменными плитами, положенными чуть наклонно для стока воды; более или менее посередине его находится небольшой фонтан.

Сама пещера преобразована в хоры, причем сохранен и ее естественный суровый вид. Туда ведут несколько ступенек: у самого входа стоит аналой с раскрытым служебником, по обе его стороны седалища для клирошан. Свет падает в пещеру со двора и из нефа. В глубине, во мраке, точно посередине, находится главный алтарь.

Как я уже говорил, пещеру оставили без перемен, но со скал капала вода, а священное место должно было оставаться сухим. Это было достигнуто с помощью свинцовых желобов, укрепленных по краям скал и по-разному связанных между собой. Поскольку вверху они широкие, а книзу сужаются и к тому же выкрашены грязновато-зеленой краской, создается впечатление, что пещера изнутри заросла кактусами. Часть воды стекает вбок, часть назад, в большой прозрачный сосуд, откуда верующие черпают ее и пьют от всех недугов.

Так как я пристально все это рассматривал, ко мне подошел священник и спросил, не генуэзец ли я и не желаю ли заказать обедню. Я отвечал, что приехал в Палермо с генуэзцем, который завтра, по случаю праздника, придет сюда. Один из нас всегда должен оставаться дома, поэтому сегодня пришел я, чтобы все хорошенько посмотреть. Он отвечал, что мне предоставляется полная свобода все осматривать и очистить свою душу в молитве. При этом он указал мне на алтарь слева как на святыню наибольшего значения.

Сквозь просветы массивной, отлитой из меди листвы я увидел мерцающие у алтаря лампады и опустился на колени, продолжая смотреть на их колеблющиеся огоньки. За этой оградой имелась еще решетка, сплетенная из тончайшей медной проволоки, так что все, что было за ней, казалось затянутым флером.

Прекрасную женщину увидел я в кротком свете лампад.

Она лежала, как бы в экстазе, с полузакрытыми глазами, уронив голову на правую руку, унизанную кольцами. Я не мог вдосталь на нее наглядеться. Ее одежды из позолоченной жести великолепно воспроизводили золотую ткань. Голова и руки, сделанные из белого мрамора, я не хочу говорить высоким стилем, все же были так естественны и обворожительны, что поневоле верилось, сейчас она вздохнет и пошевелится.

Маленький ангел стоит подле нее с лилией в руках, словно бы навевая на нее прохладу.

Тем временем в пещеру вошли клирошане, расселись по своим стульям и запели вечернюю молитву.

Я сел на скамью насупротив алтаря и несколько минут слушал их пенье; затем снова подошел к алтарю, преклонил колена, пытаясь получше разглядеть прекрасное изображение святой, и предался обворожительной иллюзии этого образа и места.

Пение священнослужителей смолкло в пещере, вода журчала, стекая в сосуд у алтаря, нависшие скалы внутреннего двора и одновременно нефа церкви, казалось, плотно замкнули всю сцену. Великая тишь царила в этой как бы снова вымершей пустыне, великая чистота в дикой пещере, мишура католического, и в первую очередь сицилийского, богослужения, здесь еще более близкая своей первозданной чистоте, иллюзия, которую создавал образ уснувшей прекрасной женщины, чарующая даже для опытного глаза, — словом, я едва заставил себя уйти отсюда и лишь поздней ночью вернулся в Палермо.

Палермо, суббота, 7 апрели 1787 г.

В городском саду возле рейда я проводил в тиши самые радостные часы. Этот сад — удивительнейшее место на свете. Планомерно разбитый, он кажется заколдованным; недавно засаженный — он переносит нас в далекие времена. Зеленые бордюры клумб окружают заморские растения; шпалеры клонящихся лимонников образуют прелестные сводчатые аллеи, ласкают глаз высокие стены олеандров, украшенные тысячами алых, похожих на гвоздики цветов. Неведомые мне деревья, наверно, из более теплых краев, еще лишенные листвы, раскинули причудливые ветви. Скамья, возвышающаяся над ровным пространством, позволяет окинуть взором мудрено переплетающиеся растения и тотчас же влечет его к большим бассейнам; в них грациозно плавают золотые и серебряные рыбки, они то прячутся под поросшими мхом трубами, то собираются в стайки, привлеченные хлебными крошками. Зелень растений — и та непривычна, она либо желтее, либо синее нашей. Самое же несказанное очарованье придает всему плотная дымка, равномерно повсюду распространяющаяся, настолько плотная, что растения или предметы, разделенные лишь несколькими шагами, отличаются друг от друга разве что оттенками голубизны, собственную же свою окраску утрачивают, и все они представляются нашему взору в лучшем случае голубовато-синими.

А какой диковинный вид придавала эта дымка тому, что находилось в отдалении, — кораблям, предгорьям; для глаза художника она была примечательна еще и тем, что позволяла точно различать расстояния, более того, определять их; посему прогулка по возвышенным местам становилась поистине восхитительной. Оттуда уже видишь не природу, а картины, которые искусный художник словно бы покрыл глазурью одного цвета, только что разных оттенков.

Вид этого заколдованного сада глубоко проник в мою душу: волны, чернеющие на северном горизонте, их натиск на извилины бухты, даже своеобразный запах морских испарений — все это оживило в моих чувствах, в моей памяти остров блаженных феакийцев. Я поспешил купить Гомера, перечитал с немалой для себя пользой эту песнь и затем с листа стал читать перевод Книпу, который, право же, заслужил после сегодняшних неустанных трудов хороший отдых за стаканом доброго вина.

Палермо, 8 апреля 1787 г. Пасхальное воскресенье.

Но вот уже рассвет и шумное ликованье по случаю воскресения Христова. Целые ящики петард, ракет, шутих и тому подобного взрываются на папертях, в то время как народ валом

валит в распахнутые двери церквей. Колокольный звон, звуки органа, хоровое пение крестного хода и несущиеся ему навстречу из церкви духовные песнопенья могли и вправду оглушить всякого, кто не привык к столь шумному благочестию.

Едва окончилась заутреня, как два разряженных скорохода вице-короля явились в нашу гостиницу с двоякой целью: во-первых, поздравить всех чужеземных постояльцев с праздником и получить на чай, засим пригласить меня отобедать у вице-короля, что, конечно, должно было несколько увеличить размеры моего дара.

После того как я все утро ходил по церквам, вглядываясь в лица и облик людей из народа, мне пришлось еще поехать в палаццо вице-короля, на другой конец города. Так как я явился рановато, большие залы были еще пусты; ко мне подошел только маленький бойкий человечек, в котором я сразу признал мальтийца.

Узнав, что я немец, он осведомился, не могу ли я рассказать ему что-нибудь об Эрфурте, где он с большой приятностью прожил некоторое время. В ответ на его расспросы о семействе фон Дахероде и о коадъюторе фон Дальберге я сообщил ему достаточно подробные сведения; очень довольный, он стал расспрашивать меня и о других тюрингцах, далее поинтересовался Веймаром. «А как поживает тот человек, который в мое время, сам молодой и жизнерадостный, уже задавал тон в этом городе? Я позабыл его имя, но хватит, вероятно, если я скажу, что он автор «Вертера».

После недолгого молчания, когда я вроде бы обдумывал ответ, я сказал: «Человек, которым вы так любезно интересуетесь, это я!» Отпрянув, в явном изумлении, он воскликнул: «О, сколько же перемен произошло с тех пор!» — «Да, — отвечал я, — между Веймаром и Палермо мне довелось претерпеть различные перемены».

В это мгновение вошел вице-король, сопровождаемый своей свитой. Он держал себя с достойной простотою, как и подобает высоким особам. Однако не мог не улыбнуться, слыша, как мальтиец продолжает выражать изумление по поводу встречи со мной. За обедом вице-король, рядом с которым я сидел, расспрашивал меня о целях моего приезда, заверяя, что прикажет ознакомить меня со всеми достопримечательностями Палермо и всячески, мне содействовать во время путешествия по Сицилии.

Палермо, понедельник, 9 апреля 1787 г.

Сегодня весь день наши мысли были заняты сумасбродством князя Паллагониа, но эти его дурачества были совсем другими,

чем те, о которых мы читали и слышали. Ведь и при величайшем правдолюбии человек, который пытается рассказать другим о каком-нибудь абсурде, оказывается в затруднительном положении: он силится дать понятие о нем, тем самым придавая абсурду определенное значение, тогда как на самом деле абсурд — пустельга с претензией выдать себя за что-то. Тут я должен предпослать еще одно соображение, а именно: ни самое пошлое, ни самое прекрасное не может непосредственно восходить к *одному-единственному* человеку, к *одной-единственной* эпохе, при внимательном отношении и в том и в другом можно проследить родословную.

Пресловутый фонтан в Палермо является одним из предков Паллагониевых неистовств, только что здесь, на родимой почве, все это обрело размеры почти уже чудовищные. Постараюсь проследить, как могло такое возникнуть.

Загородные дворцы в Сицилии стоят обычно посередине имения; подъезжая к ним, едешь мимо возделанных полей, огородов и тому подобных хозяйственных угодий, убеждаясь, что здешние землевладельцы куда более рачительные хозяева, чем северяне, которые на больших участках плодородной земли нередко разбивают парки, стремясь потешить глаз бесполезными насаждениями. Южане — те, напротив, возводят две стены, меж которых гости и едут ко дворцу, не видя, что делается слева и справа. На эту дорогу въезжают через массивные ворота или через большой сводчатый павильон, кончается же она у самого дворца. Но чтобы глаз мог на чем-нибудь отдохнуть, стены эти делаются зубчатыми, а не то кое-где украшаются завитушками или консолями, на которых стоят вазы. Стены оштукатурены, разбиты на поля и покрашены. Дворцовый двор — круг, образуемый одноэтажными домами, где живут челядинцы и работники; четырехугольный дворец возвышается надо всем этим.

Такова традиционная планировка усадеб, вероятно, сохранявшаяся до той поры, когда отец князя построил дворец, проявив хоть и не лучший вкус, но еще сносный. Нынешний же владелец, не пренебрегая основными чертами старого зодчества, дал полнейшую свободу своей тяге к безобразному и пошлому, и, право же, это чрезмерная честь — приписывать ему хоть искорку фантазии.

Итак, мы вступаем в обширный павильон на границе имения и обнаруживаем, что он представляет собою восьмиугольник, непомерно высокий по сравнению с шириной. Четыре чудовищных великана в модных гетрах несут на себе выступ, а на выступе, точно против входа, парит святая Троица.

Дорога к дворцу здесь шире других подобных дорог. Стены

как бы превращены в длиннейший и высокий цоколь, который служит пьедесталом для весьма странных скульптурных групп, в промежутках между ними красуются вазы. Уродство этих групп, грубо высеченных простыми каменотесами, приумножено еще и тем, что они сработаны из рыхлого раковинного туфа, — правда, лучший материал, пожалуй бы, только подчеркнул безобразие форм. Выше я сказал «группы», но это выражение неправильное, в данном случае даже неподобающее, ибо такие сочетания фигур возникли не по замыслу и даже не по произволу скульптора, а чисто случайно — что под руку попалось. На четырехугольных пьедесталах, как правило, высятся по три фигуры, их постамент устроен так, что они, стоя в различных позах, занимают весь четырехугольник. Но всего чаще — это две фигуры, и в таком случае постамент занимает лишь переднюю часть пьедестала; в большинстве случаев это чудовища в зверином или человеческом обличье. Но ведь и другая часть не должна пустовать, следовательно, надо приткнуть еще две статуи: одну средней величины, — это обычно пастух или пастушка, кавалер или дама, а не то пляшущая обезьянка или собака. Но пустое место все еще остается: его заполняют карликами, ибо эти уродцы играют чуть ли не главную роль во всех плоских шутках.

Чтобы дать наиболее полное представление об элементах, из коих слагается сумасбродство князя Паллагониа, приведем следующий перечень. *Люди:* нищие и нищенки, испанцы и испанки, мавры, турки, горбуны, разные калеки и уроды, карлики, музыканты, Пульчинеллы, солдаты в старинных мундирах, боги и богини, мужчины и женщины в старофранцузских нарядах, солдаты с патронташами и в гетрах, мифология с карикатурным гарниром: Ахилл и Хирон с Пульчинеллой. *Животные:* вернее, отдельные части таковых, лошадь с человеческими руками, лошадиная голова на человеческом туловище, уродливые обезьяны, множество драконов и змей, лапы всех видов в самых нелепых сочетаниях с фигурами, двойники, люди, поменявшиеся головами. *Вазы:* всевозможные монстры и завитушки, которые в нижней своей части переходят в резервуар и подставку.

Попробуйте представить себе все эти штуки, изготовленные дюжинами, без толка и без смысла, собранные воедино без разбора и без цели, этих уродов на нескончаемо длинном цоколе — и вам неминуемо почудится, что вас прогоняют сквозь строй шпицрутенами сумасшествия.

Мы приближаемся к дворцу, и полукруглый двор простирает нам навстречу свои объятия…

Увы, в самом дворце, внешний вид которого дозволяет предположить и приличное внутреннее устройство, опять уже

свирепствует горячечная фантазия князя. У стульев неровно спилены ножки, так что сесть на них — нечего и думать, от других предостерегает кастелян, так как под их бархатную обивку упрятаны колючки. Канделябры из китайского фарфора, стоящие по углам, при ближайшем рассмотрении оказываются склеенными из отдельных чаш, чашек, блюдец и тому подобного. Нигде не сыщется уголка без какого-нибудь нелепого чудачества. Даже несравненный вид поверх предгорья, открывающийся на море, испорчен разноцветными стеклами, которые своей неправдоподобной окраской либо замораживают, либо воспламеняют все кругом. И еще я должен упомянуть об одном кабинете: стены в нем обшиты панелями, нарезанными из старых позолоченных рам. Сотни образчиков резьбы, всевозможные оттенки позолоты старинной и совсем недавней, более или менее пропыленной и попорченной — все это, вместе взятое, производит впечатление кучи старого хлама.

Для того чтобы описать дворцовую часовню, понадобилась бы отдельная тетрадь. Здесь мы находим разгадку всего безумия, которое до такой степени могло разрастись только в ханжеской душе. Что здесь сыщется немало карикатур на ложное направление набожности, вы и сами догадаетесь, но о наиболее ярких я хочу рассказать вам. Вот один из примеров: на потолке укреплено довольно большое плоско прибитое резное распятие, натурально раскрашенное, но залакированное и местами позолоченное. В пуп распятого ввинчен крюк, цепь же, с него свисающая, прикреплена к голове коленопреклоненного молящегося; этот человек, парящий в воздухе, раскрашенный и лакированный, как все иконы в данной церкви, видимо, символизирует непрерывный молитвенный экстаз хозяина дворца.

Вообще-то дворец недостроен: большая зала, задуманная и начатая еще отцом князя и украшенная пестро и богато, но без всякой нарочитой безвкусицы, так и осталась недоделанной, поскольку нынешний владелец в своем безграничном безумии не в состоянии довести до конца свои дурачества.

Книпа, который впал в отчаяние, до такой степени этот сумасшедший дом оскорблял его эстетическое чувство, я впервые увидел нетерпеливым; он стал торопить меня, когда я пытался представить себе, из каких элементов составилось все это безобразие, и даже систематизировать их. Добродушный человек, он под конец еще зарисовал одну из скульптурных групп, единственную, которая создавала какое-то подобие искусства. Она изображает полуженщину-полулошадь, сидящую в кресле напротив кавалера с головой грифона, в пышном парике и в

короне, с ногами, обутыми в туфли с пряжками, и играет с ним в карты, — конфигурация, напоминающая герб дома Паллагониа — безумный, но тем не менее примечательный: сатир держит зеркало перед женщиной с лошадиной головой.

Палермо, четверг, 12 апреля 1787 г.

Сегодня вечером сбылось еще одно мое желание, и сбылось весьма своеобразно. Я стоял на тротуаре, у дверей одной из лавок, и перебрасывался шутками с ее хозяином, как вдруг приблизился высокий, хорошо одетый скороход и поспешно протянул мне серебряную тарелку, на которой лежало множество медяков и несколько серебряных монет. Я не понял, что это значит, и пожал плечами, слегка наклонив голову, — движение, как бы говорящее либо: не могу взять в толк, с чем вы ко мне обращаетесь, либо — я не хочу вас слушать. Скороход исчез так же быстро, как появился, и тут я заметил на другой стороне улицы его коллегу за тем же занятием.

«Что все это значит?» — спросил я торговца, который нерешительно, как бы украдкой, указал мне на высокого сухопарого господина в придворном платье, который благопристойно и спокойно шагал по мостовой, скрытой под густым слоем мусора и грязи. Завитой, с напудренными волосами и шляпой под мышкой, в шелковом камзоле, со шпагой на боку, в изящных туфлях с драгоценными пряжками, этот пожилой человек шествовал важно и неторопливо, все взоры были устремлены на него.

«Это князь Паллагониа, — сказал торговец, — время от времени он ходит по городским улицам, собирая деньги на выкуп тех, кто попал в рабство к берберам. Правда, большого дохода уличные сборщики не приносят, но цель их остается в памяти людей, и те, что при жизни были достаточно прижимисты, завещают на благое дело немалые суммы. Князь уже много лет возглавляет это общество, и ему удалось сделать неимоверно много добра».

«Вместо того чтобы творить всевозможные нелепости в своем имении, — воскликнул я, — он бы лучше употребил эти огромные суммы на благо несчастных. Тогда можно было бы сказать: ни один князь на свете не сделал больше добра».

На это торговец отвечал: «Мы же все одинаковы. Щедро тратимся на свои дурачества, а на наши добрые дела предоставляем раскошеливаться другим».

Палермо, 13 августа 1787 г.

Италия без Сицилии оставляет в душе лишь расплывчатый образ: только здесь ключ к целому.

Климат такой, что не нарадуешься. Сейчас период дождей, но они идут с перерывами; сегодня гремит гром, блистают молнии и все вокруг разом зазеленело. На льне местами набухают почки, местами он уже цветет. Глядя вниз, на долины, кажется, что видишь маленькие озера, так прекрасны голубовато-зеленые поля. Сколько же здесь разных прелестей! Мой спутник превосходный человек, настоящий Гоффегут, я же честно продолжаю играть роль Трейфрейнда. Он сделал уже целый ряд отличных зарисовок и еще успеет взять с собой наилучшее. Какая прекрасная перспектива — возвратиться, когда придет время, домой со всеми этими сокровищами!

О еде и питье в Сицилии я еще ничего не сказал, а это тема немаловажная. Овощи здесь — изумительные, в особенности нежнейший салат, по вкусу похожий на молоко; тут начинаешь понимать, почему древние называли его Lactuca. Оливковое масло и вино очень хороши, но могли бы быть еще лучше, если бы их изготовлению уделяли больше внимания. Рыба — самая лучшая и нежная. Последнее время мы ели еще и очень хорошую говядину, хотя вообще-то здешнее мясо особых похвал не заслуживает.

Но хватит об обедах, теперь к окну или на улицу! Преступник получил помилованье по случаю святой недели. Монахи ведут его к бутафорской виселице; там, не всходя на лестницу, он должен сотворить молитву и эту лестницу облобызать, после чего его уводят. Это красивый человек, видимо, принадлежащий к среднему сословию, завитой, весь в белом — белый фрак, белая шляпа в руке, если бы еще украсить его пестрыми лентами, он в обличье пастушка был бы уместен на любом маскараде.

Палермо, 13 и 14 апреля 1787 г.

Итак, на прощанье, мне было суждено странное приключение, о котором я сейчас подробно расскажу вам.

Все время моего пребывания здесь я слышал за табльдотом разговоры о Калиостро, о его происхождении и его участи. Жители Палермо в один голос говорили, что некий Джузеппе Бальзамо, их земляк, из-за разных бесчестных проделок пользовался дурной славой и был изгнан из города. Но вот по поводу того, идентичен ли Бальзамо графу Калиостро, мнения расходились. Некоторые, в свое время видевшие его, утверждали, что не кто другой, как он, изображен на гравюре, у нас достаточно известной и дошедшей до Палермо.

За такими разговорами один из постояльцев сослался на

некоего палермского правоведа, потратившего немало трудов на разъяснение этой истории. Французское министерство иностранных дел поручило ему установить происхождение человека, у которого достало дерзости перед лицом всей Франции, более того — всего мира, рассказывать сущие небылицы во время одного важного и чреватого серьезнейшими последствиями процесса.

Вышеупомянутый правовед, продолжал рассказчик, составил родословную Джузеппе Бальзамо, сопроводил ее объяснительной запиской, а также официально заверенными документами и отправил во Францию, где все это, вероятно, будет предано гласности.

Я сказал, что хотел бы познакомиться с ученым юристом, о котором и до этого разговора слышал много хорошего, и рассказчик пообещал свести меня к нему…

…Свидание состоялось, любезный юрист прочитал нам свою объяснительную записку и, по моей просьбе, дал мне ее с собой на несколько дней; она основывалась на свидетельствах о крещении, брачных контрактах и прочих документах, подобранных с величайшей тщательностью. В общем-то в ней содержались те же самые данные (я в этом убедился, перечитав извлечение, тогда же сделанное мною), которые впоследствии стали известны нам из актов римского процесса, а именно, что Джузеппе Бальзамо родился в начале июня 1743 года в Палермо, что восприемницей его была Винченца Мартелло, в замужестве Калиостро, что в юности он вступил в общину Милосердных братьев, монашеский орден, главным образом посвятивший себя уходу за больными, выказал недюжинные способности к медицине, но был исключен из ордена за неблаговидные поступки, а потом, в Палермо, разыгрывал из себя искателя кладов и чародея.

Не пренебрег он и своим исключительным даром воспроизводить любой почерк (гласит все та же записка). Он подделал, вернее, изготовил, документ, согласно которому возникла тяжба из-за нескольких землевладений. По делу началось следствие, он угодил в тюрьму, бежал, но был указом вытребован в суд. Он поехал через Калабрию в Рим, где женился на дочери поясника. Из Рима воротился в Неаполь под именем маркиза Пеллегрини. Потом рискнул вновь появиться в Палермо, был узнан, вторично брошен в тюрьму и выкарабкался оттуда таким способом, о котором, право же, стоит рассказать поподробнее.

Отпрыск одного из первых княжеских домов Сицилии, сын богатейшего землевладельца, занимавшего видные должности

при неаполитанском дворе, подлинный маркиз Пеллегрини сочетал в себе физическую мощь с необузданным нравом и заносчивостью, которую позволяют себе люди богатые и знатные, но темные по самой своей сути.

Донна Лоренца сумела завлечь его, а самозванный маркиз Пеллегрини таким образом обеспечил себе безопасность. Князь, не скрываясь, оказывал покровительство приезжей чете, но в какую же он впал ярость, когда Джузеппе Бальзамо на основании апелляции стороны, пострадавшей от его обмана, снова очутился в тюрьме! Он пускал в ход любые средства, добиваясь его освобождения, но когда все оказалось тщетным, пригрозил в приемной председателя суда жестоко расправиться с адвокатом противной стороны, если тот не сумеет добиться немедленного освобождения Бальзамо. Адвокат отказался, князь схватил его, избил, потом бросил наземь и стал топтать ногами, он бы обошелся с ним еще жестче, если бы на шум не явился сам председатель суда, приказавший всем немедленно разойтись.

Однако последний, человек слабый и зависимый, не осмелился покарать обидчика; противная сторона и ее поверенный проявили малодушие, и Бальзамо опять оказался на свободе, причем в «Деле» вообще нет отметки ни о его освобождении, ни о том, по чьему приказу и как оно совершилось.

Вскоре он уехал из Палермо и пустился в путешествия, но о них составитель записки ничего, собственно, сообщить не мог.

В конце этого документа остроумно доказывалось, что Калиостро и Бальзамо одно и то же лицо, теза, которую в то время труднее было отстаивать, чем теперь, когда нам досконально известна связь всех событий.

Если бы я в ту пору не имел основания предполагать, что во Франции сия записка уже предана гласности, и более того, что по возвращении я увижу ее напечатанной, я бы, конечно, испросил дозволения снять с нее копию и раньше бы ознакомил моих друзей, а также широкую публику с разными интересными подробностями.

Между тем мы узнали очень многое, больше, чем могло бы содержаться в памятной записке, из источника, откуда обычно проистекают только неверные сведения или ошибки. Кто бы мог подумать, что Рим нежданно-негаданно столь многое сделает для того, чтобы просветить человечество и разоблачить обманщика, как это произошло благодаря опубликованию сего «Извлечения из «Дела»! Конечно, этот труд мог и должен был быть много интереснее, тем не менее он остается ценнейшим документом в руках любого разумного человека, который вынужден был с

огорчением наблюдать, как обманутые, и лишь отчасти обманутые, и, наконец, обманщики, годами с почтением относившиеся к этому человеку и его шарлатанству, были уверены, что близость к нему возвышает их над прочими, и с мнимой высоты своего мракобесия жалели здравомыслящих людей, а не то и презирали их.

Узнав из родословной, что кое-кто из близких ему людей, а именно мать и сестра, еще живы, я сказал автору «Памятной записки», что очень хотел бы повидать родных этого странного человека. Он отвечал, что устроить эту встречу будет нелегко, ибо люди это бедные, но весьма порядочные, живут очень замкнуто, к визитерам не привыкли, и мое появление, с подозрительностью, свойственной итальянцам, могли бы истолковать неправильно. Но он все же пришлет мне своего писца, который бывает у них в доме, кстати сказать, через него-то он и получил сведения и документы, на основании которых ему и удалось составить родословную.

На следующий день писец явился ко мне и высказал некоторые сомнения относительно моего замысла. «До сих пор, — сказал он, — я старался не попадаться им на глаза, так как, чтобы заполучить их брачные контракты, свидетельства о крещении и прочие документы и снять с них официально заверенные копии, мне пришлось прибегнуть к хитроумной уловке. Улучив подходящий момент, я заговорил об освободившейся где-то так называемой «фамильной стипендии», намекнул, что юный Капитуммино вправе на нее рассчитывать, но прежде всего надобно составить родословное древо, чтобы выяснить, может ли мальчик на таковую претендовать. Дальше, конечно, придется весьма энергично вести переговоры, что я и буду делать, если мне обещают за мои труды вознаграждение, приличествующее той сумме, которая будет им причитаться. Добрые люди с радостью на это согласились и вручили мне нужные бумаги. Копии были сняты, генеалогическое древо разработано; с тех пор я не решаюсь показаться им на глаза. Некоторое время тому назад я столкнулся со стариком Капитуммино и в свое оправданье сослался на чрезвычайную медлительность, с каковою здесь вершатся подобные дела».

Так мне сказал писец. Я, однако, не отступался от своего намерения, и после некоторого раздумья мы решили, что, выдав себя за англичанина, я сообщу семейству вести о Калиостро, который, выйдя из Бастилии, сразу же уехал в Лондон.

В условленное время, — было около трех часов пополудни, — мы пустились в путь. Дом стоял в углу переулочка, неподалеку от главной улицы, так называемого Il Cassaro. Мы поднялись по

шаткой лестнице и сразу оказались в кухне. Какая-то женщина среднего роста, крепкая и широкая, но не толстая, мыла кухонную посуду. Одета она была чисто и при нашем появлении завернула один конец передника, чтобы мы не видели его испачканной стороны. Радостно глянув на моего проводника, она сказала: «Синьор Джованни, надеюсь, вы к нам с добрыми вестями? Добились ли вы толку?»

Он отвечал: «В нашем деле мне, увы, еще ничего не удалось добиться, но вот чужестранец, который привез вам привет от вашего брата и может рассказать, как он сейчас живет».

Привет, который я будто бы должен ей передать, не входил в наш предварительный уговор, но так или иначе начало было положено. «Вы знаете моего брата?» — воскликнула она. «Его знает вся Европа», — ответил я. «Войдите, пожалуйста, — сказала она, — я сейчас последую за вами». И мы с писцом вошли в комнату.

Она была так велика и высока, что у нас считалась бы залой, но эта зала, видимо, являлась жилищем всей семьи. Одно-единственное окно освещало огромные выцветшие стены, увешанные почерневшими ликами святых в золоченых рамах. Две широкие кровати без пологов стояли вдоль одной стены, коричневый шкафчик, похожий на письменный стол, — у другой. Рядом с ним — старые стулья с плетеными камышовыми сиденьями и некогда позолоченными спинками. Выложенный кирпичами пол в ряде мест был так вытоптан, что в нем образовались углубления. Впрочем, все выглядело опрятно, и мы приблизились к семейству, собравшемуся у единственного окна.

Покуда мой проводник объяснял сидевшей в углу добродушной старухе Бальзамо причину нашего посещения, из-за ее глухоты многократно и громко повторяя каждое слово, я успел получше разглядеть и комнату, и других членов семьи. Высокая девушка лет шестнадцати стояла у окна, черты ее лица были как бы стерты следами оспы, рядом с нею молодой человек, чье неприятное да еще изуродованное оспой лицо сразу бросилось мне в глаза. В кресле у окна сидела, вернее, лежала больная и какая-то бесформенная особа, казалось, погруженная в спячку.

После того как мой проводник объяснил, кто мы такие, нас заставили сесть. Старуха задала мне ряд вопросов, но я вынужден был попросить перевести их, так как иначе не мог бы ей ответить, ибо недостаточно знал сицилианский диалект.

Меж тем я с удовольствием смотрел на эту старую женщину. Среднего роста, она была хорошо сложена, правильные черты ее лица, не искаженные старостью, дышали покоем, который обычно свойствен людям, лишившимся слуха; голос ее звучал мягко и

приятно.

Я отвечал на ее вопросы, и мои ответы ей тоже переводили.

Медленность такой беседы позволяла мне взвешивать каждое свое слово. Я рассказывал, что ее сын, выпущенный из заточения во Франции, в настоящее время находится в Англии, где его встретили вполне гостеприимно. Радость, вызванная в ней этими вестями, сопровождалась набожными восклицаниями; говорила же она сейчас несколько громче и медленнее, так что я лучше ее понимал.

Немного погодя вошла ее дочь и подсела к моему провожатому, который точно повторил ей все, что я рассказал. Она подвязала чистый передник и аккуратно запрятала волосы под сетку. Чем больше я на нее смотрел, тем разительнее уяснялось мне ее несходство с матерью. Живость и здоровая чувственность проступали в обличье дочери; ей было лет под сорок. В умном и бодром взгляде ее синих глаз не было и следа подозрительности. Сидя она казалась выше ростом, чем поднявшись, при этом в самой ее позе выражалось смиренное достоинство; она склонилась вперед всем корпусом и сложила руки на коленях. Вообще же черты ее лица, скорее туповатые, чем заостренные, напоминали мне портрет ее брата, известный нам по гравюре на меди. Она расспрашивала меня о моем путешествии, о намерениях поближе ознакомиться с Сицилией, уверенная, что я вернусь и вместе с ними буду праздновать день святой Розалии.

Так как в это время старушка снова задала мне несколько вопросов, то, покуда я отвечал ей, дочь вполголоса говорила с моим спутником, но так, что я мог себе позволить осведомиться, о чем, собственно, идет речь. Синьора Капитуммино, отвечал он, говорит, что брат по сей день должен ей четырнадцать унций золота, — при его спешном отъезде из Палермо она выкупила из заклада его вещи. И с тех пор не имела от него ни вестей, ни денег, ни какой-либо поддержки, хотя до нее дошли слухи, что он сейчас очень богат и живет как вельможа. Так вот не возьму ли я на себя труд по возвращении учтиво напомнить ему о долге и исхлопотать для нее поддержку, — словом, не соглашусь ли я взять с собою письмо или хотя бы переслать таковое. Я сказал, что готов к услугам. Она спросила, где я живу и куда ей направить письмо. Мне не хотелось давать свой адрес, и я предложил завтра вечером зайти за ним.

Она не скрыла от меня трудности своего положения — вдова с тремя детьми: одна дочь воспитывается в монастыре, другую я видел, она сейчас дома, сын пошел на урок. Кроме троих детей, на ее иждивении мать, и еще она из чисто христианских

побуждений взяла в дом несчастную больную женщину, чем увеличила свои тяготы; трудясь с утра до ночи, она едва-едва может обеспечить себе и своей семье самое необходимое. Конечно, она знает, что господь воздает человеку за его добрые дела, но все же задыхается под бременем, которое несет уже так долго.

Разговор оживился, когда в него вмешалась молодежь. Беседуя с ними, я услышал, как старуха спрашивает дочь, исповедую ли я их религию, и отметил, что та разумно старается уклониться от ответа, насколько я понял, объясняя матери, что приезжий, видимо, расположен к ним и негоже задавать такие вопросы малознакомому человеку.

Услыхав, что я намереваюсь вскоре покинуть Палермо, они стали настойчиво меня уговаривать снова сюда вернуться, на все лады восхваляя блаженные дни святой Розалии, празднества больше нигде в мире не виданного и не слыханного.

Спутник мой, давно уже стремившийся уйти, жестами дал мне понять, что пора прекратить болтовню. Мы поднялись, и я пообещал завтра под вечер зайти за письмом. Он откровенно радовался, что все сошло так гладко, и мы расстались довольные друг другом.

Нетрудно себе представить, какое впечатление произвела на меня эта бедная, благочестивая и симпатичная семья. Любопытство мое было удовлетворено, но их естественное и достойное поведение возбудило во мне участие, возраставшее по мере того, как я о них думал.

С другой стороны, меня тревожил завтрашний день. Естественно было предположить, что мой неожиданный приход, заставший врасплох всю семью, потом наведет их на некоторые размышления. Из родословной мне было известно, что живы еще многие родичи, и будет вполне понятно, если они созовут родню и друзей, чтобы в их присутствии заставить меня повторить то, что они с таким удивлением выслушали накануне. Свои намерения я осуществил, и мне оставалось только достойно завершить авантюру. Посему назавтра я, сразу же после обеда, один пошел к ним. Мое появление их удивило. Письмо еще не готово, сказали они, а кое-кто из родственников очень хочет со мной познакомиться. Они придут вечером.

Я отвечал, что завтра должен уехать с самого утра, а мне еще необходимо сделать несколько визитов и уложить вещи, поэтому-то я и пришел раньше времени.

Тут как раз появился сын, которого я не застал вчера, ростом и телосложением похожий на сестру. Он принес письмо, которое они хотели передать через меня, написанное, — здесь это очень

принято, — уличным нотариусом. Юноша, выглядевший тихим, печальным и скромным, стал расспрашивать меня о дяде, о его богатстве, его расходах и грустно добавил: почему же он совсем забыл свою семью? «Для нас было бы величайшим счастьем, — сказал он еще, — если бы он приехал сюда и проявил к нам хоть немного участия, но как это, — продолжал юноша, — он не скрыл от вас, что у него есть родня в Палермо? Говорят, он повсюду от нас отрекается и выдает себя за отпрыска знатного рода». На этот вопрос, вызванный оплошностью моего проводника при первом нашем появлении, я отвечал, что даже если у его дядюшки в данное время имеются причины скрывать свое происхождение, то для друзей и близких знакомых он из этого тайны не делает…

Меж тем старуха читала и перечитывала письмо. Заметив, что я собираюсь откланяться, она поднялась и вручила мне сложенный листок. «Скажите моему сыну, — начала она с благородной живостью, я бы даже сказал вдохновенно, — какой счастливой сделала меня весть о нем, которую вы мне принесли! Скажите, что я прижимаю его к своему сердцу вот так, — она развела руки и снова соединила их на груди, — скажите, что я каждый день возношу за него молитвы Спасителю и пресвятой деве, что я благословляю его и его жену и хочу лишь одного — перед смертью увидеть сына, увидеть вот этими глазами, пролившими из-за него столько слез».

Природное изящество итальянского языка благоприятствовало выбору и расстановке этих слов, к тому же сопровождавшихся выразительными жестами, которые придают такую неизъяснимую прелесть итальянской речи.

Я простился с ними не без растроганности. Все они пожимали мне руки, дети проводили меня и, покуда я спускался по лестнице, выскочили на галерейку, которая из кухни вела на улицу, что-то кричали мне вслед, махали руками, просили не забыть их на обратном пути. Они еще стояли на галерее, когда я поворачивал за угол.

Стоит ли говорить, что участливое чувство к этой семье пробудило во мне живейшее желанье быть им полезным, прийти на помощь в их нужде. На сей раз я, однако, злоупотребил их доверием, и вот из-за любопытства северной Европы надежды этих несчастных людей на нежданную помощь обречены были рухнуть вторично.

Первым моим намерением было еще до отъезда возместить те четырнадцать унций золотом, которые задолжал им беглец, и прикрыть свой подарок словами, что я надеюсь получить с него эту сумму. Однако, придя домой, я подсчитал свою наличность, проверил все бумаги и понял, что в стране почти полного

бездорожья расстояния вырастают до бесконечности, и я могу очутиться в весьма затруднительном положении, если попытаюсь своим благодушием исправить недостойный поступок наглеца.

Вечерком я зашел к своему торговцу и спросил: как, по его мнению, будет протекать завтрашний праздник, когда большая процессия растянется на весь город и сам вице-король пешком пойдет за святыней? Ведь даже малый порыв ветра окутает и бога и людей плотными тучами пыли.

Бойкий человечек отвечал, что жители Палермо привыкли уповать на чудо. Сколько уж раз в подобных случаях начинался проливной дождь и смывал грязь с улиц, большей частью наклонных, очищая дорогу процессии. Сегодня тоже надеются на такой оборот событий, тем паче что тучи заволакивают небо и сулят ночной дождь.

Палермо, воскресенье, 15 апреля 1787 г.

Так оно и случилось.

Ночью на город, казалось, обрушились хляби небесные. Утром, едва проснувшись, я ринулся на улицу, стремясь стать свидетелем чуда, и вправду увидел нечто странное. Дождевой поток, зажатый между каменными тротуарами, унес мелкий мусор вниз по наклонной улице к морю и к сточным ямам, которые еще не были им забиты, мусор более крупный ливнем смело с одного места на другое, отчего на мостовой образовались чистые извилистые прогалины. На улицы вышли сотни, а может, и тысячи людей с лопатами, метлами и вилами, чтобы расширить и продолжить чистые полосы, сгребая оставшийся мусор в кучи по обе стороны улицы. Следствием этого было то, что процессия сразу же двинулась по чистой дороге, змеившейся среди болота, так что духовенство в длинных одеждах, а также изящно обутая знать с вице-королем во главе уже шествовали спокойно, не боясь забрызгаться грязью. Мне казалось, что я вижу сынов Израиля, которым рука ангела уготовила сухую тропу среди трясин и топей, и эта притча облагородила для меня пренеприятный вид целой толпы благочестивых и благоприличных людей, празднично одетых и с молитвами на устах шествующих по аллее, образуемой грудами липкой грязи.

Тротуары по-прежнему оставались чистыми, но подальше, в самый город, куда нас именно сегодня повлекло желание посмотреть то, что мы упустили, пробраться было невозможно, хотя и здесь весь мусор был убран и сметен в кучи.

В связи с этим празднеством нам представился случай посетить главную церковь и ознакомиться с ее достопримечательностями, а раз уж мы пустились в путь, то бегло

осмотрели и еще несколько зданий. Большое впечатление на нас произвел хорошо сохранившийся дом в мавританском стиле — небольшой, но с просторными, на редкость гармоническими и пропорциональными комнатами; в северном климате он вряд ли бы оказался пригодным для жилья, в южном — так и манил к отдохновению. Надеюсь, что те, кто сведущ в архитектуре, сделают для нас его чертеж в разрезе.

Вдобавок в каком-то мрачном углу мы обнаружили обломки античных мраморных статуй, но разобрать, что там и к чему, так и не удосужились.

Палермо, понедельник, 16 апреля 1787 г.

Так как мы теперь сами угрожаем себе предстоящим вскоре отъездом из этого рая, то я надеялся еще сегодня найти утеху в прогулке по городскому саду, где собирался прочитать урок, который задал себе, — отрывок из «Одиссеи», а затем в долине, у подножия горы Св. Розалии, хорошенько обдумать дальнейший план «Навзикаи» и решить, возможно ли выявить драматическую сторону этого сюжета. Все это я и проделал если не очень удачно, то, во всяком случае, с большим удовольствием. Я наметил план и не удержался от того, чтобы не набросать и не разработать некоторые места, показавшиеся мне наиболее привлекательными.

Палермо, вторник, 17 апреля 1787 г.

Беда, если человека преследуют и вводят в соблазн самые разные духи! Сегодня поутру, когда я отправился в городской сад с твердым намерением и дальше спокойно заняться воплощением моих поэтических замыслов, меня нагнал другой призрак, в последние дни кравшийся за мной. Множество растений, которые я всегда видел в кадках или горшках, а большую часть года даже за стеклами теплиц, здесь свежо и весело растут под открытым небом и, выполняя истинное свое предназначенье, становятся нам понятнее. Перед лицом стольких новых и обновленных формаций мне вспомнилась старая моя мечта: а вдруг мне удастся в этой пестрой толпе обнаружить прарастение? Должно же оно существовать! Иначе как узнать, что то́ или иное формирование — растение, если все они не сформированы по одному образцу?

Я тщился выяснить, в чем состоят отклонения от общей формы. И всякий раз находил больше сходства, чем различия, а когда я применял здесь свою ботаническую терминологию, это мне вроде бы и удавалось, но практических результатов я не видел; меня это раздражало, ведь вперед я все равно не двигался. Мои благие поэтические намерения рушились, сад Алкиноя исчез,

передо мною открылся сад вселенной. Почему мы, люди новейшего времени, так не сосредоточенны, что заставляет нас ставить себе требования, которые мы не в силах выполнить?

Алькамо, четверг, 19 апреля 1787 г.

Уютная квартира в тихом горном городке привлекла нас, и мы приняли решение провести здесь весь день. Но поговорим сначала о вчерашних событиях. Я и раньше ставил под сомнение оригинальность князя Паллагониа; у него имелись предшественники, и образцы он тоже использовал. По пути в Монреале два чудища сторожат фонтан, а на балюстраде расставлены вазы, словно бы выполненные по заказу князя.

За Монреале, когда хорошая дорога остается позади и путники въезжают в скалистые горы, на хребте их, перегораживая дорогу, лежат огромные выветрившиеся камни, которые я принял было за железняк. Все равнинные места возделаны и более или менее плодородны. Известняк здесь имеет красноватый оттенок, так же как и выветрившаяся земля неподалеку от него. Эта красная глинистая почва тяжела, песка под нею нет, но пшеницу она родит отличную. Встречались нам и старые, очень еще крепкие, хотя и покореженные оливы.

Под сенью продуваемой ветерком галереи, пристроенной к весьма неважной гостинице, мы слегка закусили. Собаки жадно кидались на выбрасываемую нами кожицу колбасы, нищий мальчонка отогнал их и с аппетитом полакомился кожурой от съеденных нами яблок, но его, в свою очередь, прогнал старик-нищий. В своем изодранном балахоне он носился туда и сюда — то ли слуга, то ли кельнер. Я уже и раньше замечал, что если спросишь у хозяина то, чего в заведении нету, он посылает в ближайшую лавчонку первого попавшегося нищего.

Впрочем, как правило, нас избавляет от такой малоприятной обслуги наш великолепный веттурино — он конюх и чичероне, телохранитель и повар, он же еще и закупает продовольствие.

На более высоких горах все еще встречаются оливы, ясень и рожковое дерево. Здесь тоже в обычае трехполье: бобовые, хлеб, пар. Существует даже поговорка: «Навоз — чудодей, святым до него далеко». Виноград здесь дешев.

Алькамо великолепно расположен на возвышенности, довольно далеко от бухты, величие этой местности поразило нас. Высоко вздымающиеся скалы, глубокие долины, при этом — ширь и разнообразие. За Монреале попадаешь в прекрасную двойную долину, посредине пересеченную другим горным кряжем. Мирно зеленеют поля, вдоль широкой дороги как сумасшедший цветет кустарник: кустики чечевицы усыпаны желтыми цветами,

похожими на мотыльков, так что ни единого зеленого листочка не видно, боярышник весь в маленьких букетах, алоэ тянутся ввысь, готовясь зацвести, тут же раскинуты богатые амарантовые ковры клевера, альпийские розочки, гиацинты с еще не раскрывшимися колокольцами, асфодели.

Вода, текущая из Сегесты, приносит сюда не только известняк, но и обломки очень твердого роговика; они темно-синие, красные, желтые и коричневые, самых разнообразных оттенков. В известковых скалах я также обнаружил жилы роговика или красного опала с зальбандом известняка. По дороге в Алькамо встречаются целые холмы такой гальки.

Кальтанисетта, суббота, 28 апреля 1787 г.

Сегодня мы вправе сказать, что получили наконец наглядное представление, чем заслужила Сицилия почетное наименование житницы Италии. После Джирдженти мы уже ехали по плодородной почве. Это небольшие пространства, но мягко сливающиеся воедино холмы и горные хребты сплошь засеяны пшеницей и ячменем, отчего глаз воспринимал их как единое и непрерывное житное поле. Почву, пригодную для этих злаков, так используют и щадят, что нигде не видно ни единого деревца, более того — все поселки и отдельные домики строятся только на вершинах холмов, за рядами тянущихся по ним известковых скал, все равно непригодных для земледелия. В них весь год живут женщины, занятые пряденьем и ткачеством, мужчины же в самую страду поднимаются к ним лишь на субботу и воскресенье, остальное время они проводят внизу, по ночам укрываясь в тростниковых хижинах. Итак, наше желание исполнилось, да еще с таким избытком, что мы готовы были пожелать себе крылатую колесницу Триптолема, чтобы вырваться из скуки этого однообразия.

Мы ехали верхом под жарким солнцем сквозь это буйное плодородие, радуясь, что вскоре окажемся в красиво расположенной и благоустроенной Кальтаничетте, где мы, впрочем, тщетно пытались разыскать сносное пристанище. Мулы там стоят в роскошных сводчатых конюшнях, работники спят на клевере, припасенном для корма, приезжие вынуждены устраиваться кто во что горазд. Прежде чем занять комнату, ее надо хорошенько убрать и вычистить. Стульев или скамеек тут и в помине нет, сидят на низких козлах из крепкого дерева, столы тоже отсутствуют.

Чтобы из козел сделать ножки кровати, приходится идти к столяру и, за известную мзду, брать у него на прокат доски — сколько понадобится. Большой кожаный мешок, которым нас

снабдил Хаккерт, пришелся очень кстати, — мы его набили мелкой соломой.

Но прежде всего необходимо было позаботиться о еде. По дороге сюда мы приобрели курицу, наш веттурино пошел купить рис, соль и разные приправы, но он здесь раньше не бывал, и мы долго недоумевали, где же здесь положено стряпать: на постоялом дворе для этого никаких приспособлений не имелось. Наконец один пожилой человек согласился за умеренную плату предоставить нам свой очаг, дрова, кухонную и столовую посуду, а сам, покуда готовился обед, пошел показывать нам город и в конце концов привел нас на рынок, где, как бы продолжая античный обычай, сидели почтеннейшие жители города, беседуя и ожидая, что и мы примкнем к беседе.

Пришлось нам рассказывать им о Фридрихе Великом, причем они испытывали такой жгучий интерес к этому великому королю, что мы словом не обмолвились о его смерти, боясь, как бы наши хозяева не возненавидели нас за эту недобрую весть.

Катания, среда, 2 мая 1787 г.

И на этом постоялом дворе мы, конечно, чувствовали себя из рук вон плохо. Пища, приготовленная погонщиком мулов, была не из лучших. Правда, курица, сваренная с рисом, презрения не заслуживала, если бы непомерное количество шафрана не сделало ее столь же желтой, сколь и несъедобной. Неудобнейшая из кроватей едва не заставила нас снова достать Хаккертов мешок, об этом мы и поспешили заговорить утром с нашим любезным хозяином. Он очень сожалел, что лишен возможности лучше устроить нас: «Вон видите тот дом, — сказал он, — там хорошо принимают иностранных гостей. Они всегда остаются довольны». Он указал на большой угловой дом; та его сторона, что была обращена к нам, казалось, сулила много хорошего. Мы тотчас туда отправились; нас встретил какой-то юркий человек, отрекомендовавшийся временным слугой в этом доме, и в отсутствие хозяина провел нас в прекрасную комнату по соседству с залой, причем сразу же стал заверять, что нам все это обойдется недорого. Мы, как положено, тотчас же осведомились, сколько нам надо будет платить за комнату, стол, вино, завтрак и прочее. Все оказалось дешево, и мы живо принесли свои скромные пожитки и рассовали их по вместительным золоченым комодам. Книп впервые получил возможность раскрыть папку; он по порядку разложил свои рисунки, а я заметки. Потом, довольные прекрасным помещением, мы из залы вышли на балкон понаслаждаться видом, оттуда открывающимся. Вдосталь им налюбовавшись, мы решили вернуться к своим делам, — и что

же мы увидели! Большого раззолоченного льва над своими головами. Мы взглянули друг на друга в недоумении, улыбнулись и расхохотались. Но с этого мгновения все озирались, не покажется ли еще одно из гомерических чудищ.

Ничего такого мы не увидели, а напротив, обнаружили в зале хорошенькую молодую женщину, которая весело играла с ребенком лет двух, но мгновенно прекратила эти забавы, когда наш то ли хозяин, то ли слуга грубо ее разбранил: пусть убирается, нечего ей здесь делать! «Как это жестоко, что ты меня прогоняешь, — сказала она. — Когда тебя нет дома, я не знаю, как и управиться с ребенком! Я уверена, что господа позволят мне успокоить малыша в твоем присутствии». Супруг, не поддаваясь на ее уговоры, старался ее спровадить, уже в дверях ребенок жалобно вскрикнул, и нам пришлось потребовать от мужа, чтобы его хорошенькая женушка здесь осталась.

После предупреждения англичанина нам уже не стоило труда разгадать эту комедию; мы разыгрывали из себя ничего не подозревающих новичков, он же выставлял напоказ свои пылкие отцовские чувства. Ребенок и вправду льнул к отцу, — похоже, что так называемая мать ущипнула его в дверях.

Итак, она, тоже ничего не подозревая, осталась с нами, когда ее муж ушел относить рекомендательное письмо к домовому священнику князя Бискари. Она продолжала кокетничать с нами, покуда не вернулся муж сообщить нам, что аббат пожалует сюда и ознакомит нас с дальнейшими планами.

Катания, пятница, 4 мая 1787 г.

После обеда явился аббат с каретой, ибо он намеревался показать нам отдаленную часть города. Пока мы рассаживались, возник своеобразный спор о рангах. Войдя в карету первым, я хотел было сесть слева от аббата, однако он, поднявшись на подножку, потребовал, чтобы я пересел и позволил ему сесть слева от меня; я просил его не разводить подобных церемоний. «Простите, — сказал он, — но давайте все же сядем именно так, ведь если я сяду справа, каждый решит, что я еду с вами, тогда как если я сяду слева, всем будет понятно, что это вы едете со мной, со мной, который показывает вам город от имени его светлости».

Против этого возразить было нечего; так мы и сели.

Мы ехали в гору, по улицам, где и по сей день еще оставалась лава, разрушившая в 1669 году большую часть города. Застывший огненный поток здесь использовали как любой другой грунт, на нем были проложены улицы и кое-где даже выстроены дома. Я отколол кусок, без сомнения, некогда жидкой лавы и вспомнил,

как перед моим отъездом из Германии разгорелся спор о вулканическом происхождении базальта. Я откалывал куски еще в нескольких местах, дабы проследить различные изменения, которые претерпела лава.

Если бы местные жители не были патриотами своего края, не пытались бы во имя выгоды или во имя науки собирать все достопримечательности, путешественнику пришлось бы пережить немало напрасных мучений. Еще в Неаполе мне сослужил добрую службу торговец лавою, а здесь — в более высоком смысле — кавалер Джиоэнни. В его богатом, щегольски разложенном собрании я обнаружил лаву с Этны, базальт с ее подножия — преображенная порода, которую не сразу и узнаешь. Все это было любезно нам показано. Более всего я дивился цеолитам с крутых скал, стоящих в море под Иячи.

Когда мы спросили кавалера, как нам добраться до вершины Этны, он заявил, что даже слышать ничего не хочет о столь рискованном предприятии, тем более в это время года. «Вообще, — сказал он, предварительно извинившись, — приезжие слишком уж легко относятся к этому, а нам, живущим по соседству с горою, довольно, если мы за всю жизнь раз-другой улучим момент подняться на вершину. Брайдон, своим описанием впервые пробудивший интерес к огненной вершине, сам никогда на нее не взбирался. Граф Борх ничего читателю об этом не сообщает, однако и он не достиг вершины, то же самое я мог бы сказать о многих.

Сейчас снег еще покрывает почти всю гору донизу, создавая тем самым неодолимое препятствие. Если вы соблаговолите воспользоваться моим советом, то поезжайте завтра, в подходящее время, к подножию Монте-Россо и поднимитесь на вершину; там вы сможете насладиться прекраснейшим видом, а заодно увидите и старую лаву, которая в 1669 году вырвалась из кратера и, к несчастью, залила город. Вид оттуда открывается чудесный и видимость очень хорошая, все остальное лучше узнавать по рассказам».

Катания, суббота, 5 мая 1787 г.

Вняв благому совету, мы рано поутру пустились в путь верхом на мулах и, непрестанно оглядываясь назад, добрались до владений не усмиренной временем лавы. Навстречу нам попадались зубчатые глыбы, огромные камни, между которыми мулы находили случайные тропки. Достигнув значительной высоты, мы сделали привал. Книп с величайшей точностью зарисовывал все, что мы видели перед собою: на первом плане застывшая лава, слева — двойная вершина Монте-Россо, над нами

— леса Николози, из которых выступает заснеженная, слегка курящаяся вершина вулкана. Мы подобрались ближе к Красной горе, а я поднялся к самой вершине; она представляет собою кучу красной вулканической мелочи, пепла и камней. Обойти вокруг жерла не составило бы труда, если бы страшнейшие порывы утреннего ветра не затрудняли каждый шаг; я хотел хоть немного пройти вперед, и мне пришлось снять плащ, но шляпу мою могло вот-вот унести в кратер, а за нею и меня. Дабы прийти в себя и оглядеться, я сел, но и это мало мне помогло: с востока на прелестную местность, простиравшуюся подо мною вплоть до самого моря, надвигалась буря. Перед моими глазами тянулся длинный, от Мессины до Сиракуз, песчаный берег с изгибами и бухтами, абсолютно пустой, лишь изредка на нем виднелись береговые скалы. Когда я, вконец оглушенный, вернулся вниз, оказалось, что Книп, несмотря на бушующие вихри, не терял времени даром и тонкими линиями запечатлел на бумаге то, что я из-за бури едва сумел увидеть, а тем паче — запомнить.

Очутившись снова в пасти «Золотого льва», мы застали там слугу-поденщика, которого утром едва отговорили сопровождать нас. Он похвалил нас за то, что мы не стали подниматься на вершину, но решительно предложил нам на следующее утро морем отправиться к скалам Иячи: это наилучшая прогулка, которую можно придумать в Катании! Надо взять с собою питье и съестные припасы, а заодно какое-нибудь приспособление, дабы разогреть еду. Его жена вызвалась обо всем позаботиться. Далее он пустился в воспоминания о празднестве, устроенном приезжими англичанами, которых, ко всеобщей радости, сопровождала еще и лодка с музыкантами.

Скалы Иячи манили меня, мне не терпелось раздобыть то великолепные цеолиты, что я видал у Джиоэнни. Конечно, можно было без долгих разговоров отказаться от участия этой женщины в прогулке. Но предостерегающий дух англичанина одержал верх, мы махнули рукой на цеолиты, немало хваля себя за такую воздержанность.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

Убедившись в том, что лучшего комментария к «Одиссее», чем все это живое окружение, и быть не может, я разыскал книгу и прочитал ее на свой манер, с живейшим проникновением в судьбы героев. Однако вскоре я ощутил потребность самому взяться за перо, что в первое мгновение показалось мне странным, но затем эта мысль становилась мне все милее и,

наконец, целиком завладела мною. Я ухватился за идею превратить в трагедию историю Навзикаи.

Я и сам бы не мог сказать, что из этого выйдет, но вскоре, не терзаясь сомнениями, составил план. Главный смысл был: показать Навзикаю прекрасной, снискавшей любовь многих девушкой, которая, однако, никому не оказывает предпочтения, отклоняет все домогательства женихов, но, тронутая странным чужеземцем, изменяет своим обычаям и навлекает на себя позор, прежде времени обнаружив свою склонность к нему, отчего создается положение поистине трагическое. Сей простой сюжет я намеревался расцветить разными побочными мотивами, необычностью звучания и в особенности своеобразным колоритом моря и островов.

Первый акт начинается с игры в мяч. Неожиданное знакомство состоялось, и раздумья девушки, не проводить ли ей самой пришельца в город, уже предвестье любви.

Во втором акте был представлен дом Алкиноя, характеры женихов, завершался же он появлением Улисса.

В третьем я показывал человеческую значительность героя и надеялся в рассказе о его приключениях, построенном в разговорной форме, которую абсолютно по-разному воспринимают разные слушатели, добиться художественного, радующего душу эффекта.

Во время рассказа накаляются страсти, и в чередовании действий и противодействий становится ясным живейшее участие Навзикаи в судьбе чужеземца.

В четвертом акте Улисс за сценой доказывает свою доблесть, женщины на сцене говорят о нежных чувствах, о любви и надеждах. Убедившись в успехах чужеземца, Навзикая не в силах более сдерживаться и безнадежно роняет себя в глазах соотечественников. Улисс, лишь отчасти в том виновный, в конце концов объявляет о своем отъезде, и бедняжке ничего другого не остается, как в пятом акте искать смерти.

В этой композиции не было ничего, что я не мог бы почерпнуть из собственного опыта или списать с натуры. Я и сам путешествовал, и самому мне грозила опасность возбудить любовь, которая если и не приведет к трагической развязке, то может оказаться достаточно болезненной, опасной и вредоносной; и сам я вдалеке от родных мест, живописуя для развлечения общества чуждые мне предметы, дорожные приключения, случаи из жизни, рисковал прослыть среди юношей — полубогом, среди людей серьезных — врагом, снискать незаслуженное благоволение и встретить множество непредвиденных затруднений; все это так сроднило меня с моим

планом, с моими намерениями, что я жил мечтами о нем во время моего пребывания в Палермо, да и потом, путешествуя по Сицилии. Я почти не обращал внимания на многие неполадки, ибо на этой сверхклассической почве впал в поэтическое настроение, когда все, что я видел, все, что узнавал, примечал, все, что попадалось мне в пути, я мог воспринять и сберечь в прекраснейшем из сосудов.

Следуя своей похвальной или, напротив, заслуживающей порицания привычке, я ничего из этого не записал или только самую малость, но проработал все до последних деталей в уме, где все так и осталось, вытесненное последующими впечатлениями, и теперь отзывается во мне лишь мимолетным воспоминанием.

Мессина, четверг, 10 мая 1787 г.

Итак, мы прибыли в Мессину и, сообразуясь с незнанием здешних условий, первую ночь решились провести в доме веттурино, дабы наутро оглядеться в поисках жилища получше. Такое решение дало нам возможность сразу же по приезде составить себе представление об ужасающих разрушениях, причиненных городу; ибо добрых четверть часа мы ехали вдоль развалин, покуда не добрались до гостиницы — единственного восстановленного здания в этой части города. Из окон верхнего этажа далеко вокруг видны были только зубчатые обломки стен. За оградой гостиничного двора — ни зверя, ни человека, ночью стояла мертвая тишина. Двери не запирались и не закрывались, для людей здесь все было так же мало приспособлено, как, например, в конюшне, и тем не менее мы спокойно уснули на матраце, который услужливый веттурино ухитрился вытащить из-под хозяина.

Мессина, суббота, 12 мая 1787 г.

Консул среди прочего сказал, что хотя необходимости в этом и нет, но все же желательно, чтобы мы нанесли визит губернатору, чудаковатому старцу, который, руководствуясь своими настроениями и предрассудками, может немало навредить нам или, напротив, очень помочь; консул всегда заслуживал похвалу, если представлял губернатору видных иностранцев, а кроме того, приезжий никогда не знает, не окажется ли губернатор ему так или иначе полезен. В угоду другу я тоже пошел с ним.

Едва переступив порог, мы услышали в доме страшный шум; скороход с гримасою Пульчинеллы шепнул на ухо консулу:

«Плохой день! Опасный час!» Тем не менее мы вошли и застали старика губернатора сидящим за столом у окна, спиною к нам. Перед ним валялись кучи старых пожелтевших писем, от которых он с величайшим терпением отрезал неисписанные листы, тем самым показывая, как он экономен. В продолжение этого мирного занятия он распекал и на чем свет стоит клял весьма почтенного человека, судя по одежде принадлежавшего к Мальтийскому ордену, оборонявшегося хладнокровно и деловито, хотя ему едва удавалось вставить слово. Под брань и вопли он, не теряя самообладания, пытался отвести от себя напраслину, возводимую на него губернатором, очевидно, на основании его многократных въездов и выездов из города без должного разрешения; он ссылался на свои документы и широкие связи в Неаполе. Однако все это ничуть не помогало, губернатор по-прежнему резал старые письма, аккуратно откладывал в сторону чистую бумагу, ни на миг не прерывая брани.

Помимо нас обоих здесь стояло еще человек двенадцать свидетелей этого поединка, и все они явно завидовали нашей близости к двери — месту весьма удобному в случае, если взбешенный губернатор схватит свою клюку и вздумает драться. Лицо консула во время этой сцены заметно вытянулось, а я утешался близостью забавного скорохода, который, стоя за порогом, корчил уморительные рожи, успокаивая меня, когда я изредка оборачивался, — все, мол, это гроша ломаного не стоит.

И верно, отвратительная свара просто сошла на нет, губернатор кончил тем, что хотя ничто не мешает ему взять задержанного под стражу, — пусть себе мечется взаперти, — однако на сей раз ему будет позволено несколько дней пробыть в Мессине, но затем пусть убирается восвояси и никогда не возвращается сюда. С полным спокойствием, нимало не меняясь в лице, мальтийский рыцарь простился, почтительно поклонившись собравшимся, в особенности нам, ибо вынужден был пройти между нами, чтобы добраться до дверей. Губернатор, грозно обернувшийся, чтобы вслед ему бросить еще какое-то ругательство, вдруг заметил нас, тут же взял себя в руки, кивнул консулу, и мы подошли поближе.

Это был человек весьма преклонного возраста, согбенный годами, из-под седых кустистых бровей на нас смотрели черные, глубоко сидящие глаза; он разительно отличался от самого себя несколько минут назад. Он просил меня сесть с ним рядом и, продолжая резать письма, стал расспрашивать о разных разностях, я отвечал ему; под конец он заявил, что, покуда я в городе, он приглашает меня к своему столу. Консул, довольный не меньше моего, а пожалуй, даже больше, ибо ему было ведомо,

какой опасности мы избегли, поспешно спустился вниз, а у меня пропала всякая охота даже близко подходить к этому львиному логову.

Мессина, воскресенье, 13 мая 1787 г.

Хотя мы проснулись при ярком свете солнца, в куда более уютной квартире, все-таки мы находились в злосчастной Мессине. На редкость неприятен был вид так называемой Палаццаты — целого ряда дворцов, расположенных в форме серпа, вдоль которого можно пройти за четверть часа и который как бы замыкает рейд, обозначая его границу. Прежде это были сплошь четырехэтажные каменные здания, теперь же от них остались лишь фасады, кое-где уцелевшие вплоть до верхнего карниза, а кое-где только до третьего, второго или даже первого этажа, так что этот некогда роскошный ряд казался теперь каким-то щербатым и дырявым, ибо почти за всеми окнами была видна лишь синева неба. Внутренние помещения оказались полностью разрушены.

…Вид Мессины ужасен, он наводит на мысль о первобытных временах, когда сиканы и сикулы бросили эту неспокойную землю и начали обживать западный берег Сицилии.

Так провели мы утро, а затем отправились в гостиницу съесть свой незатейливый обед. Мы еще сидели за столом, весьма довольные, когда к нам, едва переводя дух, ворвался слуга консула с сообщением, что губернатор велел разыскивать меня по всему городу, — ведь он пригласил меня разделить с ним трапезу, а я не явился. Консул убедительно просит поскорее пойти туда, невзирая на то, успел ли я пообедать или нет и пропустил ли я назначенный час по забывчивости или намеренно. Тут только до меня дошло, как же я оказался легкомыслен, позабыв о приглашении циклопа на радостях, что в первый раз мне удалось от него ускользнуть. Слуга не дал мне времени на размышления; его доводы были весьма красноречивы и убедительны: консул-де рискует, что этот деспот в приступе ярости и ему напортит, и весь народ перебаламутит.

Я привел в порядок волосы и платье и скрепя сердце бодро зашагал за слугою, взывая к Одиссею, моему патрону, и прося его о заступничестве перед Афиной-Палладой.

Добравшись до львиного логова, я был препровожден веселым скороходом в большую столовую, где за овальным столом в гробовом молчании сидело человек сорок. Место справа от губернатора пустовало, к нему-то меня и подвел скороход. Поклонившись хозяину дома и гостям, я сел рядом с ним, оправдав свое опоздание обширностью города и тем

заблуждением, в которое уже не в впервые вводит меня разница во времени. Он с горящими глазами отвечал, что по приезде в чужую страну следует всякий раз осведомляться о местных обычаях и принимать их во внимание. Я заметил, что всегда стараюсь поступать именно так, однако нахожу, что даже при самых благих намерениях в первые дни в незнакомом городе, не зная местных обычаев, иной раз впадаешь в известные ошибки, кои можно было бы счесть непростительными, если бы не смягчающие обстоятельства — дорожная усталость, рассеянность из-за новых впечатлений, заботы о сносном пристанище и о дальнейшем путешествии.

Он спросил, как долго я собираюсь здесь пробыть. Я отвечал, что хотел бы пробыть как можно дольше, дабы точнейшим исполнением его приказов и распоряжений выразить ему мою признательность за любезный прием. Немного помолчав, он спросил, что я успел повидать в Мессине. Я коротко рассказал ему, как провел утро, какие сделал наблюдения, и присовокупил, что более всего удивили меня чистота и порядок на улицах разрушенного города. И вправду было достойно удивления, как удалось все улицы очистить от развалин, причем весь мусор свалили за разрушенные стены, а камни, наоборот, сложили вдоль домов, освободив тем самым мостовую для пешеходов и экипажей. Посему я мог, не кривя душой, польстить губернатору, заверив его, что все мессинцы с благодарностью признают, что этим благодеянием они обязаны лишь его попечениям. «Признавать-то они признают, — пробурчал он, — а сколько прежде было крику о жестокости, с которой их к этому принуждали, для их же пользы!»

Я заговорил о мудрых намерениях правительства, о высших целях, которые будут поняты и оценены лишь по прошествии времени, и тому подобное. Он спросил, видел ли я иезуитскую церковь, я отвечал отрицательно, тогда он заявил, что отдаст распоряжение показать мне эту церковь со всеми ее достопримечательностями.

В продолжение нашего, прерывавшегося редкими паузами разговора я заметил, что все остальные хранили полное молчание, да и шевелились лишь постольку, поскольку надо было поднести кусок ко рту. Едва убрали со стола и подали кофе, как они уже стояли вдоль стен, точно восковые фигуры. Я подошел к домовому священнику, который должен был показать мне церковь, дабы заранее поблагодарить его за труд; однако он уклонился от разговора, смиренно уверив меня, что приказ его превосходительства для него закон. Тогда я заговорил со стоявшим рядом со мной молодым иностранцем, французом,

который тоже, видимо, чувствовал себя как на угольях, ибо он сразу же словно лишился дара речи и окаменел, подобно всем остальным, среди которых я приметил несколько человек, вчера с тревогою наблюдавших сцену с мальтийцем.

Губернатор удалился, и вскоре священник сказал мне, что нам пора идти. Я последовал за ним, остальные неслышно разбрелись. Он подвел меня к порталу иезуитской церкви; выстроенная в обычном для этого ордена стиле, она роскошно и величественно вздымалась к небесам. Навстречу вышел служитель и пригласил нас войти, но священник удержал меня, сказав, что следует дождаться прибытия губернатора. Вскоре тот приехал, остановился на площади неподалеку от церкви и знаком подозвал нас троих к своей карете. Он велел служителю не только показать мне церковь во всех подробностях, но и обстоятельно рассказать как историю алтарей, так и разных достопримечательностей. Затем пусть отопрет ризницы и порадует мой глаз всем, что там есть диковинного. Я человек, которому он хочет оказать должное уважение, дабы я имел все основания в своем отечестве славить Мессину. «Но не забудьте, — сказал он мне с улыбкой, какую только могло изобразить его лицо, — не забудьте, покуда вы тут, вовремя являться к столу, вам всегда будет оказан хороший прием». Я едва успел почтительнейшим образом ему ответить, и карета тронулась.

С этой минуты священник приободрился, и мы вошли в церковь. Кастелян — как хотелось бы его назвать в этом волшебном дворце, где более не совершаются богослужения — уже приступил к исполнению строжайшего приказа, когда в пустое святилище ворвались консул с Книпом и на радостях, что видят меня, коего уже почитали узником, бросились меня обнимать. Они были насмерть перепуганы, покуда оборотистый скороход, вероятно, щедро поощренный консулом, непрерывно гримасничая, не рассказал им о счастливом завершении всей этой истории, чему оба безмерно обрадовались и быстро меня разыскали, узнав о том, какую честь оказал мне губернатор, дав возможность осмотреть эту церковь.

Меж тем мы стояли перед главным алтарем, любуясь сокровищами старины. Колонны из ляпис-лазури, украшенные позолоченной бронзой, пилястры и филенки во флорентийском стиле, изобилие дивных сицилийских агатов; бронза и позолота, то и дело повторяясь, связывали все в единое целое.

Поразительная контрапунктическая фуга возникла из переплетения рассказов: консула и Книпа — о моих возможных затруднениях и кастеляна — об остатках былой роскоши; причем как первые, так и второй были одержимы предметом своего

рассказа, а я получил двойное удовольствие, ощутив ценность моего избавления и увидев наконец архитектурное применение полезных ископаемых Сицилии, на которые я потратил немало сил.

Точное знание составных частей этой роскоши помогло мне обнаружить, что так называемая ляпис-лазурь этих колонн, собственно, всего лишь известняк, но такого красивого цвета, какого мне еще не доводилось видеть, и к тому же отлично подобранный. Но тем не менее колонны эти весьма примечательны; ведь чтобы выбрать куски столь красивой и ровной окраски, надо было иметь неимоверное количество материала и, кроме того, потратить немало усилий, чтобы разрезать, отшлифовать и отполировать камень. Но разве что-нибудь могло остановить отцов иезуитов?

Консул тем временем не умолкая говорил о том, что мне могло угрожать. То есть: губернатор, недовольный собой ввиду того, что я при первом же своем визите оказался свидетелем его жестокого обхождения с лжемальтийцем, собрался особо меня почтить и выработал определенный план, который из-за моего отсутствия сорвался в самом начале его осуществления. После долгого ожидания сев наконец за стол, деспот уже не в состоянии был скрывать свое нетерпение и неудовольствие, и все собравшиеся со страхом ждали новой сцены либо при моем появлении, либо после обеда.

Тем временем кастелян, снова и снова пытаясь продолжить рассказ, открыл потайные помещения, построенные в прекрасных пропорциях, с подобающим, пожалуй, даже роскошным, убранством; там сохранились еще кое-какие предметы церковной утвари, формой своей и нарядностью гармонирующие с целым.

Никаких благородных металлов я здесь не увидел, так же как и подлинных произведений старых или новых мастеров.

Наша итало-немецкая фуга, — ибо патер и служитель пели на первом из этих языков, а Книп и консул — на втором, — уже близилась к концу, когда к нам примкнул офицер, виденный мною за столом. Он был из свиты губернатора. Это снова могло оказаться небезопасным, тем более что он предложил отвезти меня в гавань, где намеревался показать мне многое, обычно для иностранцев недоступное. Друзья мои переглянулись, но я не дал им себя удержать и один пошел за ним. После нескольких ничего не значащих фраз я заговорил с ним доверительнее и признался, что за столом заметил, как кое-кто из моих молчаливых сотрапезников дружелюбными знаками давали мне понять, что я не одинок среди чужих, что, напротив, я нахожусь среди друзей и даже братьев, а значит, мне не стоит волноваться. Я считаю своим

долгом поблагодарить его и также передать мою благодарность всем друзьям. На это он отвечал, что они тем паче старались меня успокоить, что, зная характер своего патрона, сами не очень-то за меня беспокоились; ибо такие взрывы, как в истории с мальтийским рыцарем, довольно редки, и достойный старец сам себя за них корит, долго следит за собою, некоторое время безмятежно и беспечно выполняет свои обязанности, покуда какая-нибудь неожиданная случайность не спровоцирует новую вспышку. К этому мой храбрый друг присовокупил, что ему и его товарищам больше всего хотелось бы поближе сойтись со мною, а потому они просили бы меня побольше рассказать о себе, для чего представится возможность нынче вечером. Я вежливо отклонил это предложение, прося его простить мне мою причуду: я хотел во время путешествия быть для всех просто человеком, и если я мог в этом качестве снискать доверие и участие, то мне это весьма приятно; завязывать же иные отношения я не могу по целому ряду причин.

Убеждать его я не хотел, ибо не мог же я сказать, что это за причины. Однако мне показалось весьма примечательным, что при этом деспотическом правлении люди вполне благомыслящие столь достойно объединились для защиты как самих себя, так и чужеземцев. Я не утаил от него, что хорошо знаю об их отношениях с другими немецкими путешественниками, и стал распространяться о достохвальных целях, коих можно добиться таким путем, с каждой минутой повергая его во все большее изумление своим доверительным упрямством. Он пытался любыми средствами раскрыть мое инкогнито, что ему не удалось, отчасти потому, что я, ускользнув от одной опасности, не хотел бессмысленно подвергаться другой, отчасти же потому, что я отлично заметил: воззрения этих почтенных островитян так разнятся от моих собственных, что более близкое знакомство со мною не принесет им ни радости, ни утешения.

Вечером я провел еще несколько часов с деятельным и доброжелательным консулом, который разъяснил мне, что же значила сцена с мальтийцем. Это был не авантюрист, но просто охотник до перемены мест. Губернатор, человек знатного рода, почитаемый и ценимый за его серьезность, дельность и большие заслуги, известен своей необузданной жестокостью, бесконечным своеволием и ослиным упрямством. Недоверчивый, как всякий старик и деспот, он подозревает, ничего точно не зная, что при дворе у него завелись враги, и люто ненавидит тех, кто все время ездит взад-вперед, считая таких непосед шпионами. На сей раз ему под руку попался этот красный кафтан, когда он, после долгой паузы, должен был на кого-то излить свою желчь.

Мессина и на море, понедельник, 14 мая 1787 г.

Оба мы проснулись с одинаково отвратительным чувством из-за того, что, взглянув первый раз на пустынную Мессину, мы, горя нетерпением, решились договориться о возвращении с капитаном французского купеческого судна. После благополучного завершения истории с губернатором, при добрых отношениях со здешними храбрецами, которым мне надо было лишь раскрыть свое инкогнито, и после визита к моему банкиру, жившему за городом, в прелестной местности, я мог и в дальнейшем рассчитывать на приятнейшее времяпрепровождение в Мессине. Книп, которого увлекли красивые девушки, больше всего хотел, чтобы не кончался обычно всеми ненавидимый встречный ветер. Между тем положение сложилось не из приятных, — вещи нельзя было распаковывать, ибо нам следовало в любую минуту быть готовыми к отплытию.

Сигнал раздался около полудня, мы поспешили подняться на борт, среди собравшейся на берегу толпы обнаружили нашего милейшего консула, с которым мы простились, горячо его поблагодарив. Протиснулся к нам и желтый скороход, ожидавший вознаграждения за свои веселые выходки. Вместе с деньгами он получил от нас поручение сообщить хозяину о нашем отъезде и просить его извинить мое отсутствие за столом. «Кто уехал, тот прощен!» — крикнул скороход, затем, как-то странно подпрыгнув, исчез.

На корабле все выглядело совсем иначе, нежели на неаполитанском корвете; однако по мере удаления от берега нас все более занимал великолепный вид расположенных полукругом дворцов, крепости и вздымающейся над городом горы. А по другому борту — Калабрия. С юга и с севера глазу открывался широкий пролив, вдоль которого тянулись берега удивительной красоты. Мы не могли налюбоваться всем этим, но тут нам показали, что слева, еще довольно далеко от нас, в воде происходит какое-то движение, а справа, несколько ближе к берегу, высилась скала, — это были Харибда и Сцилла. То обстоятельство, что в природе эти два чуда так далеки друг от друга, а поэт предельно сблизил их, послужило поводом для разговора о поэтических вольностях. Тысячи раз доводилось мне слышать сетования на то, что предметы, знакомые людям по рассказам, в действительности их не удовлетворяют; причина тут неизменно одна: воображение и действительность соотносятся друг с другом как поэзия и проза, — поэзия делает их могучими и устремленными ввысь, проза же распространяет вширь, как бы упрощает их. Ярчайший тому пример — пейзажисты XVI столетия

в сравнении с нашими современниками. Рисунок Иодока Момпера рядом с наброском Книпа сделал бы зримым этот контраст.

Меня вновь охватило пренеприятное ощущение морской болезни, и здесь это состояние не скрашивалось уединением, как во время предыдущего переезда, тем не менее каюта оказалась достаточно просторной для нескольких человек; удобных матрацев тоже хватало. Опять я принял горизонтальное положение, а Книп заботливо подкармливал меня отличным хлебом и красным вином. В этом состоянии все наше сицилийское путешествие представлялось мне в черном свете. По сути, мы ничего не увидели, кроме напрасных усилий рода человеческого устоять против беспощадности природы, лукавых козней времени, против вражды и ненависти друг к другу. Карфагеняне, греки, римляне и другие позднейшие народы строили и разрушали. Селинунт подвергся методическому разрушению; чтобы уничтожить храмы Джирдженти, не хватило и двух тысячелетий, а чтобы стереть с лица земли Катанию и Мессину, достало несколько часов, если не минут. Этим мыслям, вызванным морскою болезнью у человека, которого уже не раз качало на житейских волнах, я не позволил взять верх надо мною.

Понедельник, 14 мая 1787 г.

Уже близился вечер, но, вопреки нашим желаниям, мы никак не могли войти в Неаполитанский залив. Нас продолжало относить к западу, и корабль, приближаясь к острову Капри, все более удалялся от мыса Минервы. Всех охватили нетерпение и досада, лишь мы с Книпом, смотревшие на мир глазами художников, могли быть этим довольны, ибо наслаждались закатом, прекраснейшим за все время нашей поездки. Сверкая всеми красками, открывался нашему взору мыс Минервы и подступающие к нему горы, меж тем как скалы, нисходящие к югу, уже окрасились в синеватые тона. Весь берег от мыса до Сорренто был залит светом. Мы видели Везувий с чудовищным облаком дыма над ним, от которого к востоку тянулась длинная полоса, так что казалось, сильное извержение неминуемо. Слева от нас был Капри, круто уходящий ввысь. Сквозь прозрачную синеватую дымку мы отчетливо видели очертания его скалистых берегов. Под чистым, без единого облачка, небом сверкало спокойное, почти недвижное море, при полном штиле оно теперь простиралось перед нами, точно светлый пруд. Мы восторгались этой картиною, Книп огорчался, что никакая живопись не может воссоздать эту гармонию, так же как тончайший английский карандаш, даже в самой искусной руке, не будет в состоянии

передать эти линии. Я же, убежденный в том, что даже куда менее значительные памятки, нежели те, что способен создать этот умелый художник, со временем будут для меня в высшей степени желанными, подвиг его в последний раз напрячь глаза и руку; он позволил мне себя уговорить и сделал одну из самых точных зарисовок, которую потом раскрасил, тем самым доказав, что для художника и невозможное возможно. Столь же жадно следили мы, как вечер становится ночью. Капри был теперь совсем темным, и, к нашему изумлению, облако над Везувием и облачная гряда стали разгораться, чем дальше, тем сильнее, и, наконец, на горизонте мы увидели величественную светящуюся полосу — то полыхали зарницы.

Любуясь дивными видами, мы проглядели, что нам грозит беда; впрочем, волнение, начавшееся среди пассажиров, не позволило нам долго оставаться в неведении. Пассажиры, более искушенные в мореплавании, чем мы, горько упрекали капитана и штурмана за то, что те из-за своей неловкости не только прозевали пролив, но подвергли опасности доверившихся им людей, их имущество и так далее. Мы спросили, в чем причина этого беспокойства, ибо не понимали, чего можно опасаться при полном штиле. Но оказалось, что как раз из-за штиля эти люди и не находили себе места. «Сейчас, — сказали они, — мы уже попали в течение, которое огибает остров и благодаря определенному направлению волн тащит нас на острые скалы, где нет ни пяди земли, ни бухты, чтобы искать спасения».

После таких речей наша судьба представилась нам в весьма мрачном свете; хотя ночь и не позволяла нам видеть приближение опасности, мы все же заметили, что корабль, покачиваясь и кренясь, двигался к скалам, становившимся все мрачнее, хотя над морем еще был разлит слабый вечерний свет. В воздухе ни дуновения; каждый поднимал вверх носовой платок или легкую ленту, но не было даже намека на вожделенный ветерок. В толпе нарастал шум, нарастало и безумие. Женщины с детьми не молились, преклонив колена на палубе, так как двинуться невозможно было из-за тесноты, просто лежали, крепко прижавшись друг к другу. Они еще больше, нежели мужчины, хладнокровно размышлявшие о помощи и спасении, неистовствовали и бранили капитана. Теперь ему припомнили все, о чем молчали во время путешествия; большие деньги за дурные каюты, убогую пищу, не то чтобы неприветливое, но молчаливое обхождение. Он никому не отчитывался в своих действиях и даже в последний вечер продолжал упрямо умалчивать о предпринятых им маневрах. Его и штурмана называли теперь пришлыми торгашами, которые, не зная

лоцманского искусства, руководствуясь лишь корыстью, получили во владение судно и теперь из-за своей бездарности и неумелости обрекли всех, кто им доверился, на гибель. Капитан молчал и, казалось, все еще раздумывал, как спасти корабль, но мне, с младых ногтей ненавидевшему анархию хуже смерти, было невыносимо дальнейшее молчание. Я вышел вперед и принялся убеждать пассажиров с таким же примерно хладнокровием, как если бы обращался к «птицам» Мальчезине. Я постарался разъяснить, что их шум и крики сбивают с толку тех, на кого еще можно возлагать надежды, так что они не в состоянии ни думать, ни даже понять друг друга. «Что же касается до вас, — воскликнул я, — то соберитесь с духом и обратите горячую молитву к божьей матери, ибо она одна может замолвить за вас слово перед сыном, чтобы он сделал для вас то, что сделал для своих апостолов, когда волны бушующего озера Тивериадского заливали лодку, а господь спал, но, разбуженный безутешными и беспомощными, тотчас же повелел ветру стихнуть; так и сейчас он может повелеть, чтобы задул ветер, коли будет на то его святая воля.

Эти слова подействовали как нельзя лучше. Женщина, с которой я раньше беседовал о предметах нравственных и духовных, воскликнула: «Ah! il Barlamé! benedetto il Barlamé!» Они и вправду затянули свои литании страстно, с неимоверным усердием, тем паче что и так уже стояли на коленях. Они могли предаться этому с тем большим спокойствием, что моряки, как видно, решили испробовать еще одно средство спасения: они спустили на воду шлюпку, которая могла вместить от силы человек шесть или восемь, и при помощи длинного каната скрепили ее с кораблем, матросы сильными ударами весел пытались тянуть его за собой. На мгновение все поверили, что они волокут его поперек течения, и тешили себя надеждой, что таким образом удастся вытащить корабль. Однако либо эти усилия только увеличили сопротивление течения, либо произошло что-то другое, но вдруг шлюпка со всеми гребцами, описав на долгом канате дугу, прибилась к кораблю с обратной стороны, словно кончик бича, которым хлопнул возница. И эта надежда рухнула!

Молитвы сменились стенаниями, положение становилось еще ужаснее, ибо пастухи, пасшие коз наверху, на скалах, чей костер мы уже давно приметили, глухо закричали: внизу гибнет корабль. Они кричали еще множество каких-то непонятных слов; люди, знающие язык, догадались, что они радуются добыче, которую надеются выловить завтра поутру. Даже утешительное сомнение, вправду ли корабль находится так угрожающе близко к скалам,

вскоре, увы, рассеялось, ибо команда вооружилась длинными шестами, чтобы в крайнем случае хотя бы отталкиваться ими от скал, пока, наконец, и шесты не сломаются, — тогда все будет кончено. Корабль качало все больше, прибой, казалось, усиливался, и вследствие этого новый приступ морской болезни заставил меня спуститься в каюту. Оглушенный, я повалился на матрац, правда, даже с некоторой приятностию, вызванной, вероятно, мыслью об озере Тивериадском, ибо перед глазами у меня совершенно отчетливо стояла гравюра из Библии Мериана. Оказывается, сила чувственно-нравственных впечатлений всего ярче проявляется, когда человек предоставлен самому себе. Не знаю, долго ли я пролежал так, в полузабытьи, но проснулся я от страшного шума наверху. Я понял, что по палубе взад и вперед таскают длинные канаты, и это дало мне надежду, что удастся пустить в ход паруса. Немного погодя вниз примчался Книп и сказал, что мы спасены, поднялся слабый ветер и в тот же миг было сделано все, чтобы поднять паруса. Книп и сам не остался в стороне. Корабль уже заметно отошел от скал, и хотя мы еще не совсем выбрались из течения, есть надежда его одолеть. Наверху все было тихо; вскоре явилось еще несколько пассажиров, они сообщили о счастливом исходе и тоже улеглись.

На четвертый день нашего плавания я проснулся рано поутру здоровым и свежим, так же как во время предыдущей поездки; так что, вероятно, в более долгом путешествии я заплатил бы свою дань морской болезни всего лишь трехдневным недомоганием.

Стоя на палубе, я любовался островом Капри, что находился в стороне, довольно далеко от нас; корабль наш держался курса, позволявшего надеяться, что мы сможем войти в залив, что вскоре и свершилось. После столь тяжкой ночи мы радовались возможности в новом освещении увидеть красоты, коими восхищались минувшим вечером. Опасный скалистый остров остался позади. Накануне мы издали любовались правой стороной залива, а теперь замки и город были прямо перед нами, а слева — Позилипо и мысы, простершиеся до Прочиды и Искьи. Все высыпали на палубу, впереди других — греческий священник, одержимый своим Востоком; в ответ на вопрос местных жителей, восторженно приветствовавших свою прекрасную родину, как ему нравится Неаполь в сравнении с Константинополем, он весьма патетически произнес: «Anche questa è una città!» — «Это тоже город!» Мы вовремя достигли гавани, кишмя кишевшей людьми, было самое оживленное время дня. Едва выгрузили и поставили на землю наши чемоданы и прочие вещи, как их подхватили двое носильщиков, а стоило нам произнести, что мы намерены остановиться у Морикони, и они с этой поклажей, точно с

добычей, бросились бежать так, что на людных улицах и на шумной площади мы то и дело теряли их из виду. Книп нес портфель под мышкой, и мы надеялись сохранить хотя бы рисунки, если эти носильщики, менее честные, чем неаполитанская беднота, лишат нас того, что пощадило море.

НЕАПОЛЬ

Гердеру

Неаполь, 17 мая 1787 г.

Вот я опять здесь, мои дорогие, здоровый и бодрый. Поездка по Сицилии прошла легко и быстро, по моем возвращении вы узнаете, *как* я смотрел. То, что я всегда прикипал душой к тем или иным предметам, дало мне невероятную сноровку все как бы «играть с листа», и я счастлив, что великая, прекрасная и несравненная мысль о Сицилии с такой ясностью воцарилась в моей душе. Теперь ничто уже не заставляет меня грезить о полуденных странах, ибо не далее как вчера я вернулся из Пестума. Море и острова одарили меня наслаждением и страданиями, и я умиротворенный приеду домой. Дозвольте мне приберечь подробности до моего возвращения. К тому же в Неаполе с мыслями не соберешься; этот город устно я опишу вам лучше, чем сумел описать в первых моих письмах. 1 июня уезжаю в Рим, если провидение мне не воспрепятствует, в начале же июля я намерен его покинуть. Я должен свидеться с вами как можно скорее, — о, это будут счастливые дни. Я несказанно много на себя нагрузил и нуждаюсь в покое, чтобы все это осознать и переработать.

За все то хорошее и доброе, что ты делаешь для моих произведений, тысячу раз благодарю тебя, мне всегда хотелось сделать что-нибудь тебе на радость. Где бы мне ни попалось что-нибудь твое, оно всегда будет для меня желанным, — ведь наши представления схожи, хоть мы и очень разнимся друг от друга, и схожи прежде всего в главном и основном. Ежели ты за истекшее время многое почерпнул в себе самом, то я многое узнал и уповаю на интересный обмен.

Ты прав, говоря, что я со своими представлениями привержен к настоящему, но чем больше я смотрю на мир, тем меньше у меня остается надежд, что человечество когда-нибудь станет единым, мудрым и счастливым. Может быть, среди миллионов миров и есть один, который вправе похвалиться таким преимуществом; при существующем устройстве нашего мира, думается мне, на это так же мало надежды, как мало надежды у Сицилии при ее конституционном устройстве.

В прилагаемом листке несколько слов о дороге на Салерно и о самом Пестуме. Пестум — последнее, я почти готов сказать — самое сильное, впечатление, которое я, во всей его полноте, увезу

с собой на север. Средний храм, пожалуй, можно предпочесть всему, что я видел в Сицилии.

Что касается Гомера, то у меня словно пелена упала с глаз. Описания, сравнения, etc. представляющиеся нам столь поэтическими, несказанно естественны, но при всем том исполнены такой чистоты и задушевности, что повергают в страх. Даже самым странным выдуманным событиям свойственна поразительная натуральность, и я никогда не чувствовал ее в такой мере, как здесь, вблизи от описываемых деталей. Позволь мне вкратце выразить свою мысль: *древние* изображали жизнь, *мы* обычно изображаем эффект. *Они* описывали ужасное, *мы* ужасно описываем, *они* — приятное, *мы* приятно и т. д. Отсюда — вся преувеличенность, манерность, вся фальшивая грация, вся напыщенность. Ибо, стремясь к эффектной работе и работая на эффект, все время думаешь, что ты его не достиг. Если то, что я говорю, не ново, то новый повод помог мне особенно живо это почувствовать. Только теперь, когда я вновь вижу внутренним взором все эти берега и предгорья, заливы и бухты, острова и песчаные отмели, лесистые холмы, ласковые луга, хлебные поля, изящнейшие сады, тщательно ухоженные деревья, вьющиеся лозы, горы в облаках и радостные вечнозеленые равнины, скалы и косы, вдающиеся в море, все вечно меняющееся и вечно иное, только теперь «Одиссея» стала для меня живым словом.

Далее хочу сказать тебе, что я близок к разгадке тайны размножения и строения растений и что это очень просто — проще не придумаешь. Под здешним небом можно наблюдать правильно и тонко. Главное — начало всех начал — я знаю теперь отчетливо и бесспорно; остальное уже вижу в целом, только некоторые пункты еще надо сделать определеннее. Прарастение станет удивительнейшим созданием на свете, сама природа позавидует мне на него. С этой моделью и ключом к ней станет возможно до бесконечности придумывать растения, вполне последовательные, иными словами — которые если и не существуют то, безусловно, могли бы существовать и, не будучи поэтическими или живописными видениями и тенями, обладать внутренней правдой и необходимостью. Этот же закон сделается применимым ко всему живому.

Неаполь, пятница, 25 мая 1787 г.

Мою легкомысленную маленькую принцессу мне, верно, уже не придется увидеть. Она и вправду уехала в Сорренто и перед своим отъездом оказала мне честь, выбранив меня за то, что каменистую и дикую Сицилию я предпочел ей. Друзья кое-что

порассказали мне об этом своеобразном существе. Из хорошей, но неимущей семьи, воспитанная в монастыре, она решилась выйти замуж за старого и богатого принца; убедить ее это сделать было тем легче, что природа создала ее хоть и доброй, но начисто неспособной к любви. В своей новой ипостаси богатой, но очень стесненной семейным положением дамы она пыталась помочь себе силою духа и, ограниченная в действиях и поступках, по крайней мере, давала волю своему языку. Меня уверяли, что, собственно говоря, поведенье ее безупречно, но она, видимо, решила необузданными речами бросить вызов всем условностям и шутя добавляла, что никакая цензура не пропустила бы ее речи в письменном изложении, так как любое ее слово порочит религию, государство или нравственность общества.

Мне также рассказывали истории о всевозможных милых ее чудачествах; одну из них я приведу здесь, хотя она и не очень пристойна.

Незадолго до землетрясения, случившегося в Калабрии, она поехала в тамошние имения своего супруга. Вблизи от ее дворца находился барак, вернее, одноэтажный деревянный дом без фундамента; впрочем, внутри он выглядел обжитым и даже уютным — красивые обои, хорошая мебель. При первом же подземном толчке она ушла туда. Сидя на софе, она что-то вязала, возле нее стоял столик для рукоделья, напротив сидел старик аббат, домовый священник. Вдруг пол вздыбился, здание с ее стороны просело, а с другой взмыло кверху, аббата и столик подняло на воздух. «Фу! — воскликнула она, прислонив голову к падающей стене. — Вы ведете себя так, словно хотите броситься на меня; столь почтенному человеку это не пристало! Не забывайте приличий, прошу вас!»

Между тем дом снова опустился, и она потешалась над нелепо похотливым видом, который будто бы имел бедный старик, начисто забывая за своими насмешками все беды и потери, понесенные ее семьей и тысячами других людей. Надо иметь на редкость счастливый характер, отпуская шутки, когда земля разверзается, чтобы тебя поглотить.

Неаполь, суббота, 26 мая 1787 г.

Если хорошенько вдуматься, то можно признать за благо наличие множества святых, — таким образом каждый верующий может выбрать себе святого по вкусу и с полнейшим доверием обращаться к своему избраннику. Сегодня был день моего святого, который я отметил не только в его честь, но и в его духе — благочестивым веселием.

Филиппо Нери здесь очень чтят и поминают с неизменной

теплотою. Поучительно и приятно слушать рассказы о нем и его редкостной богобоязненности, а также о его неизменном благодушии. С ранних лет он ощутил в себе страстные религиозные порывы, с течением времени превратившиеся в наивысшие проявления религиозного экстаза, а именно — в дар непроизвольной молитвы, глубочайшего молчаливого богопочитания, дар слез и полного самозабвения; ему было дано отрываться от земли и парить над нею, что уже почитается наивысшим господним даром.

Со столь многими таинственными и редко встречающимися внутренними озарениями в нем сочетался ясный человеческий разум, уменье ценить, — правильнее будет, если я скажу, отрицать, — ценность благ земных, деятельная помощь ближним в их телесных и духовных нуждах. Он строго соблюдал обрядность, обязательную для верующего сына церкви в отношении праздников, присутствия на богослужениях, молитв, постов и т. п. И не менее рьяно занимался воспитанием юношества, обучением музыке, ораторскому искусству, упражняя разум молодых людей не только обсуждениями вопросов духовного порядка, но, по его собственному почину, и остроумными мирскими беседами и диспутами. Удивительно, что все это в течение долгих лет делалось в силу внутреннего влечения и призвания, хотя он не принадлежал ни к какому ордену или конгрегации и даже церковного сана не имел.

Но еще примечательнее, что его деятельность пришлась на лютеровские времена и что именно в Риме одаренного, богобоязненного, энергичного и настойчивого человека также осенила мысль воссоединить духовное начало с мирским, небесное ввести в Säkulum, в свою очередь, подготовить реформацию. Ибо только реформация — ключ, который может отпереть темницу папства и возвратить бога свободному миру.

Однако папский двор, вблизи коего, в окрестностях Рима, проживал человек столь незаурядный, не спускал с него бдительного ока и не угомонился, покуда тот, и всегда-то живший главным образом духовной жизнью, не нашел себе пристанища в монастыре, где он поучал и ободрял братию, намереваясь учредить если не новый орден, то хотя бы свободную общину и, наконец, дал себя уговорить принять постриг, а вместе с ним получить и те привилегии, о которых до сей поры он не ведал.

Если довольно естественно усомниться в чуде его телесного парения над землей, то дух его всегда был превыше земной юдоли, и ничто не отвращало его больше, чем тщеславие, притворство, высокомерие, — эти свойства он силился оборотъ, как труднейшие препятствия на пути истинно благочестивой

жизни, и, как то говорится во многих преданиях, всегда с помощью добродушного юмора.

К примеру: однажды он находился в папских покоях, когда папе доложили, что в одном из монастырей, неподалеку от Рима, некая монахиня сподобилась чудесных духовных озарений. Папа поручил Нери проверить правдивость этих рассказов. Тот немедленно сел на мула и, несмотря на непогоду и плохие дороги, быстро добрался до монастыря. Его провели к настоятельнице, и та не только подтвердила все эти знаки милости божьей, но и подробно рассказала о них. Вызванная к Нери монахиня входит, и он после первого же приветствия протягивает ногу в грязном сапоге и предлагает ей снять его. Святая чистая дева, испугавшись, пятится к дверям и в гневных словах выражает свое возмущение. Нери спокойно встает, опять садится на мула и вскоре предстает перед папой, не ожидавшим столь быстрого возвращения своего посланного, ибо на предмет проверки таких милостей всевышнего у католических духовных отцов имеются обязательные предписания. Церковь не отрицает возможности подобного божьего дара, но истинность его признает лишь после строжайшего испытания. Нери кратко сообщил результат удивленному папе; «Она не святая, — воскликнул он, — и никаких чудес не совершает! Для этого ей недостает самого главного — смирения».

Эту максиму следует рассматривать как руководящий принцип всей его жизни. К сказанному еще один пример. Когда Нери основал конгрегацию Padri dell' Oratorio, вскоре завоевавшую популярность и во многих возбудившую желанье в нее вступить, молодой римский князь явился однажды с просьбой о принятии его в члены конгрегации; ему было разрешено послушничество и выдана соответствующая одежда. Но так как через некоторое время он пожелал доподлинно вступить в братство, ему было сказано, что он должен подвергнуться еще некоторым испытаниям, на что тот выразил согласие. Тогда Нери принес длинный лисий хвост и потребовал, чтобы князь, прикрепив его сзади к своему одеянию и храня полную серьезность, прошелся по улицам Рима. Молодой человек ужаснулся не меньше, чем вышеупомянутая монахиня, и заявил, что пришел сюда не за стыдом, а за честью. Отец Нери заметил, что за этим ему не стоило приходить сюда, где первейший закон — самоотречение. После чего юноша с ним распрощался.

Своим девизом Нери избрал слова: «Spernere mundum, spernere te ipsum, spernere te sperni». Этим, собственно, все сказано. Ипохондрик может, конечно, внушать себе, что он в состоянии выполнить два первых пункта, но чтобы выполнить

третий, надо уже быть на пути к святости.

Неаполь, 27 мая 1787 г.

Ваши милые письма от конца прошлого месяца я получил сразу из Рима через графа Фриза и радовался, читая и перечитывая их. Вместе с ними пришла и нетерпеливо ожидаемая шкатулочка. Тысячу раз благодарю вас за все.

К сожалению, вскоре наступит пора бежать отсюда. Я хоть и жажду напоследок еще раз хорошенько присмотреться к Неаполю и к его окрестностям, многое освежить в памяти и навсегда запомнить, вдобавок еще сделать кое-какие выводы, но течение времени увлекает меня за собой, а к этому еще присоединяются хорошие люди, новые и старые знакомые, с которыми я не могу вдруг порвать. Я встретил здесь одну премилую даму; прошлым летом в Карлсбаде мы с ней провели приятнейшие дни. И теперь не один час похитили у настоящего, предаваясь светлым воспоминаниям. Все, кто были нами любимы и любезны нашим сердцам, вновь чредою прошли перед нами, и первым делом мы вспомнили резвый юмор дорогого нашего герцога. У нее еще сохранилось стихотворение, которым девушки из Энгельхауза сумели удивить его перед самым отъездом. Оно воскресило все веселые сценки, смешные дразнилки и мистификации, остроумные попытки взаимного мщения. Мы опять почувствовали себя на немецкой почве, в лучшем немецком обществе, стесненными отвесными скалами, связанными друг с другом удивительным нашим местопребыванием, но еще теснее взаимным уважением, дружбой, нежной склонностью. Однако, стоило нам подойти к окну, как мимо нас уже помчался неаполитанский поток, снося все на своем пути, в том числе и эти мирные воспоминания.

От знакомства с герцогом и герцогиней фон Урсель я тоже не сумел уклониться. Это достойная чета, с прекрасными манерами, чистым отношением к людям и природе, исполненная любви к искусству, благожелательностью к тем, кто встречается на их пути. Частые беседы с ними были для меня весьма привлекательны.

Гамильтон и его красавица по-прежнему были любезны со мною. Я обедал у них, а под вечер мисс Гарт знакомила нас со своими музыкальными и вокальными талантами.

По настоянию Хаккерта, который становится все благосклонней ко мне и хочет, чтобы я не упустил ничего достойного внимания, Гамильтон свел нас в свое потайное хранилище произведений искусства и всякой всячины, к искусству относящейся. Там такое творится, что и вообразить

невозможно: вещи всех эпох, размещенные в полном беспорядке: бюсты, торсы, вазы, бронза, безделушки из сицилийских агатов, даже часовенка, резные изделия, картины, — словом, все, что было им приобретено по чистой случайности. В продолговатом ящике на полу, — я отодвинул его поломанную крышку, — два великолепнейших бронзовых канделябра. Подозвав Хаккерта, я тихонько спросил, не находит ли он, что они до удивительности схожи с канделябрами в Портичи. Он знаком попросил меня молчать; они, мол, запросто могли попасть сюда с помпейских раскопок. Из-за таких и тому подобных счастливых приобретений лорд и показывает свои тайные сокровища только друзьям, которым полностью доверяет.

Мое внимание привлек вертикально поставленный ящик, спереди открытый, изнутри покрашенный в черный цвет и к тому же заключенный в роскошную золотую раму. Он был достаточно велик, чтобы вместить стоящего человека, это-то и помогло нам догадаться о его назначении. Большой любитель искусства и красивых женщин, лорд Гамильтон не желал довольствоваться живой красавицей, он хотел наслаждаться ею еще и как неподражаемой картиной, отчего ей и приходилось в этой золотой раме, пестро одетой, на черном фоне, изображать античные фрески Помпеи или даже современные шедевры. Но это время, видно, уже отошло, к тому же нелегко было переносить и ставить в надлежащее освещение всю эту декорацию, — итак, нам не суждено было полюбоваться сим спектаклем.

Здесь уместно будет вспомнить и о другом пристрастии неаполитанцев. Я имею в виду вертепы на рождество, стоящие во всех церквах, — собственно, поклонение пастухов, ангелов и царей, сгруппированных с большей или меньшей полнотой и одетых более или менее пышно и богато. Эта группа в веселом Неаполе взобралась даже на плоские крыши, где сколачивалось некое подобие хижины, украшенной ветками вечнозеленых деревьев и кустарника. Богоматерь, младенец и все, что стоят или парят вокруг, богато разряжены, причем хозяева дома тратят на их гардероб немалые деньги. Но поистине прекрасным все это делает фон — Везувий и то, что поблизости от него.

С некоторого времени меж кукол стали появляться и живые фигуры, и мало-помалу одним из любимейших вечерних развлечений в знатных и богатых домах сделались живые картины на исторические, а иной раз и поэтические сюжеты.

Если мне дозволено будет сделать замечание, от которого любезно и тепло встреченному гостю следовало бы воздержаться, то признаюсь, что наша очаровательная хозяйка все же представляется мне существом бездушным, она хоть и прельщает

нас своим внешним обликом, но в звуке ее голоса, даже в ее речах нет ни значительности, ни задушевности. Оттого и в ее пении отсутствует волнующая полнота чувств.

Так же обстоит дело и с этими живыми картинами. Красивые люди встречаются повсюду, глубоко чувствующие, да еще одаренные хорошими голосами — куда реже, и уж совсем редко — сочетание красоты и хороших голосовых данных.

Гердерова третья часть очень меня радует. Сохраните ее для меня, а я напишу, куда мне ее направить. В ней, не сомневаюсь, прекрасно изложена заветная мечта человечества: наступит время, когда всем будет житься лучше. Признаться, я и сам верю, что в конце концов гуманность восторжествует, боюсь только, как бы в этом случае мир не превратился в гигантский госпиталь и каждый не стал бы для другого хлопотливой сиделкой.

Неаполь, 28 мая 1787 г.

Мой добрый и весьма полезный Фолькман принуждает меня иной раз пренебрегать его мнением. По его словам, в Неаполе проживает от тридцати до сорока тысяч тунеядцев, и кто только за ним этого не повторяет! Я же, получше ознакомившись с жизнью на юге, убедился, что это северная точка зрения, — у нас бездельником считается каждый, кто с утра до вечера не трудится в поте лица своего. Посему я стал присматриваться к здешним жителям и заметил, что независимо от того, находятся они в движении или в покое, многие очень плохо одеты, но ничего не делающих среди них я не видел.

Спросил у кое-кого из друзей о будто бы бесчисленных праздношатающихся, на которых мне тоже интересно было взглянуть, но и они не могли мне их указать, а так как моя затея была связана с повторным осмотром города, то я в одиночку отправился на охоту.

В немыслимой толчее я стал приглядываться к самым разным типам людей, пытаясь по облику, одежде, повадкам и занятиям определять и классифицировать их. Я считал, что здесь это сделать легче, чем где бы то ни было, так как человек здесь больше предоставлен самому себе, да и внешне обычно соответствует своему сословию.

Эти наблюдения я начал рано утром, и все люди, которые, казалось, спокойно стояли или присели отдохнуть, на самом деле профессионально чем-то занимались.

Носильщики, например, — у них на многих площадях имеются свои постоянные места, — только и ждут, чтобы кто-нибудь пожелал воспользоваться их услугами; так называемые *«калессары»,* их работники и мальчишки-помощники, которые на

больших площадях стоят возле одноконных колясок, кормят и чистят лошадей, готовые обслужить каждого, кому потребуются их услуги; *мореходы*, которые курят трубки на молу; *рыбаки,* лежащие на солнце, возможно, потому, что встречный ветер не позволяет им выйти в море. Многие, как я заметил, просто шагали туда и обратно, но едва ли не каждый имел при себе орудия своего труда. *Попрошаек* я вообще не встретил, за исключением нескольких стариков, уже совсем дряхлых и беспомощных. Я неусыпно смотрел по сторонам, стараясь никого и ничего не упускать, но доподлинных бездельников, все равно мужчин или женщин, не видел ни утром, ни в последующую часть дня, ни среди представителей низшего или среднего класса.

Я вдаюсь во все эти мелкие подробности, чтобы сделать свое утверждение как можно более наглядным и правдивым. Даже *самые малые дети* всегда при деле. Многие из них носят на продажу рыбу с Санта-Лючии в город; других я видел у Арсенала или вообще там, где что-то строят и где можно подобрать щепки, а также у моря, выбрасывающего на берег ветки или древесные обломки, которые они тщательно собирают в корзины. Даже малыши, еще только ползающие, заняты этим промыслом вместе с мальчиками постарше, лет эдак пяти-шести. Неся в руках полные корзины, дети отправляются в глубь города и со своими дровишками усаживаются на рынке. Ремесленники или мелкие торговцы покупают их и под своим треножником пережигают в угли, чтобы согреться, или используют для своей скромной стряпни.

Одни ребятишки торгуют вразнос водой из серных источников, которую здесь, особенно весной, пьют очень охотно. Другие, чтобы хоть немножко подзаработать, покупают овощи, непроцеженный мед, пирожные, сласти и, маленькие коммерсанты, продают их такой же детворе только для того, чтобы, задаром получить свою долю… Любо-дорого смотреть, как такой мальчонка, все торговое оборудование которого состоит из доски и ножа, ходит по рынку с арбузом или половиной печеной тыквы, как вокруг него собирается толпа ребятишек, а он, опустив свою доску, начинает делить плод на крохотные порции. Покупатели внимательно следят за тем, чтобы получить за свой медяк сколько положено, но и маленький торговец действует осторожно, не желая остаться внакладе. Не сомневаюсь, что, останься я в Неаполе подольше, мне бы удалось увидеть еще множество примеров такого детского приобретательства…

…Я бы слишком далеко уклонился в сторону, если бы пустился в разговор о разнообразной мелочной торговле, которую с удовольствием наблюдаешь в Неаполе, как, впрочем, и в любом

большом городе, но о разносчиках, принадлежащих к низшему классу народонаселения, я все же должен сказать несколько слов. Одни носят при себе небольшой бочонок с ледяной водою, стаканы и лимоны, чтобы по первому требованию без промедления приготовить лимонад, в котором не отказывает себе даже последний бедняк; в руках у других подносы с разными ликерами и рюмки в деревянных кольцах, не дающих им упасть; третьи в корзинах разносят печенье, разные лакомства, лимоны и другие фрукты, — право, кажется, что каждый стремится не только внести свою лепту, но и разделить со своими согражданами тот нескончаемый праздник наслаждения, который ежедневно справляется в Неаполе.

Эти разносчики хлопочут без устали, но, кроме них, существует еще множество совсем мелких торговцев; они тоже шныряют по городу, таская свой товар на доске, на крышке от какого-нибудь ящика или же попросту раскладывая его на земле. Тут уж и речи нет о вещах, какие можно купить в больших магазинах, — это обыкновенный хлам. Нет такого кусочка железа, кожи, сукна, холста или войлока, который не вернулся бы на рынок и не был бы кем-то куплен уже из рук старьевщика. Кстати сказать, многие простолюдины зарабатывают свой хлеб в качестве посыльных или подручных при ремесленниках и мелких торговцах.

Правда, здесь на каждом шагу можно встретить человека, очень плохо одетого, проще говоря, оборванна, но из этого отнюдь не следует, что он лентяй или вор! Как ни парадоксально то, что я сейчас скажу, но, думается, в Неаполе едва ли не большая часть товарного производства сосредотачивается в низших классах. Разумеется, тут никакого сравнения с северными промыслами быть не может. Там необходимо предусматривать не только день и час, но в теплые и погожие дни заботиться о холодных и непогожих, летом — о зиме. Сама природа заставляет северянина быть заботливым и предусмотрительным, хозяйку — солить и коптить, чтобы обеспечить семью на весь год, хозяина — запасать дрова, зерно, не забыв о корме для скота и т. п., что, конечно, отнимает у него прекрасные часы наслаждения, заставляя посвящать их тяжкому труду. На долгие месяцы люди по доброй воле лишают себя свежего воздуха, прячась в домах от ненастья, дождя, снега и мороза. Времена года сменяются неотвратимо, и тот, кто не хочет погибнуть, должен быть рачительным хозяином. Здесь ведь не ставится вопрос, *хочет* ли он претерпевать лишения; он не вправе, вернее, он не *имеет возможности* этого хотеть, природа вынуждает его трудиться, работать впрок. И, конечно же, именно эти неукоснительные

требования природы, одинаковые на протяжении тысячелетий, определили во многих отношениях достойный характер северных наций. Мы же судим о южных народах, с коими так мягко обошлись небеса, со своей точки зрения, то есть судим слишком строго. То, что господни Фон Пау в своих «Recherches sur les grecs» отваживается высказать по поводу философов-циников, полностью соответствует данной ситуации. Никто, полагает он, не имеет достаточно правильного представления о жалком положении этих людей; их принцип — не стремиться ни к каким жизненным благам — поощряется климатом, который дарует им все необходимое. Бедный, как будто бы несчастный человек в южных широтах может не только удовлетворить свои насущнейшие потребности, но еще и вовсю наслаждаться жизнью. А так называемому неаполитанскому нищему ничего не стоит пренебречь должностью вице-короля Норвегии или отказаться от чести быть губернатором Сибири, буде императрица Российская пожелала бы ему эту должность предоставить.

Разумеется, в наших краях философ-циник едва-едва сводил бы концы с концами, тогда как на юге ему на помощь приходит природа.

Вообще парадокс, который я отважился высказать выше, мог бы дать повод для разных наблюдений тому, кто захочет написать картину Неаполя, — для чего, конечно, требуется немалый талант и многие годы целеустремленного внимания. Тогда, пожалуй, удастся заметить, что так называемый *лаццарони* ни на волос не уступает в трудолюбии другим слоям народонаселения, которые, в свою очередь, работают не только, чтобы *жить,* но и чтобы *наслаждаться жизнью,* и даже в труде хотят радоваться ей. Этим объясняется, отчего итальянские ремесленники изрядно поотстали от северных; отчего здесь не прививаются фабрики, отчего, не считая адвокатов и врачей, на большое количество населения приходится мало людей с высшим образованием, сколько бы заслуженных мужей ни пеклись о том, чтобы изменить это положение; отчего ни один художник неаполитанской школы не знал упорного труда и не сделался подлинно великим, отчего духовные лица всему предпочитают праздность, аристократы же в своих загородных владениях проводят время главным образом в чувственных радостях, в роскоши и развлечениях.

Я отлично понимаю, что все мною сказанное носит очень уж общий характер, что определить черты, присущие тому или иному классу, можно, лишь хорошенько ознакомясь с ним, но в общих чертах мы все равно пришли бы к такому же выводу.

Я снова возвращаюсь к неаполитанским простолюдинам. С ними как с жизнерадостными ребятишками, — дашь им

поручение — они таковое выполнят, но при этом постараются обратить его в забаву. Среди них много людей очень живых, со свободным и верным взглядом на вещи. Речь их, как утверждают старожилы, образна, шутят они охотно и едко. Старая Ателла расположена невдалеке от Неаполя, и если их любимец Пульчинелла все еще продолжает свои игры, то и простолюдины по-прежнему с живым интересом относятся к его забавам.

Неаполь, 29 мая 1787 г.

С великим удовольствием смотришь на буйное, заразительное веселье, которое царит повсюду. Многоцветные растения и плоды — любимые украшения природы — так и манят человека украсить себя и всю утварь, его окружающую, самыми яркими красками. Шелковые платки, ленты, цветы на шляпы нацепляет на себя каждый, кому это хоть как-то доступно. Стулья и комоды, даже в беднейших домах, расписаны цветами по золотому полю, одноколки — и те ярко-красные, резьба на них позолоченная, лошади убраны бумажными цветами, алыми кистями и сусальным золотом. У одних на голове покачиваются султаны из перьев, у других — флажки, на ходу они крутятся во все стороны. Пристрастие к ярким краскам мы обычно именуем варварством, безвкусицей; возможно, что так оно и есть, но под этим радостно-голубым небом ничто не выглядит слишком пестрым, ибо никакой пестроте не затмить блеска солнца и его отражения в море. Самую яркую краску приглушают могучие потоки света, а так как все цвета, вся зелень деревьев и растений, желтая, бурая, красная земля ослепляют взор, то самые пестрые цвета и платья сливаются в общую гармонию. Алые безрукавки и юбки женщин из Неттуно, с широкой золотой или серебряной каймою, другие красочные национальные костюмы, расписные корабли — все словно бы старается быть хоть как-то заметным в сиянии неба и моря.

Они как живут, так и хоронят своих усопших. Черная медленная процессия не должна нарушать гармонию радостного мира.

Я видел, как несли на кладбище ребенка. Пунцовый бархатный ковер, затканный золотом, покрывал широкие носилки, на них стоял ящичек, позолоченный и посеребренный, в котором лежал одетый в белое ребенок, почти весь закрытый розовыми лентами. По четырем углам ящичка стояли четыре ангела фута в два вышиной, державшие букеты цветов над усопшим. Снизу букеты были укреплены на проволоке и от движения носилок раскачивались, казалось, источая нежное и живительное благоухание. Ангелов тоже качало в одну и в другую

сторону. Так процессия быстро двигалась вперед, священнослужители и факельщики во главе ее не столько шли, сколько бежали по улицам.

Нет такого времени года, когда бы мы не были со всех сторон окружены съестными припасами; неаполитанцы не просто радуются лакомым блюдам, но стараются покрасивее выложить товар, предназначенный к продаже.

На набережной Санта-Лючия рыба, как правило, разложена по породам в чистые и приятные на вид корзинки. Тщательно рассортированные крабы, устрицы, мелкие ракушки красуются на зеленых листьях. Лавки, торгующие сушеными фруктами и бобовыми, разукрашены, сколько хватает фантазии у их владельцев. Апельсины, лимоны всех сортов, переложенные зелеными ветками, радуют глаз. Но всего наряднее выглядят мясные лавки; народ с вожделением смотрит на этот товар, так как частые посты изрядно возбуждают аппетит.

У мясников вывешены большие куски говядины, телятины и баранины, причем жирный бок или кострец частично всегда позолочен. Есть в году дни, прежде всего рождественская неделя, которые славятся как праздник обжорства. Тогда же справляется неаполитанский карнавал, в котором, словно по сговору, участвуют пятьсот тысяч человек. И как же аппетитно украшена тогда улица Толедо, прилегающие к ней переулки и площади поблизости от нее! Радуют глаз зеленные лавки, в них прельстительно выставлены дыни, изюм, винные ягоды. Гирлянды съестных товаров висят поперек мостовой, словно гигантские четки из позолоченных, перевязанных красными лентами колбас, а рядом индюки, из-под гузок которых торчат красные флажки. Меня заверили, что их продается здесь не меньше тридцати тысяч, не считая откормленных дома. Вдобавок по городу и рынку гонят еще множество ослов, нагруженных зеленью, каплунами и ягнятами. Тут и там возвышаются горы яиц, — невозможно себе даже представить, что их скопили такую уйму. Мало того что все это съедается, всякий год полицейский в сопровождении трубача скачет по городу и на всех площадях и перекрестках возвещает, сколько быков, телят, барашков, свиней и т. д. съедено неаполитанцами. Народ внимательно прислушивается, безмерно радуется столь большим цифрам, и каждый с удовольствием вспоминает о своем участии в этих пиршествах.

Что касается мучных и молочных блюд, которые в таком разнообразии стряпают наши северные кухарки, то неаполитанцы, стараясь не тратить много времени на стряпню и к тому же не имея благоустроенных кухонь, все равно сумели, да

еще как, о себе позаботиться. Макароны всех сортов из нежного, хотя и круто замешанного теста, — мука на них берется всегда самая лучшая, — сваренные в самых различных формах, можно задешево купить на каждом шагу. Обычно их бросают в кипящую воду, приправой же к ним служит тертый и слегка растопленный сыр. Почти на всех углах оживленных улиц, особенно в постные дни, стоят кухарки со своими сковородами, полными кипящего постного масла, которые живо приготовляют рыбу или тестяные изделия, смотря по требованию покупателя. Сбыт эти товары имеют почти невероятный, многие тысячи горожан несут домой свой обед или ужин, завернутый в клочок бумаги.

Неаполь, суббота, 1 июня 1787 г.

Прибытие маркиза Луччезини на несколько дней отодвинуло мой отъезд; знакомство с ним доставило мне много радости. Он кажется человеком со здоровым нравственным желудком, который неизменно наслаждается за всемирной трапезой, не то что мы, грешные, словно жвачные животные, временами переполняем себе желудок и уже ничего не можем в рот взять, покуда еще раз не прожуем свою жвачку и не покончим с пищеварением. *Жена* его мне тоже понравилась, — бравая и милая немка.

Теперь я уже охотно уеду из Неаполя, более того — я должен уехать. В последнее время меня разобрала охота встречаться с разными людьми, я завел много интересных знакомств и очень доволен часами, которые им посвятил, но еще две недели, и я бы стал уходить все дальше и дальше от своей цели. К тому же здесь тобой завладевает безделье. После возвращенья из Пестума я мало что видел, кроме сокровищ Портичи, многое бы еще надо было осмотреть, но я из-за этого и шагу не ступлю. Этот же музей действительно альфа и омега всех античных собраний. Там мы видим, насколько древние опережали нас в художественном чутье, хотя в чисто ремесленной сноровке изрядно от нас отставали.

Вечером.

Мои прощальные и благодарственные визиты были для меня отрадны и поучительны, мне показывали многое, с чем раньше не спешили или о чем просто забывали. Кавалер Венути даже позволил мне еще раз осмотреть его потайные сокровища. Я вторично с благоговением стоял перед его пусть искалеченным, но бесценным Улиссом. Под конец он повел меня на фарфоровый завод, где я постарался запечатлеть в памяти черты Геркулеса и

вдосталь нагляделся на сосуды из Римской Кампаньи!

…Мой банкир, к которому я попал в обеденное время, ни за что не хотел отпускать меня; все было бы хорошо и приятно, если бы лава не притягивала моего воображения. За разными хлопотами, платежами, укладкой вещей подошла ночь, и я поспешил на мол.

Здесь я увидел все фонари, все огни, все их отражения, колеблющиеся оттого, что море было неспокойно; увидел полную луну во всем ее великолепии, — рядом со снопами искр, которые извергал вулкан, и, наконец, лаву, — в прошлый раз она еще отсутствовала, — на своем раскаленном суровом пути. Мне следовало бы поехать туда, но сейчас сложно было это устроить, я бы только к утру добрался до Везувия. Мне не хотелось, чтобы нетерпение прервало зрелище, которым я любовался, потому я остался на молу, покуда, несмотря на толпу то прибывавшую, то редевшую, несмотря на ее пересуды, толки, сравнения и споры — куда же потечет лава, несмотря на весь шум и гам, у меня не начали слипаться глаза.

Неаполь, суббота, 2 июня 1787 г.

Итак, хотя я и этот прекрасный день провел в обществе достойнейших людей, весело и с пользой, — но вразрез со своими намерениями, отчего на сердце у меня было тяжело. С тоскою смотрел я на дым, который валил из горы и, медленно спускаясь к морю, все более четко обозначал путь лавы. Вечер у меня тоже был занят, я обещал посетить герцогиню Джованни; в ее дворце меня заставили пройти по множеству коридоров в верхнем этаже, загроможденных ящиками и шкафами, словом, тем, что стесняет жизнь человека, вынужденного постоянно бывать при дворе. В большой и высокой комнате, откуда сколько-нибудь интересного вида не открывалось, меня встретила красивая молодая дама, владевшая искусством приятной светской беседы. Немка по рождению, она знала, какими путями шла немецкая литература к более свободной гуманности, к широким взглядам, и прежде всего ценила усилия Гердера и его последователей, равно как и чистый разум Гарве. Она пыталась не отставать от немецких писательниц, и, видимо, заветным ее желанием было владеть искусным и не бесталанным пером. К этому она сводила все свои разговоры, не в силах утаить намерения влиять на девушек из аристократических семейств. Но вообще-то такой разговор ни конца, ни края не знает. Сгустились сумерки, но свечей еще не вносили. Мы с ней ходили по комнате из угла в угол, и она, подойдя к окнам, закрытым ставнями, вдруг распахнула одну из них, и я увидел то, что можно увидеть лишь однажды в жизни.

Если она сделала это нарочно, чтобы меня потрясти, то достигла своей цели. Мы стояли у окна верхнего этажа, прямо напротив Везувия. Лава текла вниз, и этот поток, когда солнце давно уже село, пылал, золотя дым, вившийся над ним. Вулкан неистовствовал, гигантская дымовая туча повисла над кратером, при каждом выбросе она молниеносно расчленялась, и, освещенная, становилась объемной. Оттуда вниз до самого моря тянулась рдеющая полоса огня и огненных паров, а дальше — море и твердь, скалы и заросли выступали в вечерних сумерках, отчетливо, мирно, в зачарованном спокойствии. Окинуть все это единым взглядом и, как завершение дивной картины, увидеть еще полную луну, выходящую из-за горного хребта, — право же, это повергало в трепет.

Глаз схватывал все разом с той точки, на которой мы стояли, и если ему и не было дано многое разглядеть в отдельности, то впечатление великого целого не утрачивалось ни на миг. Пусть это зрелище прервало наш разговор, зато он стал как-то теплее. Сейчас перед нами был текст, и чтобы прокомментировать его, недостало бы тысячелетий. Чем больше темнела ночь, тем яснее становилось все кругом. Луна светила, как второе солнце. Столбы дыма, его полосы и массивы просвечивались насквозь, казалось даже, что и слабо вооруженным глазом можно разглядеть вулканические бомбы над черным конусом горы. Моя хозяйка, — я так ее назову, потому, что мне не часто доводилось есть такой ужин, — велела переставить свечи к противоположной стене. Прекрасная женщина, озаренная лунным светом, на переднем плане этой, можно сказать, невероятной картины, казалось, с минуты на минуту хорошела, а прелесть ее для меня увеличивалась еще и тем, что в этом южном раю слух мой ласкала немецкая речь. Я забыл о времени, и ей пришлось мне напомнить, с большой неохотой, как она сказала, что мне пора уходить, — в этот час галереи ее дома запираются, как в монастыре. Итак, я, слегка помедлив, простился с тем, что было уже далеко, и с тем, что еще оставалось близко, благословляя судьбу, вознаградившую меня за невольную добродетель этого дня столь прекрасным вечером. Уже под открытым небом я сказал себе, что вблизи этот великий поток лавы вряд ли бы сильно отличался от малого, уже виденного мною, и что последний взгляд на Неаполь, прощанье с ним должно было произойти именно так, как произошло. Вместо того чтобы пойти домой, я зашагал к молу — еще раз насладиться дивным зрелищем, имея перед глазами другой передний план; но уж не знаю, усталость ли от изобиловавшего впечатлениями дня или боязнь, что в памяти моей изгладится последняя прекрасная картина, но я

поспешил на Марикони, где застал Книпа, пришедшего со своей новой квартиры меня проведать. За бутылкой вина мы поговорили о будущих наших делах. Я пообещал ему, что, как только смогу показать в Германии несколько его работ, ему будут даны рекомендации к герцогу Готскому и, конечно же, он станет получать от него заказы. Так мы распрощались, радуясь нашему знакомству и уповая на будущую взаимополезную совместную работу.

Неаполь, воскресенье, 3 июня 1787 г.
Троицын день.

Так я покидал этот несравненный город, который мне, вероятно, не суждено будет увидеть вновь, среди его нескончаемого оживления, довольный уже и тем, что не оставлял за собой ни раскаяния, ни боли. Я думал о добром нашем Книпе, давая себе слово всем сердцем печься о нем даже издалека.

Уже за городом, у последней заставы ко мне на мгновенье подошел таможенный чиновник, приветливо глянул мне в лицо и тут же отскочил. Другие таможенники еще продолжали досматривать экипажи, когда из дверей кофейни вышел Книп с подносом, на котором стояла огромная китайская чашка с черным кофе. Он приблизился к спущенной подножке неторопливо, даже с некоторой важностью от сердечного волнения, что очень его красило. Я был поражен и растроган, — такое благодарное внимание, право же, не имеет себе равных. «Вы столько сделали добра для меня, добра, которое скажется на всей моей жизни, так пусть же это будет символом того, чем я вам обязан», — сказал он.

Я вообще-то немею при подобных оказиях, и тут, уж конечно, ограничился лаконическим замечанием, что он своими трудами сделал меня своим должником, а использование и обработка наших общих сокровищ еще больше обяжут меня.

Мы расстались, как редко расстаются люди, встретившиеся случайно и лишь на краткий срок. Наверно, мы видели бы от жизни больше благодарности и пользы, если бы сразу высказывали, чего мы ждем друг от друга. Выполнив таким образом свой долг, обе стороны оставались бы довольны; а правдивость — начало и конец всего сущего — обернулась бы уже чистой прибылью.

ВТОРОЕ ПРЕБЫВАНИЕ В РИМЕ С ИЮНЯ 1787 г. ДО АПРЕЛЯ 1788 г.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 8 июня 1787 г.

Третьего дня я снова благополучно прибыл сюда, а вчера великий праздник тела Христова мгновенно посвятил меня в римляне. Не могу не признаться, что отъезд из Неаполя причинил мне некоторую боль, и не столько из-за дивных его окрестностей, которые я покидал, сколько из-за мощного потока лавы, прокладывавшего себе путь от вершины вулкана к морю; мне ведь следовало рассмотреть этот поток вблизи, вникнуть в его природу, приобщить к своему опыту, ко всему, что я слышал и читал о лаве.

Сегодня моя тоска по величественнейшей из картин природы уже улеглась. И не то чтобы этому способствовала благочестивая праздничная суета, которая, несмотря на известную импозантность целого, все же уязвляет наши чувства отдельными безвкусными подробностями, нет, я вновь был вовлечен в круг высоких представлений созерцанием ковров по картонам Рафаэля. Наилучшие, безусловно, сотканные по его подлинникам, разостланы все вместе, другие, вероятно, сработанные его учениками, современниками и товарищами по искусству, достойно смыкаются с ними и покрывают огромную анфиладу зал.

Рим, 20 июня.

Я снова вижу здесь превосходные произведения искусства, отчего дух мой очищается и крепнет. И все-таки мне бы надо было еще не менее года пробыть одному в Риме, чтобы на свой манер использовать это пребывание, а вы знаете, по-другому у меня не получается. Лишь теперь, покидая Рим, я понимаю, что́ еще не открылось мне, но пусть так, на время с меня хватит.

Геркулес из дома Фарнези увезен, но я еще успел его посмотреть на собственных его ногах, которые были ему возвращены по прошествии столь долгого времени. Загадкой осталось, как можно было удовлетворяться первыми, сделанными Порта. Теперь Геркулес — одно из совершеннейших творений

античных времен. В Неаполе король намеревается построить музей, где, под одной крышей, будет находиться все, что у него имеется из произведений искусства: Геркуланумский музей, картины из Помпей, картина с Капо-ди-Монте, все наследие Фарнези. Это великое и прекрасное начинание. Наш земляк Хаккерт привел в действие весь этот механизм. Даже Фарнезскому быку предстоит перекочевать в Неаполь, где он будет водружен на променаде. Если бы они могли прихватить из дворца галерею Караччи, они бы и перед этим не остановились.

Рим, конец июня.

Я поступил в великую, даже слишком великую школу, и скоро мне здесь ученья не закончить. Мои познания в искусстве, мои скромные таланты должны быть здесь основательнейшим образом отработаны, должны окончательно созреть, иначе к вам вернется лишь половина вашего друга, и томление, усилия, кропотливый, изнурительный труд — все начнется сызнова. Возьмись я рассказывать, как в этом месяце мне везло здесь, как все, словно на подносе, мне преподносилось, и мой рассказ станет нескончаемым. У меня хорошая квартира, милые хозяева. Тишбейн уезжает в Неаполь, а я перебираюсь в его мастерскую — большую прохладную залу. Если будете думать обо мне — думайте о счастливце. Писать я буду часто, а это значит, что мы всегда будем вместе.

Новых идей и замыслов у меня хоть отбавляй. Когда я остаюсь наедине с собой, передо мной снова встает моя ранняя юность, вплоть до мельчайших подробностей, а потом величие и высокое достоинство того, что я вижу, опять уносит меня в такие дали и выси, что, кажется, на все это и жизни не хватит. Глаза мои приобретают зоркость почти невероятную, но и руке ведь нельзя очень уж сильно отставать. На свете есть только один Рим, в нем я чувствую себя, как рыба в воде, и плаваю поверху, как пушечное ядро в ртути, которое идет ко дну в любой другой жидкости. Единственное, что омрачает атмосферу моей душевной жизни, это невозможность разделить свое счастье с вами, мои любимые. Небо все время упоительно ясное, туманная дымка повисает над Римом лишь утром и вечером. В горах, — в Альбано, Кастелло, Фраскати, я там провел три дня на прошлой неделе, — воздух всегда радостно-прозрачен. Вот где надо бы изучать природу!

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 20 июля.

За это время мне удалось обнаружить два основных моих недостатка, которые всю жизнь изводили и терзали меня. *Один* — это то, что мне никогда не удавалось усвоить *ремесло,* неотъемлемое от той области искусства, которой я хотел или должен был заняться. Оттого-то я, несмотря на врожденную и разнообразную одаренность, так мало создал и так мало совершил. Иной раз сила духа понуждала меня приступить к тому или другому сочинению, а удавалось оно или нет, это уж зависело от случая и везенья, но если я хотел сделать что-то продуманно и на совесть, то робел и никак не мог справиться с поставленной себе задачей. Второй недостаток, родственный первому, это то, что времени на работу или дело у меня всегда было меньше, чем требовалось. Так как мне дано великое счастье, вернее, способность, быстро многое обдумывать и сопоставлять, то кропотливо-последовательное исполнение мне непереносимо скучно. Теперь, подумал я, самая пора этот недостаток исправить. Я живу в стране искусства, так будет же мне позволено основательно проработать этот предмет, дабы обеспечить себе покой и радость на все оставшиеся мне годы, и перейти к чему-то другому.

Лучшего места, чем Рим, для этого не найти. Мы видим здесь не только самые различные произведения искусства, но и самых разных людей, которые серьезно работают, идут по правильному пути; в беседе с ними можно без труда и, к тому же быстро, продвинуться вперед. Слава тебе, господи, я начинаю учиться у других и многое перенимать.

Итак, душевно и физически я чувствую себя лучше, чем когда-либо. Надеюсь, вы в этом убедитесь по продукции, которую я вам пришлю, и примиритесь с моим отсутствием. В том, что я делаю и думаю, я с вами неразлучен, вообще же я здесь очень одинок и вынужден видоизменять разговоры. Впрочем, здесь это легче, чем где бы то ни было, так как с каждым находится интересная тема для беседы.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 11 августа.

Я остаюсь в Италии до следующей пасхи. Негоже мне сейчас забросить учение. Если продержусь, то достигну многого и, надеюсь, порадую друзей. Писать вам буду регулярно, произведения же свои посылать время от времени, таким образом

у вас составится представление обо мне как о живом, хотя и отсутствующем, а то ведь вы уже частенько жалели меня как присутствующего среди вас мертвеца.

«Эгмонт» закончен и в конце этого месяца уедет к вам. Я же буду с болью и тревогой ожидать вашего суждения.

Дня не проходит, чтобы я не приобрел новых познаний в искусстве и в практическом его осуществлении. Как бутылка быстро наполняется, если ее с открытым горлышком опустить в воду, так и человек, мало-мальски подготовленный и восприимчивый, полнится здесь новыми знаниями, ибо стихия искусства со всех сторон теснит его.

Хорошее лето, что стоит у вас, я мог бы заранее предсказать, живя здесь. У нас небо все время одинаково ясное, а в полдень — ужасающая жара, от которой меня до известной степени спасает моя прохладная зала. Сентябрь и октябрь я собираюсь провести на лоне природы и писать с натуры. Возможно, я опять отправлюсь в Неаполь и еще поучусь там у Хаккерта. За две недели, проведенные с ним за городом, он помог мне продвинуться вперед больше, чем сам я продвинулся бы за годы. Сейчас еще ничего тебе не посылаю, но прикопил, наверно, с дюжину, маленьких набросков, чтобы сразу прислать что-нибудь хорошее.

Эту неделю провел тихо, в усердном труде. Многому научился, главным образом в смысле перспективы. Фершаффельт, сын мангеймского директора, хорошо продумал это учение и поделился со мной своими художественными приемами. Несколько пейзажей в лунном свете уже были перенесены на доску и растушеваны, и тут же, наряду с другими, возникло еще несколько идей, пожалуй, слишком сумасбродных, чтобы упоминать о них.

Рим, 23 августа 1787 г.

Ваше милое письмо за номером 24 получил вчера, уходя в Ватикан. Я читал его и перечитывал по дороге туда, а потом в Сикстинской капелле, в минуты роздыха от пристального разглядыванья и запоминанья. Трудно даже сказать, как я жаждал, чтобы вы были здесь со мной и могли хотя бы составить себе представление о том, что в состоянии придумать и сотворить один-единственный великий человек. Тот, кто не видел Сикстинский капеллы, не в силах наглядно себе представить, на что *человек* способен. Мы читаем и слышим о множестве великих и достойных людей, но здесь его творения — живые, они у тебя над головой, перед глазами. Я мысленно беседовал с вами и хотел бы видеть эту беседу на бумаге. Вы желаете знать обо *мне!*

Как много мог бы я сказать вам, — я ведь полностью переродился, стал другим человеком, мой внутренний мир теперь наполнен до краев. Я чувствую, как сосредоточиваются все мои силы, и надеюсь еще кое-что сделать. Последнее время серьезно думал о ландшафте и архитектуре, кое-что испробовал и уже ясно вижу, куда это ведет и что мне тут по плечу.

Под конец меня еще захватила альфа и омега всего сущего, то есть человеческое тело, и я к нему приступил, шепча: «Господи, не отстану я от тебя, покуда не дашь мне своего благословения, хотя бы и пришлось мне охрометь в единоборстве с тобою». С рисунками ничего у меня не получается, я решил заняться скульптурой, и похоже, что тут я сдвинусь с места. Меня осенила мысль, которая многое мне облегчит. Говорить о ней подробно — не стоит, да и вообще лучше творить, чем говорить. Но хватит, все дело в том, что упорное изучение природы и кропотливые занятия сравнительной анатомией дали мне возможность и в природе и в древностях видеть в целом, то, что художники с трудом обнаруживают по частям, а наконец обнаружив, таят про себя, не умея сообщить это другим.

Я разыскал все свои физиономические пустячки, которые, со зла на пророка, забросил было в дальний угол, и они очень мне пригодились. Начал работу над головой Геркулеса; если дело пойдет, двинемся дальше.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 3 сентября.

Сегодня год, как я выехал из Карлсбада. Что за год! И какая странная эра началась в этот день, день рождения герцога и мой день рождения для обновленной жизни! Как я этот год использовал, мне пока еще трудно поведать и себе и другим. Но, надеюсь, придет пора, настанет прекрасный час, когда я вместе с вами, сумею подвести ему итог.

Только теперь начинается мое учение здесь, и я, можно сказать, не знал бы Рима, если бы уехал раньше. Нельзя даже вообразить, что здесь видишь, что изучаешь; вовне об этом невозможно составить себе представление.

Я опять увлекся памятниками Древнего Египта. В эти дни несколько раз ходил смотреть на Большой обелиск; он валяется в каком-то дворе среди мусора и грязи. Некогда это был обелиск Сезостриса, позднее его воздвигли в Риме уже в честь Августа, он служил еще и стрелкой солнечных часов, начертанных на Марсовом поле. Этот едва ли не древнейший и великолепнейший

из монументов теперь разбит, отдельные его поверхности обезображены (скорей всего, огнем). И все же он еще существует, и его неповрежденные стены свежи, словно вчера расписанные, — это прекраснейшая работа (конечно, в египетском духе). Я заказал гипсовые слепки со сфинкса, венчающего его верхушку, а также с других сфинксов, людей и птиц. Эти бесценные детали иметь просто необходимо, тем более что, по слухам, папа намерен вновь установить обелиск, а тогда уж до иероглифов и не доберешься. Я хочу также иметь слепки с лучших этрусских памятников. Я моделирую из глины эти изображения, чтобы получше усвоить это искусство.

5 сентября.

Не могу не написать вам в утро, ставшее для меня праздничным утром. Ибо сегодня «Эгмонт» наконец-то полностью завершен. Сделан титульный лист и перечень действующих лиц, кое-какие пропущенные места заполнены, и я заранее радуюсь тому времени, когда вы его получите и прочитаете. Приложу еще и несколько рисунков.

Кастель-Гандольфо, 12 октября 1787 г.

Гердеру

Только несколько беглых слов, но прежде всего — горячая благодарность за «Идеи»! Они для меня как бесценнейшее Евангелие, в котором соединено все самое интересное из того, что мне довелось познать в жизни. То, над чем мы так долго бились, здесь представлено с исчерпывающей полнотой. Сколько стремлений к хорошему и доброму пробудила во мне твоя книга! Пока что я успел прочитать лишь первую ее половину. Прошу тебя, вели полностью переписать то место из Кампера, которое ты приводишь на странице 159, очень хочу знать, какие именно законы он разыскал для греческого художественного идеала. Мне хорошо помнится его показ и объяснения профиля с гравюры на меди. Напиши мне об этом и прибавь все, что сочтешь для меня полезным, чтобы я был в курсе последнего, к чему в данной области привели умозрительные рассуждения, ибо я все еще остаюсь новорожденным младенцем. Сказано ли в Лафатеровой «Физиогномике» что-нибудь разумное по этому поводу? Твоему призыву касательно Форстера я охотно последую, хотя сейчас еще не понимаю, как это сделать; отдельных вопросов мне, недостаточно, я должен полностью высказать свои гипотезы и разъяснить их. А ты знаешь, как мне трудно сделать это

письменно. Извести меня, когда последний срок и куда надо это отослать. Я сижу в тростнике и вырезаю дудки так усердно, что играть на них уже не успеваю. Если я последую твоему призыву, мне придется прибегнуть к диктовке, — собственно говоря, я считаю твои слова за указание свыше. Мне кажется, что я обязан привести в порядок свой дом и закончить свои книги.

Самое трудное, что я все должен буду брать из головы, у меня при себе не имеется ни одной выписки, ни одного рисунка — ровно ничего, а новейших книг здесь и в помине нет.

В Кастелло пробуду еще недели две, я здесь живу как на курорте. Утром рисую, потом люди и люди без конца. Я рад, что вижу их всех вместе, иначе была бы сплошная докука. Здесь Анжелика, она помогает мне все переносить.

Говорят, папа получил известие, что Амстердам заняли пруссаки. В ближайшие дни газеты сообщат нам достоверные сведения. Это была бы первая военная операция, в которой наш век явил бы все свое величие. Я называю это sodezza. Без кровопролития, несколько бомб, и точка — никто больше не станет интересоваться этим делом! Будьте здоровы. Я — дитя мира и хочу вечно жить в мире со всем миром, поскольку я уже заключил его с самим собой.

ИЗ РАССКАЗА

Октябрь.

В начале этого месяца при мягкой и ясной, словом, великолепной, погоде мы наслаждались жизнью в Кастель-Гандольфо и чувствовали себя не только приобщенными к этой прекрасной местности, но как бы и ее уроженцами. Господин Дженкинс, английский торговец предметами искусств, проживал там в роскошном доме, некогда резиденции иезуитского генерала, где было достаточно комнат для целой компании друзей, достаточно зал для совместных увеселений и аркад для приятнейших прогулок.

Лучше всего сравнить это осеннее отдохновение с пребыванием на водах. Случай мгновенно сводит людей, до того не имевших понятия друг о друге. Завтраки и обеды, прогулки, пикники, серьезные и шутливые беседы способствуют быстрому знакомству и доверительности. Да и странно было бы, если бы здесь, в полнейшей праздности, когда даже болезнь и лечение никого ни от чего не отвлекают, вскоре не обнаруживалось бы своего рода избирательное сродство. Надворный советник Рейфенштейн счел за благо, и вполне справедливо, пораньше

выпроваживать нас из дому, чтобы мы успевали вдосталь налюбоваться горными видами, прежде чем нагрянувшее общество соблазнит нас занимательными разговорами и развлечениями. Мы были первыми и потому успели оглядеться в окрестностях и вынести немало пользы и наслаждения из таких прогулок под руководством опытного проводника.

Спустя некоторое время я встретил здесь красивую римлянку, мою соседку по Корсо, — она приехала вместе с матерью. С тех пор как меня стали величать «милордом», они обе отвечали на мои поклоны гораздо любезнее, но я ни разу не заговорил с ними, когда вечерами они сидели перед домом, оставаясь верным своему обету избегать знакомств, которые могли бы отвлечь меня от моей основной цели. Но тут мы встретились как старые знакомые. Пресловутый концерт послужил поводом для первой беседы, а есть ли что-нибудь приятнее римлянки, когда она, увлекшись разговором, дает себе волю, подмечает все окружающее и, не отделяя себя от него, быстро и беспечно болтает на отчетливом и благозвучном римском наречии, которое возвышает средний класс, а простолюдинам, даже самым вульгарным, придает благородство. Эти его свойства были мне известны, но никогда еще я с такой приятной наглядностью не убеждался в них.

Одновременно они представили меня молоденькой миланке, которую привезли с собою, — сестре одного из служащих господина Дженкинса. Этот молодой человек, благодаря сноровке и честности, пользовался любовью и уважением своего принципала. Обе девушки, видимо, были близкими подругами.

Между обеими красавицами, — иначе их нельзя было назвать, — существовало пусть не резкое, но весьма приметное различие. У римлянки были темно-каштановые волосы, у миланки — белокурые, кожа у одной смуглая, у другой — светлая и нежная, сочетавшаяся с глазами почти синими, у первой же глаза были темно-карие. Римлянке были присущи известная серьезность и сдержанность, миланку отличал характер открытый и завлекательный, но в то же время она, казалось, безмолвно спрашивала о чем-то. Я сидел между ними во время игры, напоминавшей наше лото; касса у меня была общая с римлянкой, в ходе игры вышло как-то так, что я стал испытывать свое счастье и с миланкой, заключал пари и т. п., другими словами, мы с ней тоже стали как бы партнерами, причем я, в своей невинности, не замечал, что не всем это по душе, покуда по окончании партии, когда я уже стоял несколько поодаль, ко мне не подошла мать темноволосой римлянки и не сказала «уважаемому иностранцу», — правда, вполне учтиво, но важно и серьезно, как

то и подобает матроне, — что если уж он, играя, вошел в долю с ее дочерью, ему не следовало брать на себя такие же обязательства в отношении другой. У них принято, и особенно в такой загородной обстановке, чтобы лица, до известной степени сблизившиеся, продолжали бы и в обществе оказывать друг другу невинные знаки внимания. Я извинился, как умел, добавив, впрочем, что чужестранцу нелегко взять на себя выполнение этого долга, ибо наш обычай требует учтивости и предупредительности ко всем дамам данного общества и что здесь мне это показалось тем более уместным, поскольку речь шла о двух близких подругах.

Но увы! Покуда я подыскивал оправдания, я вдруг ощутил, что мой выбор сделан. С молниеносной быстротой я проникся страстным чувством к миланке, как то нередко случается с праздным сердцем, что в спокойной и самодовольной уверенности ничего не страшится, ничего не желает и вдруг оказывается в непосредственной близости к наиболее желанному. В такие мгновения мы не чуем опасности, притаившемся под прелестными чертами.

На следующее утро мы встретились втроем, и чаша весов вновь склонилась в сторону миланки. У нее было еще и то преимущество перед подругой, что в ее высказываниях проскальзывала известная целеустремленность. Она не жаловалась на небрежное и к тому же очень опасливое воспитание, но говорила: «Нас не учат писать, опасаясь, что мы начнем строчить любовные письма, нас бы и читать не учили, если бы не требовалось, чтобы мы читали молитвенники; учить нас иностранным языкам — это никому и в голову не приходит, а я бы все отдала, чтобы знать английский. Я часто слышу, как мой брат и господин Дженкинс, мадам Анжелика с господином Цукки, господа Вольпато и Камуччини говорят между собою по-английски, и всегда испытываю нечто вроде зависти. Передо мной часто лежат газеты длиною в локоть, в них новостисо всего света, а я ничего узнать не могу».

«Тем более досадно, — отвечал я, — что изучить английский можно запросто. Я уверен, что вы за короткий срок его усвоите. Давайте-ка попробуем сейчас же…» И я взял одну из бесчисленных английских газет, лежавших на столе.

Бегло ее просмотрев, я остановился на одной статье, где рассказывалось, что какая-то девица упала в реку, но ее спасли и возвратили близким. Этот случай из-за разных привходящих обстоятельств оказался запутанным и даже интересным, ибо невыясненным оставалось, упала эта особа или намеренно бросилась в реку, чтобы утопиться, и еще: кто из двух ее

поклонников прыгнул за нею, любимый или отвергнутый? Я показал миланке это место и предложил ей внимательно в него вглядеться. Засим я перевел ей все имена существительные и проэкзаменовал ее, чтобы узнать, хорошо ли она запомнила их значение. Она очень скоро приметила, как они располагаются в предложении и какое именно место в нем занимают. Далее я перешел к словам, характеризующим действие, определяющим его, и т. д., шутливо разъяснил ей, каким образом они одухотворяют предложение, и так долго все это твердил, покуда она, наконец, даже без моей просьбы не прочитала весь отрывок так, словно он был написан по-итальянски, впрочем, далось это милому созданию не без трогательного волнения. Мне редко случалось видеть такую искреннюю и глубокую радость, с какою она благодарила меня за то, что с моей помощью ей удалось заглянуть в эту совсем новую для нее сферу. Она долго не могла прийти в себя, убедившись, что вскоре, вероятно, сможет осуществить свое заветное желание.

Общество стало многолюднее, пришла и Анжелика. За большим накрытым столом ее усадили справа от меня, моя ученица стояла по другую сторону стола, но когда все стали рассаживаться, не долго думая, подошла и села возле меня. Строгая моя соседка не без удивления на нее взглянула, — впрочем, и без взгляда этой умной женщине было понятно, что здесь что-то произошло и ее друг, сухо, почти невежливо обходившийся с женщинами, наконец-то стал ручным, более того — попал в плен.

Внешне я еще кое-как держался и внутренняя моя взволнованность сказывалась разве что в смущении, окрашивавшем мой разговор с обеими соседками; я старался развлечь старшую, добрую мою приятельницу, на сей раз очень молчаливую, другую же, казалось, зачарованную незнакомым языком и все еще находившуюся в состоянии человека нежданно-негаданно ослепленного вожделенным светом и потому несколько растерянную, стремился успокоить дружеским, но сдержанным участием.

Впрочем, в этом моем взбудораженном настроении внезапно наступил перелом. Под вечер, разыскивая обеих молодых девушек, я наткнулся на пожилых дам, сидевших в одном из павильонов, откуда открывался поистине прекрасный вид. Я огляделся кругом, но моему взору открылась не просто живописность пейзажа; вся местность была залита каким-то необычайным светом; приписать его только закату и вечернему ветерку было невозможно. Багряную окраску холмов, прохладную синюю тень низменностей я доселе не видел ни на одной

картине, будь то масло или акварель. Я не мог вдосталь на все это наглядеться, однако понимал, что меня тянет уйти отсюда, дабы в тесном и участливом кружке последним взглядом восславить заходящее солнце.

Но увы, я не решился отказаться от приглашения матери и соседок побыть с ними, тем более что они освободили мне место у окна, из которого открывался этот божественный вид. Прислушавшись к их разговорам, я уразумел, что речь идет о приданом, — тема вечная и неисчерпаемая. Они перечисляли все, о чем необходимо позаботиться, равно как количество и качество различных даров, так и основные подношения родни, разнообразные подарки друзей и подруг, какие именно, было еще покрыто мраком неизвестности, — словом, все эти пустяки отняли у меня драгоценное время, увы, я был вынужден терпеливо все это выслушивать, тем паче что дамы потащили меня еще и на вечернюю прогулку.

Наконец, разговор зашел о достоинствах жениха, о нем судили более или менее снисходительно, впрочем, не умалчивали и о его недостатках, тешась надеждой, что прелесть, ум и добросердечие невесты в браке сумеют одолеть их.

Потеряв терпение, в миг, когда солнце вдали уже спускалось в море и нам открылся иной, все равно неописуемо прекрасный вид — длинные тени и слегка смягченные, но все еще мощные полосы света, — я скромно спросил: а кто же невеста, о которой идет речь? Все были удивлены: неужто я не знаю того, что уже общеизвестно. И только тут им пришло на ум, что я человек не здешний, а чужестранец.

Не стоит говорить, какой ужас объял меня, когда я услышал, что невеста — моя недавняя ученица, которую я, однако, успел полюбить. Солнце село, и мне под каким-то предлогом удалось отделаться от компании, неведомо для себя преподавшей мне столь жестокий урок.

Всем с давних пор известно, что нежные чувства, которым ты неосторожно предаешься в течение некоторого времени, внезапно разбуженные от блаженного сна, зачастую оборачиваются нестерпимой болью, но этот случай, пожалуй, интересен тем, что живое взаимное влечение было разрушено в самом зачатке, а вместе с ним и предвкушение великого счастья, которое подобное чувство сулит нам в будущем своем развитии. Я поздно воротился домой, а рано утром, извинившись, что не приду к обеду, и захватив альбом для рисования, отправился в путь.

Мне было уже немало лет, и опыта у меня имелось достаточно, чтобы хоть и с болью, но быстро овладеть собою. Куда бы это годилось, воскликнул я, если бы Вертерова судьба

настигла меня в Риме и отравила мне все значительное и тщательно сберегаемое время.

Я возвратился к заброшенной мною пейзажной живописи, стараясь тщательно подражать природе, но мне удавалось разве что лучше видеть ее. Техники, мною выработанной, едва доставало на скромные наброски, но ту полную телесность, которую являли нам эти места, с их скалами и деревьями, кручами и обрывами, тихими озерами и быстрыми ручейками, я видел теперь зорче, чем в свое время, и потому не роптал на страдания, до такой степени обострившие мое внутреннее и внешнее зрение.

В дальнейшем я буду краток. Толпы постояльцев наполнили наш дом и дома по соседству, теперь можно было почти неприметно избегать общения, а внимательная учтивость, к которой располагают любовные тревоги, всегда бывает хорошо принята обществом. Мое поведение было всем по душе, и у меня ни с кем недоразумений не возникало, только один раз вышла небольшая неприятность с хозяином, господином Дженкинсом. Дело в том, что из дальней прогулки по горам и лесам я принес с собою очень аппетитные на вид грибы и отдал их повару; тот был в восторге, что может приготовить редкое, но очень известное в этих местах кушанье. Он вкуснейшим образом их зажарил и подал на стол. Грибы всех привели в восхищение; но когда кто-то, желая меня почтить, объявил, что я принес их из лесной глухомани, наш английский хозяин озлился, хотя и промолчал, что его постоялец попотчевал остальных гостей блюдом, о котором сам хозяин ничего не знал и которого не заказывал. Вообще не гоже постороннему удивлять гостей за его столом яствами, за которые он не может нести ответственность. Все это советнику Рейфенштейну пришлось дипломатически разъяснить мне после обеда, на что я, страдая от совсем иной боли, чем та, которую могут причинить грибы, скромно отвечал: «Я был уверен, что повар доложит об этом своему хозяину. — И добавил — Если я еще раз набреду на грибы, то, конечно же, первым делом принесу их на пробу и на рассмотрение нашему уважаемому хозяину». Ведь неудовольствие его было вызвано тем, что это и вообще-то сомнительное кушанье было подано на стол без предварительной проверки. Правда, повар заверил меня и напомнил своему хозяину, что грибы хоть и не часто, но подаются к столу в это время года, как особый деликатес, неизменно пользующийся успехом.

В тиши я посмеялся над тем, во что вылилась эта кулинарная авантюра; сам я, неосторожно отравленный ядом особого свойства, был заподозрен в намерении отравить своих

сотрапезников, и тоже по неосторожности.

Провести в жизнь принятое мною решение было нетрудно. Я стал уклоняться от уроков английского, рано поутру уходя из дому, и никогда не приближался к миланке, если она была одна.

Вскоре и эти волнения улеглись в моей вечно занятой душе, и, кстати сказать, достаточно безболезненно. Отныне я смотрел на нее как на невесту, на будущую супругу, что возвысило ее над тривиальным положением девицы, и хотя мое влечение к ней оставалось неизменным, но оно стало полностью бескорыстным, и я, не будучи больше легкомысленным юношей, теперь относился к ней с дружеской симпатией. Мое служение ей, если можно так назвать непринужденную внимательность, отнюдь не было назойливым, а разве что, при встречах, глубоко почтительным. Думается, и она, убедившись, что мне все известно, была довольна моим поведением. Окружающие либо ничего не замечали, поскольку я со всеми охотно беседовал, либо, действительно, ничего худого в наших с ней отношениях не видели. Итак, дни и часы текли столь же мирно, сколь и приятно.

О разнообразных развлечениях можно было бы порассказать немало. Здесь даже и театр был, где Пульчинелла, которому мы без устали хлопали во время карнавала, — в обычное время он был башмачником, да и вообще слыл добропорядочным бюргером, — охотно потешал нас своими пантомимически-лаконическими выходками и умело показывал нам уютное ничтожество нашего бытия.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

…Между тем по письмам из дому я стал замечать, что мое путешествие в Италию, которое так долго проектировалось, все время откладывалось и наконец было предпринято почти внезапно, вызвало у моих оставшихся дома друзей известное беспокойство, нетерпеливость и даже желанье последовать за мной и, в свою очередь, насладиться счастьем, о котором им давали весьма заманчивое представление мои радостные, а иной раз и наставительные письма. Правда, в одухотворенном и поистине любящем искусство кружке герцогини Амалии Италия уже издавна почиталась новым Иерусалимом доподлинно образованных людей, и стремление в эту страну, такое страстное, что его могла бы выразить, пожалуй, только Миньона, постоянно горело в их сердцах и мыслях. Наконец плотину прорвало, и мало-помалу стало очевидно, что как герцогиня Амалия и близкие ей лица, а также Гердер и младший Дальберг всерьез

готовятся к переходу через Альпы. Я советовал им, переждав зиму, приехать в Рим ближе к середине года и затем, уже постепенно, наслаждаться всем прекрасным, что могла им предоставить древняя столица мира, ее окрестности, равно как и юг Италии.

Однако совет мой, честный и благоразумный, все же клонился и к моей выгоде. Наиболее примечательные дни своей жизни я до сих пор прожил в начисто чуждых мне условиях, среди совершенно чужих людей, по правде говоря, радуясь, что после долгого времени я опять был только человеком среди мне подобных, с коими у меня установились хоть и случайные, но все же вполне естественные отношения, тогда как жизнь в замкнутом кругу соотечественников, досконально знакомых и близких, в конце концов ставит нас в положение достаточно ненатуральное. Взаимная терпимость, интерес к судьбам близких часто заставляют нас пренебрегать собственными интересами; отсюда возникает некая безропотная покорность, привычка, взаимно уничтожающая боль и радость, досаду и удовольствие, — словом, среднее арифметическое, безусловно, снижающее характер отдельных результатов, так что под конец, в стремлении к удобству и покою, ты уже не можешь всей душой предаваться ни радости, ни горю.

Охваченный такого рода чувствами и чаяниями, я твердо решил не дожидаться в Италии прибытия моих друзей. Мне было тем более ясно, что мое восприятие окружающего не станет тотчас же их восприятием, ибо я и сам в продолжение целого года старался отделаться от киммерийских представлений и образа мыслей северянина, привыкая свободнее оглядываться вокруг и свободнее дышать под голубым сводом южного неба. Приезжие из Германии обычно бывали мне в тягость, — они доискивались того, о чем им следовало бы забыть, и не узнавали то, что давно желали видеть и что было у них перед глазами. Мне и самому-то приходилось тяжело, размышляя и трудясь, держаться того пути, который я избрал, только его считая истинным.

Незнакомых немцев я, конечно, мог избегнуть, но люди, столь тесно со мной связанные, мною любимые и почитаемые, разумеется, вконец сбили бы меня с толку своими блужданиями и половинчатыми открытиями, даже попытками усвоить мой образ мыслей. Путешественник-северянин воображает, что едет в Рим, дабы найти supplement[7] своему бытию, восполнить то, чего ему недостает, однако со временем, к вящему своему огорчению, убеждается, что ему необходимо в корне изменить свое восприятие окружающего и все начать сначала.

Уяснив себе, как обстоит дело, я продолжал оставаться в

полном неведении относительно срока их приезда и только старался по мере сил использовать время. Попытки мыслить самостоятельно, прислушиваться к другим, внимательно наблюдать за устремлениями художников, практически усваивать их опыт — одно непрерывно сменялось другим, вернее, одно тесно сплеталось с другим.

К этому меня особенно поощряло участливое отношение Генриха Мейера из Цюриха: наши беседы, пусть редкие, всегда шли мне на пользу, ибо этот усердный и взыскательный к себе мастер умел лучше распорядиться своим временем, чем молодые художники, полагавшие, что серьезные успехи в теории и технике живописи вполне совместимы с легкомысленной и веселой жизнью.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 3 ноября 1787 г.

Приехал Кайзер, и я потому не писал целую неделю. Он еще только настраивает инструмент, чтобы постепенно проиграть нам всю оперу. Его присутствие является для меня совсем особой эпохой, из чего я заключаю — надо спокойно идти своей дорогой, а течение времени уж принесет с собою все наилучшее или наихудшее.

Прием, оказанный моему «Эгмонту», сделал меня счастливым; надеюсь, что вторичное чтение никого не разочарует, я-то знаю, сколько я вложил в него, и знаю, что за один раз всего этого не вычитаешь.

Я хотел сделать то, что вы хвалите в нем, и если вы скажете, что я это сделал, значит, я достиг своей конечной цели. Задача у меня была невыносимо трудная, и никогда бы мне ее не выполнить, не будь у меня неограниченной свободы жизни и духа. Подумайте, что это значит: взяться за пьесу, написанную двенадцать лет тому назад, и завершить ее без всяких переделок. Время и особые обстоятельства облегчили мне труд, но и отяжелили его. А теперь еще две такие глыбы лежат передо мной. Но так как милосердные боги на будущее, видимо, пожелали избавить меня от Сизифова труда, я надеюсь и эти глыбы втащить на гору. Если я доберусь с ними до вершины, опять начну что-нибудь новое и сделаю все возможное, дабы заслужить ваше одобрение, — ведь вы дарите меня своей прочной любовью, и совсем незаслуженно.

Твои слова о Клерхен мне не совсем понятны, и я жду от тебя следующего письма. Похоже, что тебе недостает какого-то

оттенка между девкой и богиней. Но раз уж я придал столь необычный характер ее отношению к Эгмонту, ее любовь изобразил как сознание совершенств любимого, ее экстаз как восторг и удивление, что такой человек принадлежит ей, сделал ее героиней, изъяв из мира чувственности; и она, неколебимо веруя в вечность любви и в смерть, идет за своим возлюбленным и, наконец, во все преображающем сне, богиней предстает перед его душой, — то я и не знаю, куда мне вставить этот промежуточный оттенок. Я отлично понимаю, что в силу ерундовых драматических законов все вышеперечисленные акценты слишком отрывочны и мало связаны, вернее, связаны очень темными намеками, но, может быть, тебе придет на помощь повторное чтение, и в следующем письме ты точнее выразишь свою мысль.

Анжелика сделала титульный лист к «Эгмонту», Липс выгравировал его, в Германии из этого вряд ли бы что-нибудь получилось.

Рим, 24 ноября.

В последнем письме ты спрашиваешь, каков колорит здешних пейзажей. На это я могу тебе ответить, что в ясные дни, в особенности осенью, он до того *красочен,* что на холсте или на бумаге неминуемо покажется *пестрым.* Надеюсь в ближайшее время прислать тебе несколько работ, сделанных немцем, который сейчас находится в Неаполе. Акварель, конечно, никак не передает блистательной красоты природы, и все же вам такая яркость покажется немыслимой. Самое же прекрасное то, что даже на малом расстоянии краски смягчены тоном воздуха, и контрасты холодных и теплых тонов (как это называют художники) видны совершенно отчетливо. Синеватые прозрачные тени прелестно отличаются от освещенных тонов — зеленых, желтоватых, красно-розовых и бурых, сочетаясь с голубоватой воздушной далью. Это и блеск и гармония, нескончаемая шкала оттенков, о которой на севере понятия не имеют. У вас все резко или тускло, пестро или однотонно. Я, во всяком случае, не упомню, чтобы мне приходилось видеть хотя бы более или менее близкое тому, что я ежедневно и ежечасно вижу здесь. Возможно, теперь мой глаз, уже более изощренный, разглядел бы красоты и на севере.

Вообще-то могу сказать, что я уже различаю, более того — вижу перед собой прямые пути ко всем изобразительным искусствам, но, увы, тем яснее отдаю себе отчет в их длине и широте. Я уже в таком возрасте, что обязан заниматься делом, а не поделками; смотря на других, я замечаю, что многие идут по

верному пути, но не слишком далеко заходят. Значит, и здесь все обстоит так же, как со счастьем и мудростью, прообразы коих нам только мерещатся, и мы разве что прикасаемся к их подолу.

Приезд Кайзера, время, потраченное на то, чтобы устроиться поудобнее, несколько отбросило меня назад, работа остановилась. Теперь все уже в порядке, и мои оперы вот-вот будут готовы. Кайзер человек очень славный, умный, положительный и надежный. В своем искусстве он неколебим и уверен, — словом, из тех людей, близость которых действует оздоровляюще. При этом он добр, обладает правильным взглядом на жизнь и общество, что делает его довольно суровый характер более гибким, а обхождению придает своеобразную грацию.

ИЗ РАССКАЗА

Я уже в тиши подумывал о неторопливом отступлении, как вдруг возникла новая задержка — приехал мой старый и добрый друг Кристоф Кайзер, уроженец Франкфурта, который начал свою деятельность одновременно с Клингером и другими нашими единомышленниками.

Одаренный интересным музыкальным талантом, он уже много лет тому назад написал музыку к «Шутке, хитрости и мести», а позднее начал работу над музыкой к «Эгмонту». Я сообщил ему из Рима, что моя трагедия отослана, но одна копия осталась у меня на руках. Вместо долгой переписки мы решили, что он сам без промедления сюда приедет. Кайзер и вправду промчался через Италию с курьерской быстротой и был дружески принят в кругу художников, основавших свою штаб-квартиру на Корсо, против Ронданини.

Но тут весьма скоро вместо столь необходимой мне сосредоточенности и серьезности пошли сплошные развлечения и пустая трата времени.

К тому же несколько дней прошло, прежде чем мы обзавелись инструментом, испробовали его, настроили и наконец установили так, как того хотел капризный музыкант, пожеланиям и требованиям которого, казалось, конца не будет. Надо, впрочем, сказать, что за все усилия и потерю времени мы были вознаграждены виртуозным исполнением наиболее трудных пьес того времени талантливым пианистом. А дабы знатоки музыки сразу поняли, о чем идет речь, замечу, что в то время недосягаемой музыкальной величиной почитали Шубарта, и еще — что надежнейшим экзаменом для виртуоза считалось исполнение вариаций, в которых простая тема, сложнейшим

образом разработанная, проходит через всю пьесу, исчезает и под конец, снова возвратившись, позволяет слушателю вздохнуть с облегчением.

Симфонический аккомпанемент к «Эгмонту» он привез с собою, отчего во мне ожило в силу необходимости и личной заинтересованности влечение к музыкальному театру.

…Присутствие нашего Кайзера повысило и расширило любовь к музыке, до сих пор бывшей для меня лишь, дополнением театрального спектакля. Он аккуратно отмечал все церковные праздники, что и нас обязывало в праздничные дни слушать торжественную церковную музыку. Правда, она уже приобрела вполне светский характер и была рассчитана на полный оркестр, хотя пение все-таки преобладало. Помните, в день святой Цецилии я впервые услышал виртуозно исполненную арию в сопровождении хора, она оставила во мне неизгладимое впечатление, какое подобные арии в театре и до сих пор производят на публику.

Генрих Мейер из Цюриха, о котором я уже упоминал по самым различным поводам, хотя и жил очень уединенно, всецело предаваясь своей работе, но никогда не пренебрегал случаем побывать там, где можно было увидеть, узнать, изучить что-либо интересное и значительное. Кстати сказать, и другие искали встречи и знакомства с ним, ибо в обществе он хотя и держался весьма скромно, но широта его знаний всем была известна. Он уверенно и неторопливо шел по пути, проложенному Винкельманом и Менгсом, и превосходно писал сепией, в манере Зейдельмана, античные бюсты, почему и мог, лучше чем кто-либо другой, изучать и опознавать едва уловимые оттенки более раннего и позднейшего искусства древних.

Когда мы собирались при свете факелов посетить музеи Ватикана и Капитолия, — мечта всех приезжих, художников, знатоков искусства и дилетантов, — он пожелал присоединиться к нам. В своих бумагах я нашел одну из его статей, благодаря которой осмотр этих изумительнейших остатков древнего искусства, обычно сохраняющийся в душе как восхитительный, мало-помалу гаснущий сон, обрел непреходящее значение, обогащенный знаниями и подлинным проникновением в сие великое искусство.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 25 декабря.

На сей раз Христос родился под раскаты грома и блистанье

молний, — как раз в полночь у нас была сильная гроза.

Блеск величайших творений искусства меня более не ослепляет. Я предаюсь только созерцанию, стремлению познать и разграничить. Трудно даже сказать, сколь многим я в этом смысле обязан некоему тихому, прилежному в своем одиночестве швейцарцу по имени Мейер. Он впервые раскрыл мне глаза на детали, на свойство отдельных форм, на то, *как* все это делается. Он скромен, довольствуется малым и наслаждается произведениями искусства больше, чем знатные владельцы таковых, чем другие художники, которых отпугивает собственная жажда подражания недостижимому. Ему дарована божественная ясность понятий и ангельская доброта сердца. Не было у нас с ним такого разговора, чтобы мне не хотелось записать все им сказанное, так это было определенно, правильно, так он всегда умел описать единственно правдивую линию, выбранную тем или иным художником. Обучая меня, он дает мне то, чего ни один человек не мог бы дать, его отсутствие будет для меня невозместимо. Вблизи от него я надеюсь с течением времени подняться в рисовании еще на одну ступень, о которой пока что и помыслить не смею. Все, чему я учился в Германии, что предпринимал и думал, относится к его руководительству так же, как кора дерева к его плоду. Нет у меня слов выразить то смиренное, но и бодрое блаженство, с каким я начал теперь смотреть на произведения искусства. Дух мой достаточно расширился, чтобы их постигнуть.

ИЗ РАССКАЗА

Декабрь.

…В окрестностях Рима, неподалеку от Тибра, стоит небольшая церковь, называемая «У трех источников»; по преданию, эти источники забили из земли, на которую текла кровь святого Павла во время усекновения его главы, и бьют еще и доныне.

Церковь стоит в низине, и, конечно же, забранные в трубы источники, находящиеся внутри, еще приумножают дымку сырости. Почти лишенная украшений и, можно сказать, запущенная, — ибо уборка там производится лишь перед редкими богослужениями, плесень же все равно остается, — она между тем дивно украшена изображениями Христа и всех апостолов на колоннах центрального нефа, исполненных в красках в натуральную величину по рисункам Рафаэля. Несравненный этот гений однажды уже изобразил сих благочестивых мужей всех

вместе и в одинаковых одеяниях. На этот раз, когда они существуют как бы по отдельности, он каждому придал особые отличия, подчеркнув, что сейчас апостол уже не в свите господа; после вознесения господня он предоставлен самому себе, и ему предстоит жить, действовать и страдать лишь соответственно своему характеру.

Дабы и вдали радоваться совершенству этих изображений, мы сохранили копии рисунков Рафаэля, сделанные преданной рукой Марка Антона, которые нередко служили нам поводом освежить в памяти виденное и записать кое-какие наблюдения.

От этой небольшой скромной церквушки недалеко и до другого, большего памятника высокочтимому апостолу: до церкви *«Святого Павла под стенами»,* монумента, искусно и величественно сложенного из прекрасных древних обломков. Вход в эту церковь волнует и поражает: ряды мощных колонн как бы держат высокие расписанные стены, сверху замкнутые деревянными, положенными крест-накрест балками перекрытия, — правда, нынче наш избалованный взгляд воспринимает их едва ли не как перекрытие амбара, хотя в целом, если бы в праздники деревянные связки завешивались коврами, это производило бы невероятное впечатление. Здесь обломки колоссальных, сложнейшим образом орнаментированных капителей, перевезенные из руин некогда близлежащего, ныне уже не существующего дворца Каракаллы, нашли себе почетное и сохранное место.

Ристалище, — оно все еще носит имя этого императора, — в большей своей части рухнувшее, и поныне дает нам представление о необозримой своей грандиозности. Если художник станет слева от ворот, через которые выезжали на арену, то выше, справа от него, над развалившимися сиденьями для зрителей, будет находиться гробница Цецилии Метеллы в окружении новейших здании, от этой точки линия сидений уходит в бесконечность; в отдалении же можно разглядеть прекрасные виллы и загородные дома. Взор, обращенный вспять, сумеет различить развалины Спи́ны, а человек, наделенный архитектоническим воображением, сумеет до известной степени представить себе высокомерие того времени. Во всяком случае, руины, простертые перед нашим взором, позволили бы остроумному и знающему художнику создать хорошую картину, которая была бы в длину раза в два больше, чем в высоту.

Пирамиде Цестия мы на сей раз поклонились лишь снаружи, а развалины терм Антонина или Каракаллы, о которых столько эффектного насочинил Пиранези, в наши дни едва ли бы

удовлетворили даже опытный взгляд живописца. Здесь, впрочем, уместно будет вспомнить о Германе фон Шванефельде: он бы мог своей изящной иглой, воссоздававшей чувство прекрасного, чувство природы, вызвать к жизни это прошлое, и даже более — преобразить его в прелестное воплощение живого и ныне существующего.

На площади Св. Петра в Монторио мы полюбовались Аква-Паола, где воды пятью потоками лились через ворота и проходы Триумфальной арки, до краев наполняя большой бассейн. По восстановленному Павлом V акведуку это многоводье совершает сюда двадцатипятимильный путь от озера Брачиано причудливыми зигзагами из-за сильно пересеченной местности, на этом пути поит многочисленные мельницы и фабрики, чтобы, расширяясь, наконец, достигнуть Трастевере.

Почитатели зодческого искусства не могли нахвалиться счастливой мыслью — предоставить этим потокам зримый вход. Колонны, арки, выступы и аттики напоминают нам о пышных вратах, через которые некогда вступали в город отважные победители. Теперь с не меньшей мощью и силой сюда вступает кормилец, мирный из мирных, взимая дань восхищенья и благодарности за тяготы своего дальнего пути. Надписи на воротах гласят, что благодаря попечениям папы из дома Боргезе вседержитель здесь держит свой вечный триумфальный въезд.

Впрочем, один недавно приехавший сюда северянин заметил, что лучше было бы нагромоздить необтесанные скалы, чтобы воды естественно выходили на свет божий. Ему возразили: это-де потоки не естественные, а искусственные и, таким образом, прибытие их отмечено вполне правомерно.

Возник спор, и мы долго не могли прийти к согласию, так же как и по поводу изумительного «Преображения» в соседнем монастыре, куда мы, воспользовавшись случаем, тотчас же отправились. Разговоров было не обобраться. Менее страстные спорщики только сердились, что здесь мы снова наталкиваемся на старый упрек касательно двойного действия. Но это всегда так: обесцененная монета все же имеет хождение наряду с полноценной, в особенности когда надо поскорее закончить какую-нибудь сделку или без долгих размышлений сгладить возникшие разногласия. Удивительно то, что многие продолжали отрицать единство этой великой концепции. В отсутствие самого святого безутешные родители приводят к его ученикам одержимого бесом мальчика; те, вероятно, уже делали попытки изгнать злого духа и даже раскрыли книгу, надеясь найти в ней старинную формулу, излечивающую страшный недуг, но, увы, тщетно. В это мгновение появляется единственно всемогущий,

признанный праотцами, теми, что внизу поспешно указывают друг другу на это видение — на преображение господне. Как же тут можно верхнее отделить от нижнего? Они едины: внизу — страдание, нужда, вверху — спасительное; это — взаимодействие и взаимовлияние. Можно ли, говоря иными словами, воздействие идеальное отделить от действительного?

Единомышленники тем временем еще укрепились в своих убеждениях; «Рафаэля, — говорили они друг другу, — всегда отличало правильное мышление, так неужто же этот взысканный богом человек, чей гений сказывается в таком мышлении, в цвете лет столь ошибочно мыслил и ошибочно действовал? Нет! он всегда прав, как права сама природа, и всего более права в том, что нам всего непонятнее».

Что ни говори, у каждого должна быть возможность на свой лад воспринимать произведения искусства. В то время, как мы вновь совершали свой обход Рима, я понял, что значит чувство, понятие, наглядное представление о том, что мы вправе в высшем смысле этих слов назвать близостью классической почвы. Я это называю чувственно-духовным убеждением: здесь было, есть и будет великое. Что величайшее и великолепнейшее не вечно — заложено в самой природе времени и неизбежном взаимопротиводействии физических элементов. Во время обычного нашего осмотра произведений искусства мы, не печалясь, проходили мимо развалин, скорее даже радовались тому, что столь многое еще сохранилось и столь многое восстановлено, причем пышнее и грандиознее, чем было в свое время.

Громада собора св. Петра, несомненно, была так задумана, разве что еще грандиознее и смелее, чем любой древний храм, и не только то, чему суждено было разрушаться в течение двух тысячелетий, открывалось теперь нашему взору, но одновременно и то, что наново сумела создать более высокая культура.

Даже колебания художественного вкуса, стремление к величавой простоте, возврат к мелкому украшательству — все говорило о жизни, о движении, история искусства и история человечества синхронистически вырастала перед нами.

Мы не вправе быть подавленными навязчивой мыслью о том, что великое не вечно; напротив, раз мы считаем — прошлое было великим, это должно нас подстрекать к созданию чего-то большого, значительного, что могло бы, даже если оно уже лежит в развалинах, подвигнуть на благородную деятельность, как нас подвигли наши предки.

Эти поучительные и возвышающие душу размышления были не то чтобы остановлены или прерваны, но они переплелись с горестью, не оставлявшей меня ни на минуту: мне стало известно, что жених прелестной девушки из Милана взял назад свое слово и, не знаю уж, под каким предлогом, отрекся от невесты. Я был счастлив, что не поддался своей склонности и вовремя отошел от милой девочки, тем паче что, по наведенным мною справкам, среди предлогов, на которые позднее ссылался жених, наше с нею совместное пребывание за городом не было даже упомянуто, и все-таки мне было очень больно представлять себе очаровательный образ, так весело и радостно повсюду меня сопровождавший, унылым и печальным, ибо вскорости до меня дошел слух, что из-за этой истории бедняжка слегла в приступе жестокой горячки, заставившей всех опасаться за ее жизнь. Я ежедневно, первое время даже два раза в день, справлялся о ее здоровье, меж тем как моя фантазия мучила меня представлениями о чем-то невозможном: эти прелестные нежные черты, неотъемлемые от ясного, радостного дня, это выражение неторопливой безмятежности, эта затуманенная слезами, искаженная болезнью, юная свежесть, обездоленная, безвременно поблекшая от душевных и телесных страданий.

При таком расположении духа существовал, однако, и противовес — чреда тех великих произведений искусства, что, проходя перед моим взором, тешили его и давали ему работу, фантазию же мою возбуждали своим непреходящим достоинством. Само собой разумеется, что едва ли не все эти впечатления были проникнуты глубокой печалью.

Если памятники старины после многих столетий в большинстве своем распадались на бесформенные груды, то новейшие, стройно вздымающиеся, великолепные строения позднее вызывали сожаление о многих семьях, с годами пришедших в упадок, и даже все, что было еще исполнено жизненных сил, казалось, уже подтачивает незримый червь. Да и то сказать, — разве возможно, чтобы в наши дни земное устояло без физической силы, опираясь лишь на религию и нравственность? Жизнерадостный дух счастлив, если ему удается вернуть к жизни руину, восстановить рухнувшие стены или какую-то часть здания наподобие живой, вечно восстанавливающейся природе; дух же, омраченный печалью, так и норовит лишить все живое красоты, явить его нам обнаженным скелетом.

Я даже не решился ехать в горы, хотя эта поездка была задумана нашей веселой компанией еще до наступления зимы, покуда не уверился, что больная пошла на поправку, и не принял

мер, чтобы получать вести о ней и в тех местах, где я познакомился с нею, веселой и обворожительной, в прекрасные осенние дни.

Уже в первых письмах из Веймара об «Эгмонте» имелись замечания о том и о сем; при этом оправдалась старая истина, что любитель искусства, лишенный поэтического чутья и закоснелый в своем мещанском довольстве, спотыкается именно на тех местах, где поэт стремился разрешить определенную проблему, скрасить или как-то скрыть ее. Все должно идти своим естественным путем, полагает такой читатель; но ведь и необычное может быть естественным, хотя с этим никогда не согласится тот, кто упорствует в своей точке зрения. Я получил письмо приблизительно такого содержания и, сунув его в карман, отправился на виллу Боргезе; там я прочитал, что некоторые сцены зритель сочтет слишком растянутыми. Я было задумался, но понял, что и теперь не мог бы их сократить, ибо в них развиты мотивы наиболее существенные. Подруги мои прежде всего порицали краткость завещания, в котором Эгмонт препоручает свою Клерхен Фердинанду.

Отрывок из моего ответного письма даст наилучшее представление о моих тогдашних взглядах и моем душевном состоянии.

«Как бы мне хотелось исполнить ваше желание и кое-что изменить в завещании Эгмонта! В дивное утро я поспешил с вашим письмом на виллу Боргезе, битых два часа думал обо всем ходе пьесы, о действующих лицах, об их взаимоотношениях и не нашел, что можно было бы сократить. С какой охотой я бы изложил вам свои соображения, свои pro и contra, на это мне потребовалась бы целая тетрадь и я бы написал диссертацию о построении пьесы. В воскресенье я пошел к Анжелике и поставил перед нею вопрос относительно разных изменений. Она, можно сказать, изучила «Эгмонта», и у нее имеется переписанный экземпляр. Если бы ты была свидетельницей того, как по-женски тонко она все разобрала и свела к тому, что слова, которые вы бы хотели услышать из уст героя, заключены в сути данного явления. Анжелика полагает: раз в этом явлении говорится лишь о том, что происходит в душе спящего героя, то никакие слова не могли бы выразительнее сказать, как он ее любит и ценит, нежели этот сон, не только поднимающий до него прелестную девушку, но возносящий ее над ним. Анжелике пришлось очень по душе, что тот, кто всю жизнь грезил наяву, превыше всего ценя жизнь и любовь, вернее, наслаждение, которое они дают, под конец грезит во сне, как грезил наяву, и мы без слов узнаем, как глубоко

возлюбленная проникла в его сердце, какое почетное и высокое место ей в нем отведено. Она много говорила и о том, что в сцене с Фердинандом Клерхен выступает лишь в подчиненной роли, дабы не умалить интереса прощания с юным другом, который в эти минуты все равно уже ничего не слышит и не понимает».

РИМСКИЙ КАРНАВАЛ (1787)

Принимаясь за описание римского карнавала, мы боимся, как бы нам не возразили, что такое торжество, собственно, нельзя описать. Ведь столь большая масса чувственных предметов должна непосредственно двигаться перед глазами, чтобы каждый мог на свой лад созерцать и воспринимать ее.

Но такое возражение кажется нам тем более несостоятельным, что мы по опыту знаем — на чужеземного зрителя, который впервые видит римский карнавал и ограничивается лишь зрительным его восприятием, он не производит ни целостного, ни приятного впечатления, ибо не слишком услаждает взор и не приносит удовлетворения духу.

Длинная и узкая улица, на которой топчется бесчисленное множество людей, необозрима; глаз почти ничего не различает в той сутолоке, которую он в состоянии охватить. Движение здесь однообразно, шум одуряет, конец праздничных дней оставляет нас неудовлетворенными. Но все эти сомнения рассеются, как только мы перейдем к описанию и главным станет вопрос, удастся оно нам или нет.

Римский карнавал — праздник, который, собственно, не дается народу, но который народ дает сам себе.

Государство мало участвует в его устроении, мало расходуется на него. Хоровод веселья движется сам собою, и полиция только снисходительно направляет его.

Это не праздник, ослепляющий зрителя наподобие многих церковных праздников Рима; здесь нет фейерверка, из окон замка Сант-Анджело составляющего неповторимое, поразительное зрелище; здесь нет иллюминации собора и купола св. Петра, восхищающей и привлекающей столько чужеземцев из разных стран; нет блистательной процессии, при приближении которой народу положено молиться и изумляться; здесь только подан знак, что каждый может сумасбродствовать и беситься сколько вздумается и что, кроме драк и поножовщины, ему дозволено почти все.

Различие между высшими и низшими на мгновение кажется снятым; все вперемешку, каждый легко относится ко всему, что встречается на его пути, а взаимная дерзость и свобода обращения уравновешиваются всеобщим благодушием.

В эти дни римлянин, еще и в наше время, радуется, что рождество Христово хоть и отодвинуло на несколько недель

праздник Сатурналий, но не вовсе уничтожило его.

Мы попытаемся вызвать в воображении наших читателей все утехи и все упоение этих дней. Мы также льстим себя надеждой оказать услугу как тем, кому однажды уже довелось присутствовать на римском карнавале и кого теперь порадует живое воспоминание о той поре, так и тем, кому еще предстоит поездка в Рим и кому эти немногие страницы помогут обозреть и ощутить суматошную и быстротечную радость карнавала.

КОРСО

Римский карнавал сосредоточивается на Корсо. Корсо — улица, которая ограничивает и определяет всенародное торжество этих дней. В любом другом месте это был бы уже другой праздник; и посему мы прежде всего должны описать Корсо.

Название свое, как и многие длинные улицы итальянских городов, она получила от конских ристаний, которыми в Риме заканчивается каждый карнавальный вечер, а в иных местах и прочие празднества — день местного патрона, престольные праздники.

Улица эта, прямая, как стрела, ведет от Пьацца-дель-Пополо к Венецианскому дворцу. Длиною примерно в три тысячи пятьсот шагов, она застроена высокими, по большей части роскошными зданиями. Ширина несоразмерна с длиною и высотой домов. Панели по обеим сторонам отнимают у нее еще футов шесть — восемь ширины. Для экипажей посередине остается пространство шагов в двенадцать — четырнадцать, из чего легко усмотреть, что двигаться в ряд здесь может не больше трех карет.

Обелиск на Пьацца-дель-Пополо во время карнавала служит нижней границей этой улицы, Венецианский дворец — верхней.

КАТАНЬЕ НА КОРСО

В течение всего года, в воскресные и праздничные дни, на римском Корсо царит оживление. Знатные и богатые римляне приезжают сюда кататься за час или полтора до наступления ночи; длинные вереницы экипажей, показываясь из-за Венецианского дворца, движутся по левой стороне улицы, при хорошей погоде проезжают мимо обелиска к городским воротам и продолжают свой путь по Фламиниевой дороге, иногда до самого Понте-Молле.

Кареты, раньше или позже повернувшие назад, придерживаются другой стороны; таким образом обе вереницы в полном порядке тянутся рядом.

Посланники имеют право разъезжать взад и вперед между обоими рядами экипажей; претенденту, проживавшему в Риме под именем герцога Албанского, была присвоена та же привилегия.

Едва только бой часов возвестит ночь, порядок этот нарушается; каждый сворачивает куда ему угодно, отыскивая кратчайший путь и нередко задерживая этим движение других экипажей, которые не могут разъехаться и застревают на узкой дороге.

Это вечернее катанье, блестящее во всех крупных итальянских городах и которому подражают во всех маленьких, хотя бы в нем участвовало всего несколько экипажей, привлекает на Корсо множество пешеходов; каждый приходит, чтобы и людей посмотреть, и себя показать.

Карнавал, мы это скоро увидим, в сущности, только продолжение или, вернее, вершина этих воскресных и праздничных увеселений, в нем нет ничего нового, ничего необычного, ничего исключительного, он естественно сливается с римским образом жизни.

КЛИМАТ, ОДЕЖДЫ ДУХОВЕНСТВА

Поэтому нас не удивят и толпы масок, которые мы в скором времени увидим на улице; здесь круглый год смотришь на самые разнообразные сцены, разыгрывающиеся под ясными, веселыми небесами.

В любой праздник вывешенные наружу ковры, рассыпанные цветы, растянутые шали как бы преобразуют улицы в огромные залы и галереи.

Каждого покойника провожает на кладбище процессия с ног до головы закутанных в свои облаченья братьев различных орденов; всевозможные монашеские одежды приучают глаз к необычным, странным образам, словно весь год длится карнавал, и аббаты в черных мантиях кажутся благородными домино среди других церковных масок.

ПЕРВЫЕ ДНИ

Уже с Нового года открываются театры; карнавал начался. То

там, то здесь в ложе показывается наряженная офицером красавица, самодовольно щеголяющая перед народом своими эполетами. На Корсо увеличивается число экипажей; но все еще только предвкушают последние дни.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ПОСЛЕДНИМ ДНЯМ

Какие только хлопоты не возвещают народу о приближении блаженных часов!

Корсо, одну из немногих римских улиц, весь год содержащихся в чистоте, метут и скребут еще тщательнее. Красивую мостовую, сложенную из маленьких четырехугольных и более или менее одинаковых кусков базальта, разбирают везде, где она только хоть немного расшаталась, и снова вколачивают в нее базальтовые клинья.

Затем появляются и живые предвестники. Каждый карнавальный вечер, как мы уже говорили, завершается конским ристанием. Лошади, которых тренируют для этого финала, по большей части малорослые; лучшие из них ввиду иноземного происхождения называются берберийскими.

Такую лошадку в попоне из белого полотна, тесно облегающей голову, шею и брюхо и по швам разукрашенной пестрыми лентами, приводят к обелиску, на то место, откуда она со временем начнет свой бег. Ее приучают спокойно стоять, глядя на Корсо, затем медленно проводят вдоль улицы, на верхнем конце которой, у Венецианского дворца, ей дают овса, чтобы внушить желание поскорей пробежать этот путь.

Поскольку такая проводка совершается неоднократно и с большинством лошадей, — а в беге их обычно участвуют пятнадцать — двадцать, — да еще под веселый галдеж целой толпы мальчишек, то эта церемония уже как бы предваряет еще больший шум и ликование.

Высокопоставленные римские семьи некогда держали таких лошадей в своих конюшнях; приз, взятый лошадью, был честью для дома. На лошадь ставились большие суммы, а победа увенчивалась пиршествами.

За последние годы эта страсть заметно ослабела; желание стяжать славу своими лошадьми перекочевало в средние и даже в низшие классы общества.

Вероятно, еще с тех времен сохранился обычай, что отряд всадников, сопровождаемый трубачами, эти призы развозит напоказ всему Риму, заезжает в дома знатных граждан и, протрубив положенное приветствие, собирает щедрые чаевые.

Приз состоит из куска золотой или серебряной ткани длиною около полутора локтей и шириною чуть меньше локтя, укрепленного на пестром древке наподобие флага, на нижнем конце которого вытканы изображения состязающихся лошадей.

Эти призы называются палио, число их равно числу карнавальных дней, и покуда длится карнавал, упомянутая кавалькада неустанно развозит эти квазиштандарты по улицам Рима.

Тем временем и Корсо начинает менять свой вид. Обелиск становится теперь границей улицы. У его подножия сооружается амфитеатр с большим количеством скамей, обращенный в сторону Корсо. Перед ним устраиваются загородки, из которых в свое время будут выпущены лошади.

Кроме того, по обеим сторонам улицы воздвигаются еще два больших помоста, примыкающих к первым домам Корсо и таким образом удлиняющих улицу за счет площади. А по обеим сторонам загородок высятся маленькие будки для тех, кто будет подавать сигнал к выпуску лошади.

Вдоль всего Корсо здесь и там тоже виднеются помосты. Площадь Сан-Карло и площадь Антониновой колонны отгораживаются от улицы решетками; все достаточно ясно указует на то, что празднество должно замкнуться и замкнется в пределах длинного и узкого Корсо.

Под конец улица еще посыпается пуццоланой, чтобы бегущие лошади не поскользнулись на гладкой мостовой.

СИГНАЛ ПОЛНОЙ КАРНАВАЛЬНОЙ СВОБОДЫ

Так тешат и развлекают себя жители города в пору ожидания, пока колокол на Капитолии в послеполуденный час не возвестит наконец, что каждому дозволено безумствовать под открытым небом.

В этот миг степенный римлянин, весь год опасавшийся малейшего прегрешения, сбрасывает с себя всю серьезность и рассудительность.

Каменщики, стучавшие своими молотками до последней минуты, складывают инструменты и, перебрасываясь шутками, заканчивают работу. Все балконы, все окна мало-помалу увешиваются коврами; на панели по обеим сторонам улицы выносятся стулья; малоимущие жители и все ребятишки уже высыпали на улицу, которая отныне перестает быть улицей, — это скорее огромная праздничная зала, исполинская разукрашенная галерея.

Ибо не только окна увешаны коврами, но и все помосты обиты старинными штофными обоями; множество стульев еще увеличивает сходство с комнатой, а приветливое небо редко напоминает о том, что ты находишься не под крышей.

Так улица постепенно приобретает все более жилой вид. Выйдя из дому, чувствуешь себя не на вольном воздухе, не среди чужих, но в зале, в кругу знакомых.

СТРАЖА

В то время, как Корсо все более оживляется и среди людей, прогуливающихся в своих обычных костюмах, уже нет-нет да и мелькнет Пульчинелла, у Порта-дель-Пополо выстраиваются войска. Под предводительством генерала верхом на коне, в новых мундирах, под звуки музыки они маршируют вверх по Корсо, немедленно занимают входы и выходы, ставят караулы в особо важных местах и принимают руководство порядком всего торжества.

Хозяева, отдающие напрокат стулья и подмостки, начинают усердно зазывать прохожих:

«Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!»

МАСКИ

Вот уже начинает возрастать число масок. Первыми обычно появляются молодые люди в праздничных нарядах простолюдинок, с низко открытой грудью и дерзко-самоуверенным видом. Они заигрывают со встречными мужчинами, бесцеремонно, как со своими товарками, обходятся с женщинами, позволяя себе все, что подсказывает им веселость, остроумие или озорство.

Среди прочих нам запомнился один юноша, великолепно игравший роль страстной, бранчливой и неугомонной женщины. Всю дорогу он буянил, придирался к каждому встречному, спутники же делали вид, что из кожи вон лезут, пытаясь угомонить его.

Откуда-то вдруг появляется Пульчинелла с огромным рогом на боку, свисающим с пестрой перевязи. Болтая с женщинами, он делает один какой-то малозаметный жест и сразу становится похож на древнего бога садов священного Рима, причем его дерзкая ветреность возбуждает скорей веселье, чем неудовольствие. Вот шествует другой Пульчинелла, более

скромный и самодовольный, он ведет за собой свою дражайшую половину.

Так как женщины любят рядиться в мужское платье не меньше, чем мужчины в женское, то и они не упускают случая покрасоваться в излюбленном всеми наряде Пульчинеллы, и нельзя не признать, что некоторые из них выглядят весьма привлекательно в этом двуполом образе.

Быстрыми шагами, торжественно декламируя, словно перед судом, пробирается сквозь толпу адвокат; он что-то кричит в окна домов, останавливает замаскированных и незамаскированных прохожих, каждому угрожая судебным процессом; одному излагает длинный перечень будто бы совершенных им комических преступлений, другому подробно исчисляет его долги. Женщин он бранит за чичисбеев, девушек за возлюбленных; ссылается на книгу, которую он держит в руках, сочиняет судебные документы, все это проникновенным голосом и ни на минуту не умолкая. Всякого он старается пристыдить или вогнать в краску. Кажется, вот он уже замолчал, не тут-то было, он еще только начинает; не успеешь подумать: «Наконец-то он уходит», — как он уже повернул обратно. Решительным шагом направившись к одному, он не заговаривает с ним, но останавливает другого, которому казалось, что он уже в безопасности: если же навстречу адвокату попадается коллега, то дурачества достигают наивысшей степени.

Но долго внимание публики на них не задерживается: самое сильное впечатление немедленно растворяется в обилии и разнообразии других.

Квакеры хоть и не поднимают такого шума, но обращают на себя внимание не меньше, чем адвокаты. Костюм квакера, видимо, получил столь большое распространение потому, что на толкучке легко найти старофранкскую одежду.

Основная претензия этой маски, чтобы костюм, хотя и старофранкский, был хорошо сохранившимся и сделанным из добротной ткани. Одетые большей частью в шелк и бархат, они носят еще парчовые или вышитые жилеты; от квакера требуется также солидное брюшко.

Лицо его целиком закрыто толстощекой маской с маленькими прорезями для глаз; парик весь в смешных косичках, шляпа маленькая, но с полями.

Из вышеописанного видно, что эта маска напоминает Buffo caricato комической оперы, и если последний обычно представляет пошлого, влюбленного, обманутого дурака, то эти изображают нелепых франтов. Они суетливо шныряют, на цыпочках заглядывая во все кареты, уставляясь на все окна, и

вместо лорнета то и дело подносят к глазам большие черные кольца без стекол. Квакеры отвешивают чопорные и низкие поклоны, радость же свою, главным образом при встрече с себе подобными, выражают тем, что несколько раз подпрыгивают на обоих ногах и при этом издают звонкий, пронзительный и нечленораздельным звук с раскатом на согласные «бррр».

Частенько такой звук служит сигналом, на который откликаются оказавшиеся поблизости квакеры, и через несколько секунд этот крик уже разносится по всему Корсо.

В это же время проказливые мальчишки дуют в крупные витые раковины, раздирая вам уши невыносимыми звуками.

Вскоре начинаешь понимать, что при такой тесноте и при сходстве столь многих маскарадных костюмов (ибо по Корсо обычно снует несколько сотен Пульчинелл и около сотни квакеров) мало кто может надеяться обратить на себя внимание. Для этого надо было бы заявиться на Корсо уж очень рано. И каждый стремится лишь к одному: повеселиться, вдоволь подурачиться и получше насладиться свободой этих дней.

Больше всего хотят и по-своему умеют веселиться в это время девушки и женщины. Каждая рвется убежать из дому и хоть как-нибудь да перерядиться, а так как лишь очень немногие могут потратиться на костюмы, то они проявляют немалую изобретательность, чтобы получше замаскироваться и принарядиться.

Очень нетрудно соорудить себе костюмы нищих или нищенок; для этого прежде всего требуются красивые волосы, далее — белая маска, глиняный горшочек на цветной ленте, посох и шляпа в руках. Они смиренно приближаются к окнам, к прохожим и от каждого вместо милостыни получают сласти, орехи и прочие лакомства.

Другие поступают еще проще: закутываются в меха или же появляются в хорошеньком домашнем платье и только с полумаской на лице. Они прохаживаются большей частью без мужчин и в качестве наступательного и оборонительного оружия держат в руках метелочку из камыша, которой либо отбиваются от докучливых приставаний, либо, достаточно резво, заезжают в физиономию знакомых и незнакомых, не носящих маски.

Тот, кого наметила в жертву компания из четырех-пяти таких девушек, не знает, как от них спастись. Толкотня кругом не позволяет ему пуститься наутек и куда бы он ни оборотился, в нос ему тычутся метелки. Всерьез обороняться от подобных шалостей весьма опасно, ибо маски неприкосновенны и страже отдан приказ защищать их.

Обычные костюмы всех сословий тоже используются в

качестве маскарадных. Конюхи огромными скребницами чистят спину, кому им заблагорассудится. Возницы с обычной навязчивостью предлагают свои услуги. Более изящные маски — это жительницы Фраскатти, поселянки, рыбаки, неаполитанские мореходы, неаполитанские сбиры и греки.

Иному приходит в голову воспроизвести какую-нибудь театральную маску. Иной выходит из положения совсем просто: завертывается в ковер или в простыню, связанную над головой.

Такая белая фигура обычно заступает дорогу прохожим и прыгает перед ними, воображая, что представляет привидение. Некоторые пытаются выделиться из толпы вызывающими сочетаниями в костюме, но благороднейшей маской неизменно считается табарро, ибо оно ничем не бросается в глаза.

Шуточные или сатирические маски встречаются редко, так как они уже преследуют определенную цель и хотят быть замеченными. Все же нам довелось встретить Пульчинеллу в образе рогоносца. Рога у него были подвижные, он мог наподобие улитки высовывать и задвигать их. Когда, проходя под окном молодоженов, он слегка выдвигал *один* рог или под другим окном довольно заметно выставлял оба и бубенчики, прикрепленные к ним, бодро позвякивали, радостное внимание публики на мгновение сосредоточивалось на нем, и то тут, то там слышался громкий шепот.

Вон в толпу замешался волшебник, он раскрывает книгу с какими-то цифрами и корит народ за пристрастие к игре в лото.

А там протискивается кто-то двуликий, не поймешь, где у него зад, где перед, приближается он или уходит.

Иностранцу в эти дни тоже приходится мириться с насмешками. Долгополая одежда северян, большие пуговицы, диковинные круглые шляпы удивляют римлян, и чужеземец становится маской.

Так как иностранные художники, и в первую очередь те из них, которые пишут ландшафты и архитектуру, работают прямо на улицах Рима, то карнавальная толпа часто воспроизводит их образы; они деловито расхаживают с огромными портфелями, в длинных сюртуках, вооруженные гигантскими рейсфедерами.

Немецкие булочники слывут в Риме пьяницами. Поэтому их представляют с бутылкой вина, идущими нетвердой походкой, в обычном или только слегка приукрашенном платье.

Мы припоминаем лишь одну-единственную укоризненную маску.

Перед церковью Trinità de’ Monti предполагалось воздвигнуть обелиск. Народу это пришлось не по вкусу. Отчасти потому, что площадь была узка, отчасти же потому, что для придачи

определенной высоты маленькому обелиску его нужно было водрузить на очень высокий пьедестал. Это дало кому-то повод вместо шапки нахлобучить себе на голову большой белый пьедестал с укрепленным на нем крошечным красноватым обелиском. На пьедестале были начертаны крупные буквы, смысл которых могли разгадать лишь очень немногие.

КАРЕТЫ

В то время как масок становится все больше, на Корсо начинают въезжать кареты в порядке, который мы уже описали выше, говоря о воскресных и праздничных катаньях. Разница только та, что теперь экипажи, едущие от Венецианского дворца по левой стороне, поворачивают там, где кончается Корсо, и тотчас же возвращаются обратно по правой.

Мы уже упоминали однажды, что ширина улицы, не считая панелей, в большинстве мест едва ли превосходит ширину трех карет.

Эти панели теперь сплошь загромождены подмостками и уставлены стульями; многие зрители уже сидят на своих местах. На очень малом расстоянии от подмостков и стульев тянутся вереницы экипажей, по одной стороне вверх, по другой вниз. Пешеходы стиснуты между ними на пространстве не более восьми футов шириной, каждый по мере сил проталкивается туда или обратно, а из всех окон, со всех балконов на эту толчею смотрят целые толпы римлян.

В первые дни обычно видишь только простые экипажи, ибо каждый приберегает напоследок все, что у него есть красивого и нарядного. Под конец карнавала появляется больше открытых выездов, некоторые из них шестиместные; две дамы восседают друг против друга на высоких сиденьях, так что их видно с головы до ног; по сторонам четверо мужчин; кучер и слуги в масках, лошади убраны флером и цветами.

Случается, что в ногах у кучера стоит красивый белый пудель, украшенный розовыми лентами, в звенящей бубенчиками сбруе, и тогда внимание публики на несколько мгновений задерживается на этом торжественном выезде.

Нетрудно себе представить, что лишь красивые женщины рискуют так возвышаться над толпой и что только прекраснейшая показывается без маски.

По мере приближения такого экипажа, обычно вынужденного ехать достаточно медленно, все глаза устремляются на него, и красавица радостно внимает несущимся со всех сторон возгласам:

«O quanto è bella!»

Говорят, что в прежние времена эти роскошные выезды встречались еще чаще и вдобавок были украшены мифологическими и аллегорическими изображениями; в наши дни римская знать, по той или иной причине, видимо, предпочитает теряться в толпе и больше наслаждается праздником, чем выставляет себя напоказ.

Чем дольше длится карнавал, тем наряднее выглядят экипажи.

Даже весьма солидные особы, восседающие в коляске с открытым лицом, позволяют маскироваться своим кучерам и лакеям. Кучера же обычно облюбовывают женское платье, и в последние дни кажется, что одни только женщины правят лошадьми. Они нередко одеты изящно, более того — очаровательно; и надо сказать, что широкоплечий, безобразный малый в новомодном убранстве и с высокой прической, украшенной перьями, выглядит поистине карикатурно.

И как упомянутые красавицы внемлют восторженным возгласам, так он должен терпеливо сносить, что то и дело кто-нибудь выскакивает из толпы и кричит ему прямо в лицо: «O fratello mio, che brutta puttana sei!»

Обычно кучер любезно подсаживает к себе на козлы одну или нескольких из своих приятельниц, встреченных им в толпе. По большей части в мужском наряде, они восседают рядом с ним; хорошенькие ножки этих Пульчинелл, обутые в башмачки с высокими каблуками, болтаются над головами прохожих.

Лакеи тоже берут к себе на запятки друзей и подруг. Не хватает разве что пассажиров на крыше, как в английских сельских дилижансах.

Господам, по-видимому, нравится, что их экипажи набиты до отказа; в эти дни все дозволено, все подобает.

ТОЛЧЕЯ

Итак, давайте взглянем на эту длинную и узкую улицу, где со всех балконов, из всех окон, поверх висящих пестрых ковров толпы зрителей смотрят на переполненные такими же зрителями помосты и ряды стульев по обеим сторонам улицы. Две вереницы карет медленно движутся посредине, а пространство, которого бы достало для третьей, битком набито людьми; они уже не идут в ту или другую сторону, но проталкиваются. Так как кареты, по мере возможности, соблюдают известное расстояние, чтобы при первой же остановке не наехать друг на друга, то многие пешеходы,

желая хоть немного отдышаться, выбираются из давки и отважно шествуют между колесами передней и дышлом задней кареты; чем грознее опасность, тем больше такой пешеход выказывает отваги и задора.

В большинстве случаев пешеходы, пробирающиеся между обоими рядами карет, пытаясь уберечь себя и свое платье, жмутся подальше от колес и осей. Таким образом, между ними и каретами возникает небольшой промежуток; тот, кто уже больше не в силах приноравливаться к медленному течению толпы и у кого хватает смелости затесаться между опасностью и теми, кто от нее спасается, может за короткое время пройти немалое расстояние, покуда его не остановит какое-нибудь новое препятствие.

Наше описание уже и сейчас как будто выходит из границ правдоподобия, и мы бы едва осмелились продолжать его, если бы многие из тех, кто видел римский карнавал, не могли засвидетельствовать, сколь строго мы придерживаемся истины, и если бы этот карнавал не был ежегодно повторяющимся празднеством, на которое в будущем многие будут смотреть, держа в руках эту книгу.

Но что же скажут наши читатели после того, как мы заметим, что все нами рассказанное только первая стадия давки, суматохи, шума и дурачеств.

ПОЕЗД ГУБЕРНАТОРА И СЕНАТОРА

Пока кареты, то и дело останавливаясь, медленно пробираются вперед, пешеходы терпят всевозможные мучения.

Папские гвардейцы верхами разъезжают среди толпы, чтобы по мере возможности улаживать случайно возникшие недоразумения и предотвращать заторы. И вот не успеет пешеход отскочить от надвигающейся на него упряжки, как в затылок ему уже упирается морда верхового коня. Но этим неудобства еще далеко не исчерпываются.

Губернатор в большом казенном экипаже, эскортируемый целым рядом карет, проезжает посередине между двумя вереницами. Папская гвардия и слуги расчищают ему дорогу, и на какое-то мгновение эта процессия занимает все пространство, еще остававшееся для пешеходов. Они всеми силами стараются протиснуться между каретами или каким-то образом подаются в сторону. И как вода, на секунду расступившись, тотчас же смыкается за кормою корабля, так толпа масок и других пешеходов, пропустив этот поезд, немедленно сливается *воедино.*

Проходит несколько минут, и новый напор движения делит толпу.

Приближается сенатор в сопровождении такого же поезда; его большая карета и экипажи его свиты словно плывут по головам стиснутого люда. Местные жители, равно как и иностранцы, пленены и очарованы любезностью нынешнего сенатора, князя Реццонико, и потому это, вероятно, единственный случай, когда все радуются его исчезновению.

Если оба эти поезда главных властителей Рима, судебного и полицейского, в первый день прорываются на Корсо лишь для того, чтобы торжественно открыть карнавал, то герцог Албанский, к вящему неудовольствию толпы, проезжал этот путь ежедневно, в пору всеобщего маскарада напоминая древней владычице царей о том, сколь карикатурный характер носят его претензии на королевский трон.

Посланники, обладающие теми же привилегиями, пользуются ими весьма умеренно и с гуманной скромностью.

ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛ У ДВОРЦА РУСПОЛИ

Но не только эти поезда нарушают и задерживают движение народа на Корсо; возле самого дворца Русполи и поблизости от него, где улица становится чуть-чуть шире, панели по обеим сторонам выше, чем везде. Там располагается прекрасный пол, и все стулья очень скоро оказываются занятыми или резервированными. Красивейшие женщины среднего сословия, очаровательно замаскированные и окруженные друзьями, являют себя тут любопытным взорам прохожих. Кто бы здесь ни очутился, не может не остановиться и не оглядеть столь привлекательные ряды; каждому хочется среди множества мужских фигур, сидящих на стульях, обнаружить женскую, а не то и угадать предмет своих воздыханий в каком-нибудь изящном офицерике. На этом месте всегда происходит первый затор, ибо кареты простаивают здесь очень долго. Раз все равно приходится застревать, то уж лучше застрять в столь приятном обществе.

КОНФЕТТИ

Если наше описание до сих пор давало понятие о тяжком и даже несколько устрашающем положении толпы, то, наверное, еще более странное впечатление оно произведет, когда мы скажем, что эта веселая давка оживляется еще и неким подобием

маленькой, в большинстве случаев шутливой, но частенько и довольно серьезной войны.

Вероятно, в давние времена какая-нибудь замаскированная красотка в гуще толпы, желая обратить на себя внимание своего милого, швырнула в него засахаренными орешками. Ведь ясно, что тот, в кого угодил этот заряд, волей-неволей должен был обернуться и узнать плутовку. Теперь это вошло в обычай, и после такого приветствия нередко следует вполне дружеская встреча. Но отчасти соображения бережливости, не позволяющие разбрасываться настоящими сластями, отчасти же злоупотребление этим обычаем потребовали создания большего, хотя и менее дорогостоящего запаса этих снарядов.

Так возник целый промысел — продажа гипсовых шариков, отлитых через воронку и напоминающих драже, которые торговцы большими корзинами разносят в толпе.

Никто не уверен в своей безопасности; каждый готов обороняться. То задор, то необходимость приводят к поединку, к схватке или битве. Пешеходы, проезжающие в экипаже, зрители в окнах, зрители, сидящие на стульях или толпящиеся на подмостках, попеременно то нападают, то защищаются.

Дамы держат в руках позолоченные или посеребренные корзиночки, полные таких ядрышек, а спутники не умеют постоять за своих красоток. Сидящие в каретах, ожидая нападения, спускают окна, перекидываются шутками с друзьями и упорно обороняются от незнакомых.

Но нигде это сражение не бывает столь ожесточенным и всеобщим, как у дворца Русполи. Все маски там заранее запаслись корзиночками, мешочками, узелками, связанными из носовых платков. Они чаще нападают, чем подвергаются нападению; ни одной карете не удается проехать безнаказанно. Несколько масок уж обязательно атакуют ее. Ни один пешеход не чувствует себя в безопасности; если же покажется аббат в черной сутане, обстрел начинается со всех сторон, а поскольку гипс и мел мажутся, то вскоре он оказывается весь в белых и серых крапинках. Впрочем, эта борьба нередко становится серьезной и всеобщей; с удивлением видишь, как прорываются на свободу ревность и даже ненависть.

Вот незаметно подкрадывается какая-то закутанная фигура и полной пригоршней конфетти запускает в одну из первых красавиц. Удар так силен и так меток, что слышно, как шарики ударяют по маске; шея красотки поранена. Спутники, сидящие по обе стороны от нее, зашлись от гнева и начинают яростно швырять в грубияна содержимое своих корзинок и мешочков. Но он плотно закутан и так защищен одеждой, что едва ощущает

осыпающие его удары. Чем меньше он подвержен опасности, тем ретивее продолжает нападать сам; защитники прикрывают женщину своими табарро, и так как нападающий в пылу битвы уже успел угодить и в соседей, да и вообще оскорбил всех своей грубостью и неистовством, то окружающие вмешиваются в эту драку. Они не жалеют гипсовых ядер и пускают в ход припасенные на всякий случай даже более действенные снаряды, вроде засахаренного миндаля. В конце концов забияку обстреливают уже со всех сторон, так что ему не остается ничего, как ретироваться, в особенности если он уже израсходовал свои боеприпасы.

Тот, кто решился на такую авантюру, обычно имеет при себе секунданта, который подает ему снаряды; торговцы же гипсовыми конфетти во время такой схватки торопливо отвешивают каждому потребное ему количество снарядов.

Мы видели подобную схватку вблизи, когда противники, истощив свои боеприпасы, стали швырять в физиономию друг другу позолоченные корзиночки, не внимая предупреждениям стражи, которой, в свою очередь, порядком досталось.

Разумеется, такие стычки частенько кончались бы поножовщиной, если бы на некоторых углах не были заготовлены «корды», небезызвестные орудия наказания в итальянской полиции, которые в разгаре веселья напоминают каждому, что прибегать к опасному оружию не рекомендуется.

Стычек такого рода происходит множество, но большинство из них скорее веселые, чем серьезные.

К дворцу Русполи подкатывает открытый экипаж, битком набитый Пульчинеллами. Проезжая мимо толпы зрителей, они охвачены желанием попасть решительно в каждого: к несчастью, давка так велика, что экипажи застревают посреди улицы. Толпа внезапно становится единодушной, и на экипажи со всех сторон сыплется град конфетти. Пульчинеллы, уже расстрелявшие все свои снаряды, вынуждены довольно долго оставаться под перекрестным огнем, так что, когда экипаж в конце концов медленно отъезжает под общий смех и шутки, кажется, что он засыпан снегом и градом.

ДИАЛОГ НА ВЕРХНЕМ КОНЦЕ КОРСО

В то время как в средней части Корсо народ забавляется этими оживленными и пылкими играми, публика на верхнем конце его развлекается по-иному.

Неподалеку от Французской академии из толпы масок,

теснящихся на подмостках, нежданно выступает так называемый «капитан» итальянского театра в испанском платье, в шляпе с перьями, при шпаге и в перчатках с крагами. Он начинает патетический рассказ о своих подвигах на суше и на море. Проходит несколько мгновений, и навстречу ему из толпы поднимается Пульчинелла; он сомневается во всех показаниях капитана, ввертывает свои замечания и, как будто поддакивая ему, своими каламбурами и нелепыми комментариями выставляет в смешном свете разглагольствования последнего.

Здесь тоже останавливаются все прохожие, прислушиваясь к оживленному спору.

КОРОЛЬ ПУЛЬЧИНЕЛЛ

Случается, что новое шествие еще увеличивает давку. Десять — двенадцать Пульчинелл, собравшись вместе, выбирают короля, нахлобучивают на него корону, суют ему в руки скипетр и под звуки музыки с громкими криками провозят его в разукрашенной тележке по Корсо. Завидя этот поезд, все Пульчинеллы выскакивают из толпы и присоединяются к процессии, чтобы, размахивая шляпами и горланя, прокладывать дорогу королю.

Тогда только начинаешь замечать, как каждый стремится разнообразить эту общепринятую маску. У одного на голове парик, у другого над смуглой физиономией высится женский чепец, третий вместо шляпы надел на голову клетку, в которой с жердочки на жердочку прыгают две птицы в костюмах аббата и дамы.

В ПЕРЕУЛКЕ

Ужасающая давка, которую мы постарались, по мере возможности воссоздать для нашего читателя, естественно, вытесняет многих ряженых с Корсо на соседние улицы. Влюбленным парочкам там спокойнее и привольнее, а молодым людям на свободе сподручнее разыгрывать всевозможные комедии.

Компания мужчин в простонародных воскресных костюмах — коротких куртках и расшитых золотом жилетах под ними, с волосами, подобранными в длинную сетку, — разгуливают с молодыми людьми, нарядившимися в женское платье. Одна из этих «женщин», с виду уже на сносях, мирно прохаживается со своими спутниками. Внезапно между мужчинами вспыхивает

ссора, начинается шумная перебранка, вмешиваются женщины, стычка становится все ожесточеннее. Наконец спорщики выхватывают большие ножи из посеребренного картона и налетают друг на друга. Женщины с отчаянными воплями бросаются разнимать их, одного оттаскивают в одну сторону, другого — в другую; оказавшиеся вблизи прохожие впутываются в свалку, словно она происходит всерьез, и всеми средствами стараются угомонить расходившихся противников.

Между тем беременной женщине от испуга становится дурно; кто-то приносит стул, подруги хлопочут вокруг нее. Она жалобно стонет и вдруг, к вящей потехе окружающих, производит на свет какое-то безобразное существо. Представление окончено, и труппа уходит, чтобы в другом месте разыграть ту же самую или похожую комедию.

Так римлянин, воображение которого всегда распалено историями всевозможных убийств, при каждом удобном случае охотно обыгрывает мотив убийства. Даже у детей есть игра под названием «Chiesa». Она напоминает нашу «Хозяин дома». Но, в сущности, в ней подразумевается убийца, укрывшийся на церковной паперти; остальные ребята изображают сбиров и на все лады стараются изловить его, не смея, однако, переступить черту «дома».

Вот каким потехам предаются на соседних улицах, главным образом на Strada Babuino и на Испанской площади.

Квакеры тоже толпой заявляются сюда, чтобы на досуге проделывать свои штуки.

Есть у них один прием, всех заставляющий хохотать. Они идут шеренгой в двенадцать человек на цыпочках, мелкими скорыми шажками, образуя прямой фронт; дойдя до места, по команде: «налево» или «направо, марш» — они строятся в колонны и семенят друг за другом. Затем снова: «направо, марш» — и опять шеренгой движутся по улице; не успеешь оглянуться, они снова перестроились; кончается это тем, что колонна, как копье, впивается в какую-нибудь дверь, и вся компания исчезает за нею.

ВЕЧЕР

Близится вечер, и все большая толпа наводняет Корсо. Движение экипажей уже давно остановилось. Случается, что часа за два до наступления темноты ни одна карета больше не может двинуться с места.

Папская гвардия и пешая стража стараются отвести экипажи

как можно дальше от середины и уставить их в одну ровную линию, что при огромном их скоплении вызывает немало беспорядка и недоразумений. Лошади пятятся, экипажи сталкиваются, напирают друг на друга, один подается назад, и всем задним приходится делать то же самое, покуда какая-нибудь карета не очутится в таких тисках, что кучер вынужден снова править на середину. Тут начинается ругань гвардии, поношения и угрозы стражи.

Злополучный кучер тщетно доказывает неизбежность такого маневра: его осыпают бранью и угрозами. Он должен либо снова втиснуться в ряд, либо ни за что ни про что ретироваться в переулок, если таковой имеется поблизости.

Обычно эти переулки тоже забиты опоздавшими экипажами, которые подъехали, когда движение уже застопорилось, и не смогли попасть на Корсо.

ПРИГОТОВЛЕНИЯ К РИСТАНИЯМ

Момент начала конских ристаний неуклонно приближается, и напряженный интерес многих тысяч людей уже сосредоточен на нем.

Владельцы стульев и хозяева подмостков теперь еще настойчивее зазывают публику: «Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni!» Они во что бы то ни стало хотят в эти последние минуты пусть за меньшую плату, но продать все места.

И слава богу, что где-то еще можно сыскать место, ибо по Корсо скачет генерал в сопровождении своих гвардейцев, вытесняя пешеходов и с того малого пространства, которое им еще оставалось. Каждый спешит в эту минуту пристроиться на каком-нибудь местечке: на стуле, на подмостках, на козлах, между каретами или в знакомой квартире у окна, которое и без того ломится под напором зрителей.

Тем временем площадь перед обелиском уже полностью очищена от народа и являет собою одно из прекраснейших зрелищ, которое можно увидеть в наши дни.

Фасады трех увешанных коврами помостов, о которых мы говорили выше, замыкают площадь. Тысячи возвышающихся друг над другом голов создают подобие древнего амфитеатра или цирка. Над средним помостом во всю длину высится обелиск; помост закрывает только его пьедестал, и лишь сейчас, когда мерилом становится столь огромная масса людей, замечаешь его неимоверную высоту.

Свободная площадь тешит взор своим прекрасным

спокойствием, и весь народ, замирая от ожидания, смотрит на еще пустые стойла и натянутый перед ними канат.

Но вот генерал возвращается с Корсо в знак того, что улица очищена; теперь стража уже никому не разрешает выступать за линию стоящих карет. Генерал занимает место в одной из лож.

НАЧАЛО РИСТАНИЙ

Расфранченные конюхи уже вводят лошадей в стойла, за протянутый канат, по порядку, установленному жребием. На лошадях нет ни упряжи, ни попоны. К их крупу в нескольких местах шнурами прикрепляют колючие шарики, подкладывая под них до того момента, когда они должны будут пришпоривать лошадь, небольшие кусочки кожи; кроме того, на лошадь наклеивают листы сусального золота.

Кони резвятся и нетерпеливо рвутся, уже когда их вводят в стойла, и конюхам приходится пускать в ход всю свою силу и ловкость, чтобы удержать их.

Стремление начать бег делает коней неукротимыми, присутствие столь многих людей — тревожными. Случается, что они перепрыгивают в соседние стойла или через канат, и эта суета и беспорядок с каждым мгновением увеличивают нетерпеливость ожидания.

Конюхи — само внимание, ибо ловкость выпускающего лошадь, равно как и другие случайные обстоятельства первых мгновений, могут решающим образом повлиять на исход бега.

Наконец канат падает, и лошади мчатся. На расчищенной площади они еще пытаются обогнать друг друга; но стоит им попасть в узкий промежуток между обоими рядами карет, как всякое состязание становится тщетным.

Впереди обычно несутся две-три лошади, напрягая все свои силы. Несмотря на рассыпанную пуццолану, из мостовой сыплются искры, гривы развеваются, сусальное золото шуршит, ты едва успеваешь взглянуть на них, как они уже скрылись из глаз. Остальные бегут табуном, теснясь, сталкиваясь и мешая друг другу; иногда позади них проносится отставшая лошадь, и разорванные листы сусального золота трепыхаются по ее неостывшему следу. Очень скоро лошади исчезают из поля зрения, и народ, устремившийся со всех сторон, вновь наводняет ристалище.

У Венецианского дворца другие конюхи уже дожидаются прибытия лошадей. Они умело задерживают и ловят их на огороженном участке. Победительнице присуждается приз.

Так заканчивается это празднество, сильным, молниеносным, мгновенным впечатлением, которого столько времени страстно ожидали тысячи людей, и мало кто может отдать себе отчет, почему они ждали этого момента и почему упивались им.

Из нашего описания следует, что эта игра может стать опасной и для людей, и для животных. Приведем для примера возможный случай. Если какое-нибудь заднее колесо хоть немножко выдается из ряда карет, а позади экипажа образуется некоторое пространство, то лошадь, теснимая другими, поспешит этим пространством воспользоваться, прыгнет и ударится о выдавшееся колесо.

Мы сами были свидетелями случая, когда лошадь свалилась от такого удара, три других, мчавшиеся позади, перекувырнулись через нее, остальные же, удачно перескочив через упавших, продолжали свои путь.

Иногда сшибленная лошадь падает мертвой; зрителям тоже не раз случалось, при подобных обстоятельствах, платиться жизнью.

Бывало и так, что злобные, завистливые люди хлестали плащом по глазам вырвавшейся вперед лошади, заставляя ее повернуть назад или ринуться в сторону. Еще хуже, когда лошадей не сразу удается поймать у Венецианского дворца: они неудержимо мчатся назад и, так как ристалище уже заполнилось толпою, творят немало бед, о которых народ либо ничего не узнает, либо оставляет их без внимания.

НАРУШЕННЫЙ ПОРЯДОК

Обычно конские ристания начинаются лишь с наступлением темноты. О прибытии лошадей к Венецианскому дворцу возвещают выстрелы из маленьких мортир; тот же сигнал повторяется на середине Корсо и в последний раз — перед обелиском.

В этот момент стража уходит с постов, никто уже не наблюдает за порядком в рядах экипажей, и эта пора, страшноватая и неприятная даже для зрителя, спокойно расположившегося у окна, стоит того, чтобы сказать о ней несколько слов.

Из сказанного выше мы уже видели, что наступление ночи, столь многозначащее в Италии, нарушает порядок даже обычных воскресных или праздничных катаний. Правда, там нет ни стражи, ни папской гвардии, а есть только старинный неписаный закон — кататься в подобающем порядке; но едва только

отблаговестят «Ave Maria», никто уже не позволит посягнуть на свое право поворачивать где и когда ему вздумается. А так как на карнавале ездят по той же улице и согласно тем же законам, хотя толпа и прочие привходящие обстоятельства сильно меняют всю картину, то и теперь никто не уступает своего права при наступлении ночи нарушать установленный порядок.

Если мы подумаем об ужасающей давке на Корсо и вспомним, что опустевшее ристалище тотчас же снова наводняется толпой, то разум и справедливость подскажут нам, что каждый экипаж должен, не нарушая порядка следования, добраться до ближайшего переулка и уже оттуда поспешить домой.

Однако после сигнальных выстрелов некоторые кареты немедленно сворачивают на средину, преграждают дорогу толпе пешеходов и вносят в нее смятение, а так как в этом узком промежутке одному вздумалось ехать вниз, а другому вверх по Корсо, то оба не могут сдвинуться с места, частенько заставляя простаивать и тех благоразумных, которые не выскочили из ряда.

Если возвращающаяся лошадь вмешивается в эту путаницу, то опасность беды и всеобщее смятение еще возрастают.

НОЧЬ

И все же этот клубок распутывается, — правда, поздно, но зато в большинстве случаев благополучно. Ночь наступила, и каждый стремится немного передохнуть.

ТЕАТР

С этой минуты все маски сняты, и большинство публики спешит в театр. Только в ложах еще виднеются табарро и дамы в маскарадных костюмах; партер уже одет в обычные платья.

Театры Алиберти и Арджентина дают серьезные оперы со вставными балетными номерами: Валле и Капраника — комедии и трагедии с комическими операми в качестве интермедий; Паче подражает им, хотя и неудачно; кроме того, существует еще множество второразрядных представлений, вплоть до кукольного театра и балаганов с канатными плясунами.

Большой театр Торденоне, однажды сгоревший, а затем, когда его отстроили, тотчас же обрушившийся, к сожалению, больше не развлекает римлян своими народно-историческими драмами и чудесными феериями.

Страсть римлян к театру очень велика, а некогда во время

карнавала она была еще больше, ибо только в эту пору и находила удовлетворение. В наши дни многие театры открыты летом и осенью, так что публика большую часть года может до некоторой степени удовлетворять свое пристрастие.

Мы слишком уклонились бы от нашей цели, пустившись в пространное описание театра и особенностей, характеризующих римский театр. Наши читатели помнят, что в другом месте мы уже коснулись этой темы.

ФЕСТИНЫ

Не будем особенно распространяться также и о фестинах; это большие балы-маскарады, которые время от времени устраиваются в великолепно освещенном театре Алиберти.

И здесь как мужчины, так и дамы почитают табарро пристойнейшим маскарадным костюмом; вся зала наполнена черными фигурами, лишь изредка в толпу замешиваются несколько пестрых характерных масок.

Тем сильнее бывает всеобщее любопытство, когда в толпе появляются две-три благородные фигуры, заимствовавшие свои костюмы, — впрочем, это бывает довольно редко, — из различных эпох искусства и мастерски копирующие некоторые римские статуи.

Здесь появляются египетские боги, жрицы, Вакх и Ариадна, трагическая муза, муза истории, олицетворение какого-нибудь города, весталки, консулы, одетые хуже или лучше, но в соответствии с историческим костюмом.

ТАНЦЫ

Танцуют на этих балах обычно длинными рядами, на английский манер, с той только разницей, что здесь во время немногих туров разыгрывается какая-нибудь характерная пантомима, к примеру: двое любящих ссорятся и примиряются, разлучаются и вновь обретают друг друга.

Балеты-пантомимы приучили римлян к подчеркнутой жестикуляции; в салонных танцах они тоже любят выразительность, которая нам показалась бы чрезмерной и аффектированной. Танцевать решаются только те, кто всерьез этому учился; совсем особенным искусством слывет менуэт, и его танцуют лишь немногие пары. Такую пару обычно окружают все собравшиеся, восхищаются ею и под конец ей аплодируют.

УТРО

Покуда модный свет веселится таким образом до самого утра, на Корсо с восходом солнца опять начинают все чистить и приводить в порядок. Особенно следят за тем, чтобы пуццолана была ровно и аккуратно рассыпана по мостовой.

Немного позднее конюхи приводят к обелиску лошадь, хуже других показавшую себя во вчерашнем беге. На нее сажают мальчугана, а другой наездник гонит ее впереди себя, так что ей приходится напрягать все силы, чтобы как можно скорее совершить пробег.

Около двух часов пополудни, после удара колокола, каждый день сызнова начинается все тот же хоровод веселья. Появляются гуляющие, стражники занимают свои посты. Балконы, окна и помосты увешиваются коврами, число масок, снова принявшихся за свои проделки, все возрастает, кареты стекаются со всех сторон, и улица заполняется народом в большей или меньшей степени, смотря по тому, благоприятствует ли этому погода и разные другие обстоятельства. Перед концом вечера, как и полагается, возрастает число зрителей, масок, экипажей, роскошнее становятся наряды и оглушительнее шум. Но ничто все-таки не идет в сравнение с суматохой и беспутством последнего дня и вечера.

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Обычно ряды карет уже за два часа до темноты стоят неподвижно, ни один экипаж не может ни стронуться с места, ни пробраться в ряд из боковых улиц. Подмостки и стулья заняты раньше, чем в другие дни, хотя места теперь стоят дороже; каждый старается поскорее сыскать себе местечко, ристаний ждут с еще большим нетерпением, чем обычно.

Наконец и это мгновение промчалось, подается сигнал, возвещающий окончание празднества, но ни кареты, ни маски, ни зрители не трогаются с места.

Все спокойно, все тихо, между тем медленно сгущаются сумерки.

МОККОЛИ

Не успели сумерки спуститься на узкую и длинную улицу, как тут и там в окнах и на помостах начинают вспыхивать и

мерцать огоньки; они мелькают чаще и чаще, и вот уже вся улица освещена горящими восковыми свечами.

Балконы убраны прозрачными бумажными фонариками, каждый стоящий у окна держит на виду свою свечку, все помосты залиты светом, а как приятно заглядывать внутрь карет, где на потолке прикреплены маленькие хрустальные жирандоли, освещающие тех, кто сидит там; во многих экипажах дамы держат в руках пестрые свечки, как бы приглашая полюбоваться на свою красоту.

Слуги прилепляют свечки на крыши карет, то и дело подкатывают открытые экипажи, увешанные пестрыми бумажными фонариками; некоторые пешеходы водрузили себе на головы целые пирамиды свечей, другие укрепили свою свечку на конце длинной жерди, связанной из нескольких тростниковых прутьев, которой они достают до второго и третьего этажа.

Каждому теперь вменяется в обязанность держать в руке зажженную свечку, и со всех сторон только и слышится излюбленное проклятье римлян: «Sia ammazzato!»

«Sia ammazzato chi non porta moccolo!» «Смерть тому, кто не несет огарка!» — кричит один другому, пытаясь затушить его свечку. Зажиганье, задуванье и немилосердные крики: «Sia ammazzato!»— вносят жизнь, одушевление и единство в эту огромную толпу.

Каждый, не разбираясь, знакомый перед ним или незнакомый, старается задуть ближайшую свечу или снова зажечь свою, при этом потушив ту, о которую он зажигает. И чем сильнее разносится во все концы вопль: «Sia ammazzato!»— тем больше утрачивает это слово свой страшный смысл и тем скорее забываешь, что ты в Риме, где это проклятье из-за любого пустяка может осуществиться над тобою или другим.

Значение этих слов мало-помалу полностью утрачивается, и так же, как на других языках нам нередко приходится слышать проклятия или непристойности, которые служат выражением радости или удивления, так в этот вечер: «Sia ammazzato!»— становится призывом, криком радости, неизменным рефреном всех шуток, насмешек и комплиментов.

Вот кто-то издевается: «Sia ammazzato il Signore Abbate che fa l'amor!» — или окликает в толпе доброго приятеля: «Sia ammazzato il Signore Filippo!» — или ловко увязывает этот возглас с лестью и комплиментом: «Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica, la prima pittrice del secolo!».

Все эти фразы выкликаются громко, быстро, с долгим ударением на предпоследнем или третьем от конца слоге. Под такой неумолчный крик продолжается задувание и зажигание

свечек. Кого и где бы вы ни встретили и ни увидели — в доме, на лестнице, в обществе, собравшемся в комнате, в соседнем окне — всякий старается опередить другого и задуть его свечку.

Неистовствуют все сословия и все возрасты, кто-то вскакивает на подножку кареты, ни одна висячая лампа, ни даже уличные фонари не находятся в безопасности. Мальчик тушит свечку отца и непрерывно кричит: «Sia ammazzato il Signore Padre!» Отец тщетно указывает ему на неприличие такого поведения, мальчик рьяно отстаивает свободу этого вечера и еще пуще клянет своего родителя. Когда суматоха на обоих концах Корсо несколько утихает, толпа еще неудержимее стремится к середине его, и здесь уже начинается давка, которую и вообразить невозможно, давка такая, что даже в воспоминании немыслимо ее вновь себе представить.

Никто уже не в состоянии сдвинуться с места, на котором он стоит или сидит; тепло стольких людей, стольких огней, чад вновь и вновь задуваемых свечек, крики многолюдной толпы, которая горланит тем громче, чем труднее становится пошевелиться, — под конец кружат даже самую здоровую голову: невозможно, кажется, чтобы не случилось несчастья, чтобы не взбесились лошади, чтобы кого-то не раздавили, не примяли, не изувечили.

И все же, поскольку каждый больше или меньше жаждет выбраться отсюда, свернуть в переулок, который поближе, и наконец отдышаться на ближайшей площади, толпа мало-помалу расходится, тает, и этот праздник всеобщей свободы и необузданности, эти современные сатурналии, заканчиваются всеобщей усталостью.

Народ спешит теперь до полуночи полакомиться вкусно приготовленным мясом, которое вот-вот станет запретным; более изысканное общество торопится в театры посмотреть напоследок уже сильно сокращенные пьесы, но надвигающаяся полночь кладет конец и этим радостям.

СРЕДА НА ПЕРВОЙ СЕДМИЦЕ ПОСТА

И вот уже, как сон, как сказка, промелькнул этот непутевый праздник, возможно, оставив в душах тех, кто в нем участвовал, меньший след, чем в читателе, перед воображением и разумом которого мы развернули целое в его последовательной связи.

Когда в разгаре этих сумасбродств грубоватый Пульчинелла непристойно напоминает нам о радостях любви, которым мы обязаны своим существованием, когда новая Баубо на

общественной площади оскверняет таинство рождения, когда множество зажженных в ночи свечей наводят нас на мысль о последнем торжественном обряде, то среди всего этого сумбура наш разум обращается к важнейшим явлениям жизни.

Еще больше напоминает нам о жизненном пути узкая, длинная, забитая народом улица, где каждый зритель и участник, с лицом открытым или под маской, с балкона или с помоста, видит перед собой и вокруг себя лишь малую часть пространства, где он, в карете ли, пешком ли, лишь медленно продвигается вперед, шаг за шагом, скорее подталкиваемый, чем идущий, чаще задерживаемый, чем останавливающийся по доброй воле, хлопоча лишь о том, чтобы добраться туда, где лучше и веселее, и все для того, чтобы там снова попасть в тупик, а под конец оказаться и вовсе затертым.

Если нам позволено будет и дальше говорить более серьезно, чем то на первый взгляд допускает тема, мы заметим, что самые живые, самые острые удовольствия, вроде проносящихся лошадей, лишь на мгновение затрагивают нас, почти не оставляя следа в нашей душе, что свободой и равенством мы тешимся только в пылу безумия и что величайшее наслаждение испытываешь, лишь когда оно вплотную граничит с опасностью и когда вблизи ее алчно впиваешь тревожно-сладостные ощущения.

Итак, сами того не думая, мы заключили наш карнавал великопостными размышлениями, не опасаясь, что они наведут тоску на нашего читателя. Напротив, именно потому, что жизнь в целом, подобно римскому карнавалу, остается необозримой, неподатливой, даже сомнительной, то пусть эта беспечная толпа масок каждому из нас напомнит о важности любого мгновенного наслаждения жизнью, часто кажущегося нам ничтожным.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 9 февраля.

Дураки еще порядком пошумели в понедельник и во вторник. Особенно во вторник вечером, когда безумие с мокколи было еще в разгаре. В среду возносили благодарение богу и церкви за то, что наступил пост. Я не был ни на одном маскараде, работаю усердно, сколько выдерживает мозг. Поскольку пятый том готов, хочу еще просмотреть несколько этюдов об искусстве и сразу же возьмусь за шестой. Эти дни читал Леонардо да Винчи о живописи и понял, почему я в ней никогда ничего не понимал.

О, какие счастливцы зрители! Воображают себя умниками, всегда убеждены в своей правоте. Как, впрочем, любители и

знатоки. Трудно поверить, до чего это самоуверенный народ, а ведь хороший художник всегда тих и скромен. Не могу даже сказать, какое отвращение я в последнее время испытываю, слушая суждения тех, кто сам не работает в данной области. От них мне тут же становится дурно, как от табачного дыма.

Анжелика потешила свою душу, купив две картины, — одну Тициана, другую Париса Бурдона, — заплатила она за них очень высокую цену. Но так как она достаточно богата, не проедает свои доходы и к тому же с каждым годом приумножает их, то ее можно лишь хвалить за покупку вещей, которые доставляют ей радость и вдобавок повышают профессиональное рвение. Едва водворив в свой дом эти картины, она уже начала писать в новой манере, желая убедиться, можно ли усвоить известные преимущества этих мастеров. Она неутомима не только в работе, но и в учении. А какое удовольствие вместе с нею осматривать произведения искусства.

Кайзер тоже энергично взялся за работу. Его музыка к «Эгмонту» быстро продвигается вперед. Я еще не все слышал, но, по-моему, каждая часть в отдельности вполне соответствует своему назначению.

Он также напишет музыку к «Купидо, шалый» и etc. Я сразу же пришлю ее тебе, чтобы вы, вспоминая обо мне, почаще пели эту мою любимую песенку.

Голова у меня идет кругом от бесконечного писанья, суеты и раздумий. Никак я не поумнею, слишком многого требую от себя и слишком многое на себя взваливаю.

Рим, 16 февраля.

На днях с прусским курьером получил письмо от нашего герцога, такое дружелюбное, милое и доброе, какие не часто получаешь. Поскольку на сей раз он мог писать откровенно, то изложил всю политическую ситуацию, свою собственную и так далее. Меня он очень обласкал в этом письме.

Рим, 22 февраля.

На этой неделе случилась беда, повергшая в уныние весь здешний синклит художников. Молодой француз по имени Друэ, человек лет двадцати пяти, единственный сын нежно любящей матери, богатый и красивый, который среди всех учащихся в Риме художников подавал наибольшие надежды, умер от оспы. Сейчас все в смятении и в горе. В его покинутой мастерской я видал фигуру Филоктета в натуральную величину, крылом убитой хищной птицы он обмахивал свою рану, стараясь утишить боль.

Прекрасно задуманная картина и отлично выполненная, но, увы, оставшаяся незаконченной.

Я прилежен, счастлив и в таком расположении духа жду, что будет дальше. С каждым днем мне уясняется, что я, собственно, рожден для поэзии, и последующие десять лет, — дольше работать я и не рассчитываю, — мне надо развивать в себе этот талант и сделать еще что-нибудь хорошее, тогда как пыл молодости позволял мне многого добиваться и без особых усилий. Долгое пребыванье в Риме принесло мне большую пользу, — я поставил крест на занятиях изобразительным искусством.

Анжелика комплиментирует меня, говоря, что мало кого знает в Риме, кто бы зорче *видел* произведение искусства. Я отлично знаю, где и что еще не умею видеть, чувствую, как избавляюсь от этого недостатка, и знаю, что надо делать, дабы взгляд мой проникал еще глубже. Короче говоря, я уже своего достиг: в том, что страстно меня влечет к себе, не блуждать ощупью, точно слепой.

Стихотворение «Амур-пейзажист» вышлю тебе на днях, пожелав ему успеха. Я постарался подобрать в известном порядке мои мелкие стихотворения, получилось довольно причудливо. Стихи о Гансе Саксе и «На смерть Мидинга» завершают восьмой том, а следовательно, пока что и все мое собрание сочинений. Если же вы к тому времени похороните мои останки за пирамидой Цестия, то эти два стихотворения послужат некрологом и надгробной речью.

Завтра с утра выступает папская капелла, это начало исполнения прекрасной старинной музыки, на страстной она достигнет своей высшей точки. Каждое воскресенье я буду ее слушать, чтобы сродниться с этим стилем. Кайзер, который методически изучает эти произведения, разъяснит мне их. С каждой почтой мы ждем печатного экземпляра нот из Цюриха — музыки для страстного четверга; этот экземпляр Кайзер там оставил. Сначала все будет проиграно на фортепиано, а потом мы уже услышим это в исполнении капеллы.

ИЗ РАССКАЗА

Если ты рожден художником, то многое поневоле рассматриваешь с точки зрения художника, — обстоятельство, которое, кстати сказать, сослужило мне добрую службу в сутолоке карнавала со всеми его безумствами и дурачествами. Карнавал я видел уже вторично, и мне не могло не броситься в

глаза, что это народное празднество, повторяющееся, как повторяются многие явления природы, протекает в раз и навсегда положенном ему порядке.

Это примирило меня с невероятной суматохой, я вдруг снова увидел в ней одно из явлений природы, вернее, национального духа. Меня это заинтересовало, я поточнее отметил для себя ход дурачеств и также то, что они протекают в довольно определенных и благопристойных формах. Потом я записал по порядку отдельные эпизоды — и позднее использовал эти записки для статьи и попросил нашего здешнего сожителя Георга Шютца, бегло набросать отдельные маски в цвете, что он и сделал с присущей ему обязательностью.

Впоследствии эти зарисовки были выгравированы in quarto Мельхиором Краузе из Франкфурта-на-Майне, директором Свободной школы живописи в Веймаре, и раскрашены для первого издания Унгера, ныне уже ставшего редкостью.

Задавшись такой целью, я должен был чаще, чем мне бы хотелось, смешиваться с толпой ряженых, которая, несмотря на свой живописный вид, временами производила на меня препротивное впечатление. Духу моему, привыкшему к великим произведениям искусства, коими я весь год занимался в Риме, минутами становилось как-то не по себе.

Впрочем, более глубоким и лучшим моим чувствам все же была суждена услада. На площади Венеции, где многие экипажи останавливаются на минуту-другую, а потом, когда седоки хорошенько оглядятся, снова примыкают к движущимся рядам, я увидел карету m-me Анжелики и подошел, дабы ее приветствовать. Она ласково мне поклонилась и снова откинулась на подушки, чтобы дать мне увидеть сидевшую рядом с нею выздоровевшую миланку. Я подумал, что она ничуть не изменилась, да и не диво, что цветущее юное существо быстро справилось с болезнью; ее живые блестящие глаза, казалось, смотрели на меня с радостью, глубоко меня взволновавшей. Долгое время мы не могли и слова вымолвить, первой заговорила Анжелика, спутница же ее наклонилась, не желая ей мешать. «Придется мне взять на себя роль толмача, я уж вижу, что моя юная подруга никак не отважится выговорить то, что давно хотела и решила сказать, а мне уже много раз повторяла, — как она обязана вам за внимание к ее болезни и ее судьбе. Первое, что по возвращении к жизни послужило ей утешением, лекарством и восстановило ее силы, было дружеское участие, и прежде всего ваше. После полного одиночества она вдруг оказалась в кругу столь многих добрых людей».

«Да, так оно и было», — проговорила девушка и протянула

мне руку через голову подруги, я коснулся ее своей рукой, но коснуться губами не осмелился.

Довольный и притихший, я вновь затесался в толпу дураков с чувством нежной благодарности к Анжелике, которая сумела сразу же после несчастья с милой девушкой так сочувственно о ней позаботиться и, — в Риме это бывает не часто, — принять ее, всем еще чужую, в свой избранный круг, что особенно растрогало меня, вероятно, потому, — во всяком случае, я льстил себя такой надеждой, — что этому поспособствовало мое участливое отношение к милой девочке.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 1 марта.

В воскресенье мы отправились в Сикстинскую капеллу, где на богослужении присутствовали папа и кардиналы, которые из-за поста были не в красных, а в лиловых облачениях, отчего весь спектакль выглядел новым. Несколько дней тому назад я смотрел картины Альбрехта Дюрера и радовался, что теперь вижу это в действительности. Все в целом было единственно в своем величии и простоте, и меня не удивляет, что чужеземцы, во множестве приезжающие сюда на страстной неделе, долго не могут прийти в себя от полноты впечатлений. Сикстинскую капеллу я знаю вдоль и поперек; прошлым летом я там обедал и после обеда отдыхал на папском троне, живопись я тоже знаю едва ли не наизусть, и тем не менее, когда видишь здесь то, что относится к богослужению, все снова выглядит по-другому и ты долго не в силах опомниться.

Сегодня пели старинный мотет, сочиненный испанцем Моралесом, таким образом мы уже предвкушали то, что за ним воспоследует. Кайзер тоже считает, что эту музыку только здесь можно и должно слушать, отчасти потому, что другие певцы не умеют петь без сопровождения органа или струнных инструментов, отчасти же потому, что она удивительно подходит ко всему старинному духу папской капеллы и к созданиям Микеланджело — Страшному суду, пророкам и прочим библейским сюжетам. Со временем Кайзер все это подробно вам расскажет. Он страстный почитатель старинной музыки и прилежно изучает все, что к ней относится.

Так, например, дома у нас имеется весьма примечательное собрание псалмов; они стихами переведены на итальянский язык и в начале нашего века положены на музыку венецианским аристократом Бенедетто Марчелло. В основе некоторых из них

религиозные напевы иудеев, итальянских и немецких, в других он использовал старинные греческие мелодии, причем все это сделано умно, тактично, с глубоким проникновением в искусство. Псалмы аранжированы как сольные песнопения, как дуэты и хоры, с оригинальностью необыкновенной, хотя сначала к ним надо попривыкнуть. Кайзер очень высоко их ценит и некоторые собирается переписать. Может быть, удастся раздобыть весь сборник, состоящий из пятидесяти псалмов, он отпечатан в Венеции в 1724 году. Хорошо бы Гердеру напасть на след этого весьма интересного произведения в каком-нибудь каталоге.

У меня достало мужества одновременно обдумать три моих последних тома, теперь я точно знаю, что мне надо сделать: только бы бог дал сил и удачи.

Прошлая неделя была так содержательна, что в воспоминаниях сойдет за целый месяц.

Прежде всего я составил план «Фауста», надеюсь, что сия операция мне удалась. Конечно, завершать его теперь, а не пятнадцать лет тому назад дело совсем другое, — думается, хуже он от этого не станет, тем паче что я, кажется, подхватил нить. В смысле общего тона я успокоился: одна сцена уже написана, и, если малость подкоптить бумагу, никто не отличит ее от старых. Долгий покой и оторванность от привычной жизни вернули меня в русло собственного моего бытия, я и сам удивляюсь, до чего я все еще похож на себя и как мало на моей внутренней сущности отразились годы и события. Старая рукопись иной раз наводит меня на размышления. Главные сцены написаны с ходу, без предварительного плана; сейчас она вся пожелтела и так захватана (листы ее никогда не были сшиты), такая стала трухлявая, края листов до того изодраны, что, право же, она похожа на остатки старинного кодекса. И если прежде, когда я над нею работал, я переносился в былой мир, с его представлениями, с его судопроизводством, то теперь я вынужден переноситься в годы, мною самим прожитые и пережитые.

План «Тассо» тоже приведен в порядок, переписаны набело и почти все смешанные стихотворения для последнего тома. «Des Künstlers Erdewallen»[8] я должен сделать заново и к нему присовокупить «Апофеоз». Я изучил много нужного для сих юношеских фантазии, и теперь все подробности мне уяснились. Меня это очень радует, я надеюсь на удачу и с тремя последними томами, мысленно я уже вижу их перед собой, лишь бы у меня достало досуга и душевного спокойствия, чтобы не спеша, шаг за шагом, выполнить задуманное.

Для расположения мелких стихотворений я взял за образец твои собрания «Разрозненных листков» и полагаю, что нашел

хороший способ объединить столь разнородные мелочи, а также средство сделать сколько-нибудь удобочитаемыми стихотворения очень уж индивидуальные и написанные под влиянием минуты.

Не успел я покончить со всеми этими раздумьями, как пришло новое издание Менгса, книга сейчас для меня бесконечно интересная, ибо я наконец обрел чувственные представления, без которых у него, пожалуй, не прочтешь ни единой строки. Это во всех отношениях превосходная книга, любая ее страница нужна и полезна. Менгсовым «Фрагментам о красоте», которые многим кажутся столь темными, я обязан разными счастливыми озарениями.

Кроме того, я много думал о цвете, — вопрос для меня в высшей степени важный, ибо в нем я до сих пор мало что смыслю. Теперь я уверен, что, немного поупражнявшись и хорошенько поразмыслив, я сумею насладиться и этим прекрасным даром нашего мира.

Как-то утром я побывал в галерее Боргезе, которую не видел уже целый год, и, к великой своей радости, обнаружил, что рассматриваю ее со значительно возросшим пониманием. Несказанные сокровища искусства находятся во владении князя Боргезе.

Рим, 22 марта.

Сегодня не пойду в собор св. Петра, хочу написать вам страничку. Вот уже отошла и святая неделя со своими чудесами и тяготами. Завтра еще раз приобщимся благодати и мысли наши обратятся к иной жизни.

Старания и усилия друзей позволили мне видеть и слышать все происходящее; самое трудное, пробравшись через отчаянную давку, увидеть омовение ног папы и раздачу пищи паломникам.

Музыка капеллы невообразимо прекрасна. В особенности «Miserere» Аллегри и так называемые импроперии, укоры, с коими распятый бог обращается к своему народу. Их поют во время ранней обедни в страстную пятницу. Мгновение, когда папа, без своего пышного облачения, спускается с престола, чтобы вознести молитвы кресту, все же прочие в безмолвии остаются на своих местах и хор запевает: «Populus meus, quid feci tibi?» — пожалуй, самое прекрасное во всем торжественном богослужении. Об этом я расскажу вам устно, а то, что вам можно переслать из музыки, привезет с собою Кайзер. Я, как и мечтал, насладился всем, чем только можно наслаждаться на богослужениях, и многое из сделанных наблюдений занес в свои записные книжки. Ничего особо эффектного, как теперь принято выражаться, я, собственно, не заметил, ничто не привело меня в восторг, но в восхищенье —

многое, ибо нельзя не отдать справедливости католической церкви — христианские предания она разработала в совершенстве. Когда мессу отправляет папа, да еще в Сикстинской капелле, все, что во время обычных богослужений выглядит довольно уныло, свершается с великим достоинством и безупречным вкусом. Но возможно сие лишь там, где уже много столетий церковь пользуется услугами всех искусств.

Отдельные эпизоды сейчас рассказать еще невозможно. Если бы я в связи с этим пробудившимся во мне интересом вновь не задержался в Риме, веря, что пробуду здесь еще долго, мне можно было бы уехать на следующей неделе. Но и это оказалось к лучшему. Я еще успел немало поработать, и отрезок времени, — а я возлагал на него немало надежд, — закончился и закруглился. Странное, конечно, чувство вдруг сойти с дороги, по которой ты шел твердым и быстрым шагом, но с этим надобно смириться, а не предаваться скорби. В расставанье надолго всегда есть какой-то зачаток безумия, и следует вести себя осторожно, чтобы не взрастить и не выпестовать его.

Из Неаполя пришли прекрасные зарисовки, сделанные Кпипом, художником, который сопутствовал мне в путешествии по Сицилии. Это прелестные и сочные плоды моих странствий, они и вам придутся по вкусу, — ведь лучший подарок то, что человек видит своими глазами. Некоторые из них, в смысле общего тона и красок, удались на диво, вы с трудом поверите, что существует такая красота.

Могу еще добавить, что в Риме я с каждым днем становился счастливее и что мое счастье еще и поныне возрастает. И если печальным кажется предстоящий отъезд, тогда как я, собственно, заслуживаю права остаться здесь еще, то все же большим успокоением для меня является, что я оставался здесь, покуда не достиг этого сознания.

Но вот с ужасающим шумом воскрес Христос. Из крепости раздается залп, звонят все колокола, во всех концах Рима, на всех углах с треском взрываются петарды, шутихи, бенгальские огни. Одиннадцать утра.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ

Рим, 10 апреля 1788 г.

Я еще в Риме, но только телом, не душой. Твердо решив уехать, я утратил интерес к пребыванью здесь и готов был к отъезду уже две недели тому назад. Остаюсь лишь из-за Кайзера, да еще из-за Бури. Первый должен закончить кое-какие работы,

которые нельзя сделать нигде, кроме Рима, — собрать различные ноты. Второй — завершить эскизы к картине, мною придуманной; при этом он нуждается в моих советах.

Тем не менее я назначил свой отъезд на 21 или 22 апреля.

Рим, 14 апреля.

Кажется, невозможно пребывать в большем смятении. Я непрерывно работал над моделированием ступни, как вдруг мне взбрело на ум, что надо всерьез взяться за «Тассо», мои мысли тотчас же обратились к нему — лучшего спутника для предстоящего путешествия и придумать нельзя. Между тем идет укладка, и только тут замечаешь, сколько ты всего насобирал, сколько натащил в свое жилище.

ИЗ РАССКАЗА

…Когда ты, как в Риме, все время находишься среди пластических произведений древнего искусства — чувствуешь себя как в природе, перед чем-то бесконечным и непостижимым. Впечатление от возвышенного, от прекрасного, как ни благодетельно оно само по себе, тревожит нас, мы жаждем выразить в словах наши чувства, наши воззрения, но, чтобы это сделать, нам надо сперва познать, постигнуть, осмыслить; мы начинаем подразделять, различать, систематизировать, но и это оказывается если не невозможным, то, безусловно, очень трудным, и мы, наконец, возвращаемся к чисто созерцательному, услаждающему душу восхищению.

Вообще же сильнейшее воздействие произведений искусства древних заключается в том, что оно заставляет нас живо представлять себе эпоху, в которую было создано, равно как и его создателей. В окружении античных скульптур человек чувствует себя среди живой природы, убедившись, сколь многообразно строение человеческого тела, мы как бы возвращаемся к первозданному его состоянию и сами ощущаем себя живыми, еще не испорченными людьми. Даже одежда у них под стать природе, она облегает и подчеркивает фигуру, что способствует общему благоприятному впечатлению. В Риме, изо дня в день наслаждаясь этими произведениями, становишься алчным, только и думаешь, как бы окружить себя этими образами, и гипсовые слепки отлично выполняют роль факсимиле. Не успеешь открыть глаза поутру, и тебя уже обступает прекраснейшее. Такие образы сопровождают все наши мысли и чувства, отчего впасть в варварство уже становится невозможным.

…Я говорю о сокровищах, что лишь несколько недель простояли в нашей новой квартире, — так человек, обдумывающий свое завещание, спокойно, но и растроганно смотрит на все, его окружающее. Хлопоты, трудности, расходы, известная беспомощность в таких делах удержали меня от немедленной отсылки лучших произведений в Германию. Юнона Лудовизи предназначалась нашей славной Анжелике, другое, правда, немногое, — ближайшим друзьям-художникам, кое-что являлось собственностью Тишбейна, остальное должно было остаться неприкосновенным, чтобы Бури, намеревавшийся после моего отъезда поселиться в моей квартире, мог это использовать по собственному усмотрению.

Покуда я пишу, мысли уносят меня в прошлое, и в памяти воскресают случайности, позволившие мне ознакомиться с произведениями искусства, которые поразили меня, при еще слабо развитом мышлении исполнили мое сердце чрезмерным восторгом, последствием же этого стало мое неудержимое стремление в Италию.

В ранней юности я в своем родном городе никаких скульптур не видел. В Лейпциге на меня такое впечатление произвел фавн, пустившийся в пляс и одновременно бьющий в цимбалы, что я и сейчас словно бы вижу эту оригинальную фигуру и ее окружение. После долгого перерыва меня как будто бросили в открытое море, когда я внезапно очутился среди Мангеймской коллекции в зале, ярко освещенном верхним светом.

Впоследствии во Франкфурте появились гипсоотливщики, они пронесли с собой через Альпы целый ряд оригинальных слепков, которые размножили, оригиналы же продали по сравнительно недорогой цене. Мне удалось приобрести очень недурную голову Аполлона, дочерей Ниобеи, головку, которая позднее была признана головкой Сафо, и еще кое-что. Эти благородные слепки стали для меня своего рода тайным противоядием, когда слабое, фальшивое, манерное, казалось, вот-вот завладеет мною. Собственно говоря, я все время испытывал боль неудовлетворенности, тоски по неведомому, правда, часто подавляемую, но и неизменно оживающую вновь. Боль эта сделалась почти нестерпимой, когда я, покидая Рим, вынужден был расстаться с тем, чего так долго желал и наконец добился.

ИЗ РАССКАЗА

…Думается, никого не удивит, что я, нанося прощальные визиты, не позабыл о прелестной жительнице Милана. В

последнее время я наслушался о ней много того, что меня порадовало: она все больше сближалась с Анжеликой и в высшем обществе, в которое та ее ввела, держалась премило. К тому же у меня имелись основания и охота предполагать, что некий состоятельный молодой человек, бывший в весьма дружеских отношениях с Цукки, не остался бесчувственным к ее прелести и склонен был предложить ей руку и сердце.

Я застал ее в том же кокетливом утреннем платьице, как некогда в Кастель-Гандольфо. Она встретила меня приветливо и с присущей ей милой и естественной грацией снова поблагодарила за мое участие.

«Я никогда не забуду, — сказала она, — что, немного придя в себя, среди любимых и уважаемых имен тех, кто осведомлялся обо мне, услышала и ваше имя. Я неоднократно пыталась узнать, правда ли это. Вы долгие недели справлялись обо мне, покуда мой брат, нанеся вам визит, не поблагодарил вас за нас обоих. Не знаю уж, сказал ли он все, что я ему поручила сказать, я и сама бы охотно пошла вместе с ним, если бы это не противоречило законам благоприличия». Затем она спросила, каким путем я отправляюсь домой, и, когда я изложил свой план путешествия, заметила; «Хорошо, что вы достаточно богаты и можете не отказывать себе в такого рода удовольствиях: нам приходится довольствоваться местом, которое назначил нам господь бог и его святые. Я уж давно смотрю из своего окна, как приходят и уходят корабли, как производится погрузка и разгрузка; это очень меня занимает, и я иногда думаю: куда же и откуда все это везут?» Ее окна выходили на ступени Рипетты, где движенье было достаточно оживленным.

Она с нежностью говорила о своем брате, радовалась, что хорошо ведет его хозяйство и что при весьма скромном жалованье ему все же удается вкладывать кое-что в сравнительно выгодную торговлю; словом, ознакомила меня со всеми подробностями своей жизни. Я радовался ее разговорчивости, — ведь когда перед моим мысленным взором пронеслись все перипетии наших нежных отношений, я понял, что роль в них мне выпала довольно странная. Но тут вошел ее брат, и прощанье наше завершилось умеренно и прозаично.

Выйдя на улицу, я увидел свой экипаж без кучера, на розыски которого пустился какой-то расторопный мальчуган. Она выглянула из окна антресолей красивого дома, где они жили; окна были невысоко, казалось, можно протянуть руки друг другу.

«Как видите, меня не хотят увозить от вас, — крикнул я, — знают, верно, как мне тяжело с вами расставаться».

Что она мне ответила, что я еще сказал ей, весь ход этого

очаровательного разговора, свободного от каких бы то ни было оков, разговора, в котором раскрылся внутренний мир двух почти неосознанно любящих друг друга, я не хочу осквернять повторением и пересказом. То было удивительное, случайно вырвавшееся, вернее, вынужденное внутренней потребностью последнее лаконическое признание в невиннейшей и нежнейшей взаимной склонности, почему оно никогда не изгладится из моей души, из моих воспоминаний.

Проститься с Римом мне, видно, было суждено в особо торжественной обстановке: три ночи кряду полная луна стояла на безоблачном небе, и волшебство, нередко распространявшее на меня свои чары, объяв весь огромный город, сейчас действовало еще сильнее. Большие прозрачно-светлые массы, словно бы озаренные мягким дневным светом, контрастирующие с темными тенями, которые изредка просветлялись облаками, вырывавшими из мрака какой-то абрис, казалось, переселяли нас в другой, простой и больший, мир.

После дней, проведенных в рассеянии, порою горьких, я любил бродить по Риму с немногими друзьями, но теперь отправился один. Пройдя, вероятно, в последний раз, по длинному Корсо, я поднялся на Капитолий, высившийся подобно заколдованному замку в пустыне. Статуя Марка-Аврелия напомнила мне статую командора в «Дон Жуане», тем самым давая понять одинокому страннику, что он затевает нечто неподобающее. Но я все же спустился по задней лестнице. Темная, отбрасывая еще более темные тени, передо мною выросла триумфальная арка Септимия Севера; на безлюдной Виа-Сакра хорошо мне знакомые здания казались неведомыми и призрачными. Когда же я приблизился к величавым руинам Колизея и через решетку заглянул в его запертые недра — не буду отрицать, дрожь пробежала у меня по спине и ускорила мое возвращение.

Огромные массы производят необычное впечатление — возвышенного и одновременно доступного; прогулки по Риму дали мне возможность охватить всю необозримую summa summarum моего здешнего пребывания. Все это, глубоко запавшее в мою взволнованную душу, создало настроение, которое я позволю себе назвать героико-элегическим; оно стремилось излиться в стихотворной элегии.

И как это в такие мгновения мне на память не пришла Овидиева «Элегия». Ведь и он, уже изгнанник, в лунную ночь должен был покинуть Рим. «Cum repeto noctem!»— воспоминание, им созданное в глуши, на Черном море, в печали и нищете, не

шло у меня из головы, и я все твердил его, постепенно в точности вспоминая отдельные части, но оно, сбивая меня с толку, мешало мне написать свое: впоследствии я было принялся за него, но до конца так и не довел.

Только возникнет в уме печальнейшей ночи той образ,
Той, что во Граде моей жизни пределом была,
Вспомню лишь ночь, когда дорогого столь много оставил,
Льется еще из очей даже и ныне слеза.
И замолчали уже голоса человечьи и песьи,
Коней ночных в высоте правила бегом Луна.
Я же ее созерцал и на оный смотрел Капитолий,
Что понапрасну восстал близко от Ларов моих… [9]

КОММЕНТАРИИ

В 1814 году Гете закончил третью часть своей знаменитой автобиографии «Поэзия и правда». Она писалась в тревожные годы, во время последней схватки Наполеона с европейской коалицией — двух его кампаний 1813–1814 годов. 6 апреля 1814 года Наполеон подписал — «за себя и своих наследников» — свое первое отречение от трона Франции. О том, что воспоследует еще и второе отречение, что Европе еще предстоят «Сто дней» — краткая реприза его теперь уже скорее военной, нежели политической деятельности, он не предвидел. Но пока в Европе считалось, что наконец-то воцарился вожделенный мир после стольких лет тягчайших, кровопролитнейших испытаний.

Так или иначе, но в том же 1814 году, почти совпавшая с днем отречения Наполеона, перед Гете лежала законченная третья часть его автобиографии. Правда, ему еще надо было написать четвертую, заключительную, часть «Поэзии и правды». Но автор с этим не спешил. В ней, как известно, много страниц посвящены его роману с Лили Шёнеман, бывшей его невестой, а теперь баронессой фон Тюркгейм. А она была еще жива, и с этим надо было считаться.

Все грозные годы войны Гете упорно работал над историей своей жизни, в этом видел свой патриотический долг, а когда его осудительно спрашивали, почему он не пишет «военных песен», он отвечал: «Слагать военные песни, сидя у себя в кабинете? Вот уж не в моем духе! На биваке, где слышишь ржание конной разведки, — куда ни шло… Служить отечеству можно по-разному; лишь бы с затратой всех сил, отпущенных тебе богом». Кстати, из этого тома читатель узнает, что Гете, участвуя в кампании во Франции 1792 года, сам не раз ездил в конную разведку, хоть и не был офицером и не носил никогда оружия.

Но с окончанием войны работа над «Поэзией и правдой» внезапно прерывается (едва ли только из нежелания огорчить свою бывшую невесту). Гете почувствовал себя помолодевшим, обновленным, как бы вторично родившимся. Увлеченный открывшейся ему мудрой восточной поэзией Гафиза и нежданно-негаданно свалившимся на него чувством к Марианне фон Виллемер — прельстительной Зулейке его «Западно-восточного дивана», Гете вновь отдается лирической стихии. Стихи текут, слагаются сами собой, ничем не похожие на те, что создавались раньше.

Это не значит, конечно, что Гете навсегда расстался с автобиографической прозой. Отход от темы, некогда ему близкой,

для Гете обычно означал не разрыв, а разлуку и предвидение новой встречи. Он твердо знал, что рано или поздно он непременно напишет четвертую часть «Поэзии и правды», тем самым завершив свой первый, уже непревзойденный, автобиографический труд. И он, как известно, действительно написал запрограммированную четвертую часть — почти в один год, что и «Фауста», на восемьдесят первом — восемьдесят втором году своей жизни. И характерная черта работы Гете над его произведениями, в частности, автобиографическими: ему требовалось, чтобы «былые переживания переплетались с новейшими» и «минувшее вселяло бы веру в лучшее будущее», — так он выразился в письме к своему другу, музыканту Цельтеру. Обобщенно он высказал эту мысль в своем афоризме: «Хронику пусть пишет только тот, кому важна современность». Возможно, что такие рассуждения великого писателя и мыслителя внушат кому-нибудь скептический вопрос: а был ли Гете, столь преданный сегодняшнему дню, призванным мемуаристом?

Поспешу успокоить скептиков другими словами, сказанными Гете: «Даже ставя себе целью самое широкое обобщение, мы должны неустанно вдаваться в мельчайшие подробности». Вне контекста истории, вне общественно-бытовой и духовной сферы, его окружавшей, человек остается загадкой: ключ к нему потерян. Иными словами: Гете как мемуарист старался создавать реалистически неуязвимые, полноценные сочинения. Да и мог ли он иначе поступать, касаясь давно минувшей страсти, если б в его сердце не теснились нужные слова, порожденные новым чувством, к другой прелестной девушке? Заключительная часть «Поэзии и правды» была, как сказано, окончена за год до смерти Гете, но страницы, посвященные роману с Лили Шёнеман, писались в 1823-м, в Мариенбаде, когда он, глубокий старик, думал жениться на юной Ульрике фон Левецов. Новые переживания служили Гете как бы палитрой, с которой он брал свежие краски, чтобы воссоздавать события полувековой давности.

Нет, Гете не утратил желания писать в автобиографическом роде. Напротив, он долгие годы, чуть ли не десятилетия, еще носился с мыслью создать свою «большую биографию», которая бы охватила весь пройденный им долгий жизненный путь. Сначала Гете думал просто хронологически продолжить свою первую автобиографию, доведенную до 1775 года, то есть до переезда в Веймар, где он, за малыми перерывами, прожил до дня своей кончины. Но очень скоро ему пришлось признать, что так продолжить свое жизнеописание он не сможет. Действующие лица «Поэзии и правды» почти все уже лежали в могиле.

Напротив, в более поздние годы, в основном протекавшие в Веймаре, Гете жил среди людей, многие из которых еще благополучно здравствовали; иные из них состояли на герцогской службе, другие входили в карликовый — так называемый «большой веймарский свет». Будучи членом Общества Гете, я не раз наезжал в этот международный культурный центр, и молодые ученые не без скрытого юмора мне рассказывали, что потомки бывших знакомых и сослуживцев Гете до сих пор спорят о степени близости их предков к великому человеку. Говорить прямодушно и правдиво о своих новых связях было тогда для министра и «фаворита» Гете совершенно невозможно.

И все же Гете не отказался создавать новые автобиографические сочинения; но никак не в прямое продолжение «Поэзии и правды», а разве лишь в дополнение к его знаменитому историко-биографическому труду. Они должны были войти (да и вошли потом… на время) во «второй раздел» сочинения под общим заглавием «Из моей жизни» в качестве «частей» этого раздела. В отличие от «автобиографического первенца» Гете (то есть «Поэзии и правды»), произведения, воссоздающего весь «довеймарский» период писателя, его детские и юношеские годы, автобиографическая проза, предназначавшаяся для «второго раздела», должна была, по замыслу автора, отражать только относительно краткие, знаменательные эпизоды, выхваченные из его жизни: неполных два года, проведенных в Италии (1787–1788), всего лишь год, им прожитый в стане союзной армии, безуспешно стремившейся сломить сопротивление молодой республики и восстановить во Франции поверженную дворянскую монархию Бурбонов.

Оба упомянутых эпизода стали книгами только по прошествии нескольких десятилетий и поступили на книжный рынок еще не под теми заглавиями, которые впоследствии за ними закрепились. На титульном листе «Итальянского путешествия» значилось: «Из моей жизни. Раздел второй, часть вторая (1817)», — только и всего. В эти две части, однако, не уложился весь материал, относящийся к годам, проведенным в Италии; предполагалась еще и третья, а надо думать, и четвертая часть, поскольку следующий автобиографический эпизод (своеобразное участие Гете — в качестве зрителя, а не воина — в первой коалиции против тогда еще (в 1792 г.) революционной, новой Франции) был помечен как «Из моей жизни. Раздел второй, часть пятая». Дело в том, что ко дню выхода в свет «Кампании во Франции…» (1821) «Итальянское путешествие» оставалось по-прежнему фрагментом; и отсюда неверный, как потом оказалось, подсчет частей второго «Раздела». Читателю первых двух частей

«путешествия» пришлось-таки изрядно понабраться терпения: третья «часть» была напечатана только в 1822 году, годом позже появления на книжном рынке произведения, позднее названного «Кампанией во Франции 1792 года».

Заглавия, под которыми оба названных произведения вошли в историю мировой литературы — «Итальянское путешествие» и «Кампания во Франции 1792 года», — закрепились за ними только в последнем прижизненном издании Собрания сочинений Гете (в так называемой «Ausgabe letzter Hand»).

Для Гете-мемуариста характерно, что он нуждался в подспорьях, в источниках, которые давали ему возможность более отчетливо припоминать давно минувшее, воскрешать его в памяти писателя, которая оставалась главным источником его общения с прошлым. Когда он работал над «Поэзией и правдой», он прибегал к таким источникам, как рассказы его матери о ранних годах его детства, его же давние дневники, письма и сочинения его современников, книги историко-литературного, философского, богословского содержания, казенные описания коронационных церемоний, но все это вкупе был только грубый, так сказать, первичный, материал — своего рода трамплин, оттолкнувшись от которого Гете мог подыматься в сферу высокого поэтического творчества.

Иначе дело обстояло при работе над «Итальянским путешествием». «Эта книжечка, — так писал он Цельтеру, единственному человеку, с которым Гете перешел на братское «ты» уже в преклонном возрасте, — получит совсем особый облик именно оттого, что ее основу образуют старые бумаги, порожденные мгновением. Я стараюсь лишь самую малость что-либо менять в них: удаляю незначительные случайные высказывания и досадные повторения. Случается, правда, что кое-где, не в ущерб простодушной наивности, я лучше и подробнее излагаю какое-либо происшествие». Сличая текст «Итальянского путешествия» с подлинными письмами Гете, известный немецкий литературовед XIX века Эрих Шмидт констатировал прежде всего изъятие автором всех мест, относящихся к былой веймарской подруге поэта Шарлотте фон Штейн, хотя среди них были представлены едва ли не замечательнейшие образцы его любовных писем. Вообще же редактирование, которому Гете подверг «старые бумаги», ставило себе цель «сообщить большую законченность таковым, — как выразился Э. Шмидт, — акцентировать главное, предоставляя ему наиболее почетное и броское место. Так Гете письмо из Вероны прямо начинает с описания арены, а письмо из Болоньи — с Рафаэлевой «святой Цецилии» и т. д. (в оригинальных письмах этим «ударным

впечатлениям» отведено более скромное место).

К сожалению, в томе 9 нашего издания «Итальянское путешествие» представлено только в извлечениях, как это делается и в немецких собраниях сочинений, не претендующих на академическую полноту.

Но эта наша «вина» перед советским читателем в значительной степени умаляется, если принять во внимание, что данное сочинение Гете — отнюдь не путеводитель по итальянским достопримечательностям, а прежде всего замечательная глава духовной биографии великого поэта и человека; а с нею читатель может познакомиться и по неполному тексту. В Италии он смотрел и изучал искусства былых времен, сам небезуспешно писал и рисовал, а главное, завершил или приблизил к завершению ряд своих давних замыслов, о чем он «не смел и мечтать» до бегства в Италию; он даже думал включить их в свое Собрание сочинений в виде фрагментов, «так как считал себя уже умершим».

«Я живу здесь с ощущением покоя и ясности духа, чего уже не было давно, — пишет он из Рима. — Каждый день — впервые увиденное замечательное произведение искусства. И каждый же день перед глазами свежие, великие, необычные впечатления от целого (Гете здесь понимает под «целым» Италию и итальянский народ. — *Н. В.),* о котором я долго думал и грезил, но чего никогда не достигаешь силою одного лишь воображения».

И в другом месте: «Главная идея, которая мною вновь завладела, это народ… Народ — основа, на которой все стоит и зиждется. Целое создает народ, масса, а никак не отдельные единицы. На площади и на набережных, на гондолах и во дворцах. Покупатель и продавец, нищий и рыбак, соседка, адвокат и его противник — все живет и движется, и во все сует свой нос, говорит и божится, кричит и хвалит свой товар, и поет, и проклинает, и шумит, шумит». В более обобщенном виде Гете выскажет ту же мысль в разговоре с Эккерманом: «По сути, все мы коллективные существа, что бы мы о себе ни воображали. В самом деле, как незначительно то, что мы можем назвать своей собственностью!»

Поистине Гете в Италии пережил свое «второе рождение», создал под впечатлением великих произведений древнего мира и высокого Ренессанса (прежде всего Микеланджело и Рафаэля, конечно) свою великую классику: «Ифигению», «Тассо», «Эгмонта». О двух первых, стихотворных, драмах можно сказать словами Шиллера: «Здесь песней стал суровый наш язык». «Эгмонт» по праву стоит в одном ряду с этими двумя великими творениями. Его язык, в первых четырех действиях разговорный,

обыденный, в пятом действии подымается над этой классически совершенной прозой, звучит как героическая оратория в сопровождении гениальной музыки Бетховена. Завершение этих трех шедевров — наглядный творческий результат пребывания поэта на классической почве Италии. Там же, в Риме, были написаны и две сцены для «Фауста».

Редактируя в 1814 году «старые бумаги» для книги «Итальянское путешествие», Гете мог бы предвосхитить свое позднейшее (написанное в Мариенбаде летом 1823 г.) признание, что для мемуариста всего желаннее, чтобы «былые переживания переплетались с новейшими». В Италии 1787–1788 годов Гете проник оком большого художника в «открытую тайну» высокой классики; в 1814 году Гете открылась поэзия магометанского Востока. Эта новая радость перекликалась с радостью, некогда пережитой в Италии.

Гете всегда привлекали новые творческие искания. Он был великий apostata (отступник):

Пусть из грубой глины грек
Давний образ лепит
И вдохнет в него навек
Плоти жаркий трепет;
Нам милей, лицо склонив
Над Евфрат-рекою,
Водной зыби перелив
Колебать рукою.

Эти строки знаменуют расширение гетевского поэтического кругозора, выход из замкнутого круга обязательного классицизма, устремление в иные сферы духа, подлежащие освоению.

В «Итальянском путешествии» соприсутствует и полемическое начало, незаметное для непосвященных современников Гете, но вполне дошедшее до тех, против кого эта скрытая, часто лишь косвенная полемика была направлена. Дело в том, что ко времени, когда вышли первая и вторая части «Путешествия», были, можно сказать, заново открыты братьями Буассере произведения старых немецких мастеров, живописцев и иконописцев XIV, XV, XVI и начала XVII столетий. Сульпиций Буассере и его брат (осиротевшие дети богатых родителей) скупили эти произведения баснословно дешево и развесили и расставили их в своем гейдельбергском доме. Этот ценный клад старонемецкого искусства произвел чрезвычайное впечатление в образованных кругах немецкого общества, особенно на

романтиков. Гете во время своей поездки на праздник святого Рохуса тоже видел полотна и доски этих мастеров и воздал им должное. Но когда в «правых кругах» живописцев-романтиков стали подражать старым мастерам и, ради вящего благочестия, считали возможным отступить от учения о перспективе, Гете восстал против «таких новшеств» неонемецко-христианских художников, противопоставив им плавный прогресс техники искусств в эпоху Ренессанса и в определенный период искусства древних.

О том, как пребывание на плодородной италийской южной почве содействовало естественнонаучным открытиям Гете, укрепило основу его морфологии растительного и животного мира, великий поэт, мыслитель и ученый с благодарностью вспоминал еще в глубокой старости.

Аркадия — область, расположенная на полуострове Пелопоннес (южная Греция). В пасторальной поэзии со времен «Эклог» Вергилия — «страна счастливых пастухов». «И я в Аркадии» — перевод с латинского «Et in Arkadia ego». Когда и кто ввел это изречение в языковой обиход, неизвестно. Смысл этого изречения толковался по-разному. Несомненно одно: приведенное изречение уже в античные времена сопоставлялось с понятием смерти в том смысле, что как бы ты ни был счастлив, счастье твое недолговечно, всегда ограничено смертью. Древнее изречение широко распространилось в XVIII в. именно в таком его истолковании. В этом смысле толковал его и замечательный художник Франции XVII в. Никола Пуссен (1593–1665), посвятивший ему две свои картины. Первая из них писалась в 1626–1628 гг. (хранится в Лувре): два пастуха испуганно смотрят на саркофаг с водруженным на нем черепом. Латинское «Et in Arkadia ego» высечено на саркофаге; на второй картине саркофаг заменен более скромной могилой с той же надгробной надписью, которую силятся разобрать аркадские пастухи. Очевидно, что и он в обоих вариантах проводил идею неизбежного ограничения человеческого счастья беспощадной смертью. На некоторых полотнах предшественников и современников Пуссена представлена мышь, грызущая череп (символ тленности и гибели всего живого); Пуссен не прибегает к этой аллегории. Первый немецкий перевод латинского речения, по общему признанию, принадлежит философу и литератору Фридриху Якоби (1743–1819). Гердер (1744–1803) провозгласил в своих «Идеях к философии истории человечества» (кн. 7, гл. 1) изречение «И я в Аркадии» надгробной надписью для всех живых существ во всегда обновляющемся творении». Гете это речение не сочетал с

понятием смерти и с ее аллегорическими атрибутами — с черепом мертвеца и с мышью, его грызущей. Для него «И я в Аркадии» означало «И я был счастлив» (живя в Италии). Он избрал это изречение эпиграфом к двум первым изданиям «Итальянского путешествия»; в последнем прижизненном издании Собрания сочинений он снят в связи с тем, что Гете отказался от мысли создать «большую автобиографию», серию под общим супертитулом «Из моей жизни». Менее педантические издатели (и притом авторитетнейшие) и поныне проставляют этот эпиграф, так точно он передает настроение и оценку поэтом своего пребывания в Италии. Редакция нашего издания последовала их примеру.

Здешнее общество — в первую очередь супруги Гердеры, а также Шарлотта фон Штейн (уехала за две недели до дня рождения Гете 28 августа — то есть 14 августа 1786 г.) и герцог Карл-Август, покинувший Карлсбад в самый день рождения великого поэта, то есть в полдень 28 августа.

Цвода — ныне Дейхлянд.

Я без промедления отправился в иезуитскую коллегию… — Коллегиями называются школы Ордена иезуитов (основанного в 1539 г.), главного орудия папы в эпоху контрреформации. В день посещения Гете коллегии были поставлены силами учащихся две пьесы религиозно-морального содержания: буржуазная трагедия «Так называемое человеколюбие» и комедия с пением «Бессердечный слуга»; эти пьесы, видимо, были сочинены педагогами учебного заведения (авторы пьес не обозначены).

Наброски Рубенса. — Восемнадцать эскизов из жизни королевы Франции Марии Медичи, вдовы короля Генриха IV, предназначавшиеся для Люксембургского дворца в Париже, были куплены курфюрстом Баварским Карлом-Теодором (1777–1799). Ныне хранятся в мюнхенской Старой пинакотеке. Рубенс написал 18 полотен в честь Марии Медичи (хранятся в Лувре), точно повторяющих мотивы означенных набросков.

Естественноисторический кабинет находился в иезуитской коллегии, построенной герцогом Вильгельмом V в XVI в. западнее Мюнхена.

Кнебель Карл-Людвиг фон (1744–1834) — друг Гете, переводчик Лукреция, в 1785 г. путешествовал по Тиролю и Баварии.

Хакет Бальтазар — естествоиспытатель, профессор Львовского университета, автор книги «Путешествия по Альпам».

Арфист с дочерью. — Мотив арфиста с дочерью, старика и Миньоны, занимает значительное место в романе Гете «Годы учения Вильгельма Мейстера» (т. 7 наст. Собр. соч.); но

повстречавшиеся на пути из монастыря Бенедиктбейерна к монастырю Вальхензее отец и дочь, если, быть может, и натолкнули Гете на соответствующий мотив в означенном романе, то ни в коем случае не являются прототипами образов, позднее созданных поэтом.

Монастырь Эйнзидель — старинный монастырь в Швейцарии, излюбленное место паломников из католической Германии.

Сант-Яго-де-Компостелло — гробница святого Якова Компостельского в городе Сантьяго в Испании, один из главных центров паломничества в католическом мире.

Гигантская известняковая круча. — По преданию, поднимаясь на нее, император Максимилиан (1459–1519) заблудился и был спасен от неминуемой гибели ангелом. — *Зёллер* — персонаж из юношеской комедии Гете «Совиновники» (см. т. 5 наст. Собр. соч).

Добавлю еще несколько слов о погоде… — Гете всю свою жизнь старался уяснить себе «тайны природы». Еще в 1825 г. семидесятилетним стариком он написал специальную статью «Опыт учения о погоде».

Гозан — благословенная местность в Египте, на реке того же названия, предоставленная Иосифом его отцу Иакову и братьям его.

Гёшен — издатель первого, санкционированного автором Собрания сочинений в 8-ми томах (до этого Собрания его сочинения печатались издателями без согласия Гете и без выплаты ему гонораров). Для этого издания Гете заканчивал в Италии ряд не завершенных им сочинений.

Фогель Христиан — секретарь Гете в Карлсбаде и позднее, во время кампании во Франции 1792 г., уже будучи веймарским чиновником.

…стихотворение от имени «Птиц». — «Птицы» — сатирическая комедия Гете, переделка одноименной комедии Аристофана (444–380).

Трейфрейнд (верный друг) — герой Гетевой комедии «Птицы».

Эвердинген Аллан ван (1621–1675) — голландский художник, которого Гете вспомнил, глядя на эффектные «героические» ландшафты Северной Италии.

«Comme les pêches et les mélons» и т. д. — прозаический перевод французского четверостишия, написанного над окном гостиницы «Белый агнец» в Регенсбурге: «Как персики и груши существуют для баронов, так розги и палки — для глупцов», — сказал Соломон».

Роос Генрих (1631–1685) — немецкий художник, с 1657 г. проживал во Франкфурте-на-Майне. Художественное образование получил в Голландии.

Они выгнали иезуитов… — Папа Климент XIV распустил Орден иезуитов в 1773 г.; этому предшествовало изгнание иезуитов из Португалии (1759), из Франции (1764), из Испании (1767) и из ряда других стран.

Графиня (собственно, маркиза) *Лантиери* — рожденная графиня Вагеншпер, немка по крови, познакомилась с Гете в Карлсбаде; ее имя не раз встретится ниже.

Перевод стиха Вергилия *«Fructibus»* и т. д.: «О, Бенак, звучащий волнами и ропотом моря!» (Перевод Ф. Петровского.)

Перевод разговора Гете с коридорным: «Здесь, внизу, к вашим услугам». — «Где именно?» — «Всюду, где хотите». — «Встречный ветер… сыграл со мною недобрую шутку…» — Забавная сцена подозрения Гете в шпионаже в пользу Австрии.

Роль Трейфрейнда. — Гете сам исполнял ее в герцогском дворце Эттинбурге (близ Веймара); Трейфрейнд благотворно влиял на умонастроение хора птиц.

…но император Иосиф — государь зело беспокойный… — Общее мнение об Иосифе II как в германских землях, так и в Европе (см. «Поэзия и правда», т. 3 наст. Собр. соч.); ему прежде всего ставили в вину посягательство на права и экономическое благополучие дворянства (в первую очередь венгерских магнатов). Собственно, Иосиф II продолжал борьбу Габсбургов за усиление монархической власти за счет умаления власти высшего венгерского дворянства, но он усложнил ее идеями французских физиократов, предусматривавших отмену крепостного права и феодальных привилегий помещиков, не учитывая ни силы политического потенциала венгерского дворянства, ни недоверия забитых крестьян к любым реформам, исходившим от верховной власти, в течение ряда веков превратившей крестьянство в бесправную собственность помещика. Всем было также известно стремление Иосифа усилить свою власть в Германии, что подтверждалось его безуспешной попыткой подчинить своей власти Баварию.

Болонгаро Марко (1712–1779) — был основателем большого торгового дома во Франкфурте-на-Майне; все прочие итальянские семьи, перечисляемые в этой записи, встречаются в книге 13 «Поэзии и правды» (см. т. 3 наст. Собр. соч).

Фербер Иоганн Якоб — автор книги «Письма о природных примечательностях Италии», Прага, 1773. Речь идет о небольшом собрании минералов веймарского советника Фойгта.

Амфитеатр — построен в первом столетии нашей эры. — *…в честь императора Иосифа и папы Пия VI.* — Коррида в честь императора Иосифа II состоялась в 1771 г., в честь папы — в 1782 г.

Иероним Мавригено — в латинской надписи, прославляющей реставратора амфитеатра (иначе — арены), его имя — Марморео, а не Мавригено, как у Гете. *Нет здесь закованных в латы коленопреклоненных мужей, ожидающих воскрешения.* — Восхищаясь надгробиями древних, изображавших умерших такими, какими они были здесь, на земле, тем самым как бы продолжая и увековечивая их земное существование, Гете, видимо, вспоминает, по контрасту, надгробие Геца фон Берлихингена с гравюры из его «Жизнеописания», изданного в 1731 г.

Дворец правосудия — тюрьма для государственных преступников в Вероне; Гете, всегда избегавший говорить о чем-либо, вызывающем «тяжелое впечатление», ограничивается этой краткой записью.

Сан-Джорджио. — Мысли Гете при осмотре этой «галереи, полной превосходных картин», о заказах библейских сюжетов, по сути, непригодных для воплощения их достойными средствами искусства. К примеру: «Чудо с пятью хлебами». Ну что тут писать? <…> Несчастные художники! — что только не приходилось писать им <…>, стараясь придать значительность убожеству. И все-таки даже подневольный труд давал гению возможность создавать прекрасное». К этой мысли о подневольном труде художника не раз возвращался Гете и в «Итальянском путешествии», и, позднее, в разговорах с Эккерманом об убожестве сюжетов, предоставляемых немецкому писателю жалкой немецкой действительностью.

«Рай». — Иначе: «Венчание Марии (богородицы)». По убеждению Гете, далеко не общепризнанному, едва ли не одно из прекраснейших произведений, находившихся в Палаццо Бевилаква; написано Тинторетто (собственно, Жакобо Рабусти; 1518–1594), художником венецианской школы, насадителем маньеризма в итальянской живописи; не признавался художниками-романтиками; Гете, напротив, ставил Тинторетто чуть ли не в один ряд с Тицианом, создателем «Вознесения Марии», и с Паоло Веронезе, что многими, не без основания, оспаривалось.

Киммерийцы. — Так называли древние жителей Севера, к каковым Гете причислял и немцев, особенно населявших северную Германию.

Felicissima notte! — Дословно: «Счастливой ночи!» — как мы говорим: «Покойной ночи!»

Палладио Андреа (1508–1580) — архитектор эпохи высокого Возрождения, возобновитель римского классицизма эпохи Цезаря и Августа, насаждавшегося Витрувием. Палладио почитался Гете

величайшим архитектором всех времен и народов, умевшим создавать великие произведения зодчества, часто даже (это особенно восхищало Гете) вопреки пожеланиям своих заказчиков. Искусство Палладио оказало огромное влияние на Гете, определив развитие не только его вкуса, но, в значительной мере, и его творчества. Но это не помешало великому поэту часто сознательно отходить от классицизма, отмеченного печатью великого зодчего.

Такие отступления всегда можно было ждать от Гете, увлеченного идеей мирового искусства, мировой литературы, иначе: идеей освоения опыта *всего* человечества. Художественное творчество Гете можно было бы признать разностильным, если бы надо всем не главенствовала, подчиняя себе все исторически сложившиеся стили, своеобычность его личного стиля, его духа. «Фауст» Гете тоже разностилен (и в этом аспекте даже еще недостаточно исследован), будучи в то же время наиболее полным самовыражением поэта. Но в Италии Гете был классиком, и в этом смысле выучеником Палладио, наследником Гомера, древнеримских поэтов и высокого Возрождения — источника позднейшего искусства барокко. Итак, Палладио — в равной мере возобновитель римского классицизма и крупнейший предвестник искусства барокко, закат которого совпал с годами отрочества и ранней юности Гете. Подпал ли Гете под прямое влияние барокко? Разве что шестнадцатилетним подростком, когда он, по образцу «Страшного суда» Крамера (а не Иоганна Элиаса Шлегеля, как ошибочно утверждает автор «Поэзии и правды», кн. 4, т. 3 наст. Собр. соч.), написал свои «поэтические размышления о сошествии Христа в ад» (1765 или 1766). Лирика поэта периода «Бури и натиска», его «Гец» и «Вертер» скорее противоположны барокко (несмотря на обилие библеизмов). Но уже в первой части «Фауста» в сцене «Пролог на небе», быть может, в монологе: «Охота надрываться чудаку…» с его переходом к «колокольному звону и хоровому пению» и в некоторых других сценах чувствуется стилистический налет барокко; во второй части трагедии (особенно начиная со сцены «Положение во гроб» и до самого конца) стиль барокко становится преобладающим. Имя Палладио и описание его произведений упоминаются на многих страницах «Итальянского путешествия». Отчетливость суждений Гете о Палладио не нуждается в комментировании.

Олимпийский театр (по Гете, «театр древних в миниатюре») воздвигнут в 1580 г. согласно указаниям об устройстве античных театров Витрувия, придворного архитектора и главного военного инженера римского императора Октавиана-Августа (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.); достроен в 1585 г. (после смерти Палладио)

архитектором Скамуччи, его учеником.

«Три султанши» — по французской стихотворной комедии Фавара (1762); *«Похищение из сераля»* — либретто Готтлиба Стефани по комедии Брецнера «Бельмонт и Констанца, или Похищение из сераля», музыка Моцарта.

Пение гондольеров на стихи Тассо и Ариосто, уже тогда ставшее редкостью. Гете, помимо этой записи, подробнее высказался об этом пении в статье, напечатанной впервые в журнале «Немецкий Меркурий» за 1789 г. (см. т. 10 наст. Собр. соч.).

Мангейм. — В 1772 г. Гете посетил этот город, тогда резиденцию наследника баварского герцогского престола, герцога Теодора-Карла. В Мангейме, в так называемом «зале древностей» находилось наиболее полное собрание слепков с античных статуй, имевшееся в Германии и произведшее большое впечатление на Гете, тогда увлеченного готикой.

Якоб Бёме (1575–1624) — мистик и пансоф, то есть последователь врача и философа Теофраста Парацельса (1493–1541), так называемого «отца немецкой пансофии», согласно учению которого человек (микрокосм) соприкасается со всеми силами «вселенной» (макрокосма), являясь как бы «выжимкой» из этих сил. Естествознание, по Парацельсу, «благочестивое стремление уразуметь премудрость господню», «способ действий», «явленный богом» при «первосотворении всех вещей». Постигнув и переняв «божественный способ действия», пансофы надеялись обнаружить ту «первородную материю», из которой бог сотворил мир, и, подобно ему, искусно тасуя «первоэлементы природы», создавать новые вещи (будь то золото из неблагородных металлов или «панацея» — средство от всех болезней). «Мы хотим, — так говорили наиболее дерзостные последователи Парацельса, — стать малыми богами во всеобъемлющем великом Боге». Выходец из народа, сапожник по профессии, Бёме повлиял своим спекулятивно-диалектическим мышлением на таких крупных представителей немецкого идеализма, как Гегель и Шеллинг. Случалось читать сочинения Бёме и Ньютону, обронившему по поводу идеи трансформации «первоэлементов природы» такие знаменательные слова: «Это совершится не без грозной опасности для мира». Интересно это суждение как своим допущением такой возможности, так и предвидением опасности такого рода «трансформаций». «Научной базой» для этой пророческой догадки не обладал и Ньютон. Прошли века, прежде чем Резерфорд, не без англосаксонского юмора, заговорил о задачах своего времени как о «новой алхимии». Рассказ об «озарении» Бёме, на который намекает Гете,

был им вычитан из главного сочинения немецкого пансофа: «Аврора, или Восходящая утренняя заря» («Aurora, oder Die Morgenröte im Aufgang»; 1612).

Два гигантских льва — равно как и барельефы храма св. Юстина, послужившие Тициану прообразами его ангелов в картине «Убиение Петра-мученика», вывезены из Пирея (предположительно в XIII в.), а кони на соборе св. Марка — из Константинополя в 1214 г. Все перечисленные скульптуры, как, видимо, справедливо предполагают, афинского происхождения.

«Ссоры и свары в Киоцце» — комедия Карло Гольдони (1707–1793).

Сакки (1706–1786) — выдающийся комедийный актер и директор труппы, для которой Гоцци (1720–1806) писал свои сказочные пьесы.

Смеральдина (служанка) и *Бригелла* (интриган и грубиян) — маски итальянского театра. Гоцци был противником Гольдони, пытавшимся включить импровизационный элемент в свои комедии. Особый интерес к своему театру Гоцци возбудил у немецких романтиков (Гофмана и Тика), а позднее, в начале XX в., у руководителей русских и советских театров (Мейерхольда, Вахтангова, Таирова). — *Дидона* — легендарная основательница Карфагена, по Вергилию, возлюбленная Энея, героя его «Энеиды». Гете намекает на предание о покупке Дидоной у местных жителей земельного участка, который можно покрыть одной воловьей шкурой; хитрость ее заключалась в том, что она разрезала шкуру на тончайшие ремешки и обвила ими площадь, равную размеру будущего Карфагена.

Блестящий двор… — В эпоху Возрождения в Ферраре правил герцогский род Эсте. Во время путешествия Гете Феррара входила в состав так называемой Церковной области, подчиняясь светской власти папы. О запустении города говорили почти все современники Гете, в том числе Байрон в «Чайльд-Гарольде» (часть IV, строфа XXXV).

Тассо (1544–1594) — жил при дворе Альфонса II с 1565 по 1585 г., из них семь лет провел в доме св. Анны для умалишенных. Он был выпущен из лечебницы в 1585 г. не по выздоровлении, а по ходатайству папы Григория XIII и германо-римского императора Рудольфа II. Болезнь Тассо — мания преследования циклического характера. Предание о заключении Тассо в лечебницу в связи с его увлечением сестрою Альфонса II Элеонорой, надо думать, не более как досужий вымысел, каковой Гете использовал в своей драме «Торквато Тассо». Ко времени посещения Феррары им были написаны прозой два действия драмы. — *Ариосто* Лодовико (1474–1535) — проживал при дворе

Альфонса I с 1517 г. до своей смерти, яркий представитель литературы Возрождения, недовольный своим материальным положением и недостаточными почестями, подобающими ему как поэту.

Лютерово чернильное пятно. — В замке Вартбург, где Лютер переводил на немецкий язык Библию, скрываясь от преследования католической церкви, осталось чернильное пятно — якобы след от чернильницы, брошенной Лютером в черта, препятствовавшего его работе над переводом.

«Иоанн Креститель перед лицом Ирода и Продиады». — Картина написана Карло Бонони (1569–1632), феррарским художником болонской школы.

Мелхизедек — царь-священник, приветствовавший Авраама после его победы над врагами (Библия, Книга Бытия, гл. 14). *«Явился на свет без отца и без матери»* — Мельхизедек о боге (псалом 104, стих 3): «Из чрева прежде денницы подобно росе рождение Твое»; Рафаэль все же не бог, а посему «надо доискаться, кто его предшественники и учителя». Учился он у своего отца и у ряда других художников.

Франческо Франчиа (1450–1517) — учитель Рафаэля, старейший из болонских мастеров.

Пьетро из Перуджи — Перуджино (1446–1523), учитель Рафаэля, подобно Франческо, художник раннего Возрождения.

Альбрехт Дюрер (1471–1528) — величайший художник немецкого Возрождения, живописец, рисовальщик и гравер; в 1505–1506 гг. посетил Венецию и Нидерланды.

Наклонная башня в Ферраре; не путать с «падающей» башней в Пизе. Объяснение «наклонности» феррарской башни сомнительно; представляет интерес как выпад против зарождавшегося вульгарного торгашеского духа и связанного с ним духа рекламы.

Караччи, Гвидо, Доминико — художники, работавшие «в более счастливую для искусства пору». Семья Караччи выдвинула ряд художников: Лодовико (1556–1619) и его двоюродных братьев — Аугустино (1557–1609) и Аннибале (1560–1609); все они не блистали особо выдающимися талантами, но ценились как одаренные педагоги. Наиболее талантливыми их учениками считаются Гвидо Рени (1575–1642) и Доменико (1581–1642). Гете разделял общее для XVIII в. увлечение живописью болонской и венецианской школ, не воспринимая особенности этих двух школ, впоследствии признанных предвестниками и насадителями стиля барокко (Гете нигде не пользуется термином «барокко», тогда еще не утвердившимся в искусство- и литературоведении). Запись от 19 октября 1786 г. замечательна своим диалектическим подходом

к дорафаэлевскому периоду искусства Возрождения; отмечая явные достижения итальянских художников, он не обходит молчанием и их недостатки, обусловленные часто нелепыми сюжетами, которые им навязывают заказчики, в первую очередь иерархи католической церкви. Остроумное сравнение Гете себя с пророком Валаамом, благословляющим «тех, кого собирался проклясть», не перестанет звучать в его конкретных отзывах об отдельных разбираемых им художественных произведениях — подобно «непрерывному басу» (basso continuo), который движется самостоятельно — вне темы фуги и не составляя ее голоса. Но, в отличие от Валаама, Гете знает, как преодолеть свою раздвоенность: стоит только наткнуться «на картину Рафаэля, или хотя бы с некоторой достоверностью ему приписываемую, и ты исцелен и счастлив». Имена Палладио и Рафаэля знаменовали для Гете высшую точку классического искусства; в их творениях оно предстало перед ним во всей своей согласной, могущественной силе и красоте. Никто до Гете еще о Рафаэле так не говорил. Сквозь произведения художника он проникал в творческий дух их создателя и таким путем обретал новое, углубленное понимание и его творений. Только такое вхождение в «тайну творчества» Рафаэля давало ему право, говоря о Рафаэлевой «Святой Агате», заявить, что он не позволит своей «Ифигении» (в одноименной драме) «выговорить ни слова, которого не могла бы сказать эта святая». Более того, дополнительно поняв ценность созданного им образа благодаря сличению его со «Святой Агатой» Рафаэля, Гете увлекся мечтой дать еще раз ожить своей Ифигении в задуманной им драме «Ифигения в Дельфах». «Но где взять сил и времени, даже если дух и готов это свершить?» Работа над неоконченными произведениями для первого Собрания сочинений тому воспрепятствовала. «Ифигения в Дельфах» так и не была написана.

…распрощался со своим капитаном… — Этот итальянский офицер (образ, замечательно воссозданный писателем) простодушно расспрашивал Гете о религиозно-моральных воззрениях протестантов. Среди прочего он поставил вопрос, правда ли, что король Фридрих II тайно исповедует католическую веру; эта вздорная легенда, едва ли даже санкционированная папой, распространялась низшим итальянским духовенством в объяснение многочисленных побед, одержанных прусским королем над верующими (то есть католиками).

Рим. — Гете прибыл в Вечный город 29 октября 1786 г. и остановился в гостинице «Albergo dell Orso» (и ныне существующей), в которой будто бы некогда проживали Данте,

Рабле и Монтень; но уже на следующий день, 30 октября, переехал в скромный пансион на Корсо (против палаццо Ронданина), где жил и столовался художник Тишбейн, отпрыск знаменитой семьи живописцев, снабжавшей многочисленных немецких и иноземных «потентатов» придворными художниками. *Пигмалионова Элиза*. — Пигмалион — легендарный царь Кипра и скульптор, влюбившийся в созданную им статую, по его просьбе оживленную Афродитой-Венерой. Это древнее предание получило широкое распространение в странах, опоясывавших Средиземное море (Mare Internum) благодаря «Метаморфозам» Овидия (42 г. до н. э. — 18 г. н. э.); этим мотивом воспользовался Ж.-Ж. Руссо в своей монодраме «Пигмалион», назвав его возлюбленную Галатеей (так же произвольно, как Фосс — Элизой).

День поминовения усопших (2 ноября). — Гете вместе с Тишбейном присутствовал на папском богослужении в Квиринале, резиденции римских пап до 1877 г., когда папа, лишенный Церковной области, заперся в Ватикане, объявив себя «ватиканским пленником»; папой во время пребывания Гете в Риме был Пий VII, с 1775 по 1799 год занимавший «престол св. Петра». — *Тишбейн* Вильгельм (1751–1829) — художник, живший с 1783 г. по 1787 г. в Риме, благодаря субсидии герцога Готского, выхлопотанной ему Гете; первый раз встретились лицом к лицу 29 октября 1786 г.; горячая дружба с Гете поохладела к концу второго пребывания поэта в Риме (март 1789 г.); с 1789 по 1799 г. Тишбейн был директором Академии художеств в Неаполе; по возвращении в Германию в 1799 г. девять лет жил свободным художником, с 1808 г. и до своей смерти был придворным живописцем герцога Ольденбургского. В 1817 г. происходит новое сближение с Гете, ознаменовавшееся (в 1821 г.) выпуском книги идиллий художника со стихотворными текстами Гете, о чем оба мечтали еще в Италии.

Монте-Кавалло — площадь перед Квириналом, украшенная двумя римскими бронзовыми изваяниями («колоссы») коня и конника, из коих одно приписано копиистами Фидию, другое — Праксителю (их имена проставлены на подножии монументов).

«Venio iterum crucifigi» («Иду, чтобы снова быть распятым») — слова, приписываемые Христу. Это изречение неоднократно использовалось в литературе для противопоставления учения Христа политике христианской церкви. Тема возвращения Христа на землю для вторичного его распятия разработана Достоевским в «Легенде о Великом инквизиторе» (в «Братьях Карамазовых»); в период «Бури и натиска» соприкоснулся с той же темой и Гете в своем замысле «Вечный жид», так им и не осуществленном.

Карло Маратти (1625–1713) — итальянский художник,

проживавший и работавший в Риме, ученик Гвидо Рени.

Так что инкогнито… сохранено… — Гете, скрываясь «от своей славы», на пути в Рим выдавал себя за купца Мюллера, в Риме — за художника Филиппа Миллера.

…картина, изображавшая св. Георгия… — картина Порденоне (1483–1539), художника венецианской школы, близкого по манере Тициану.

Генрих Мейер (1759–1832) — художник-классицист, по представлению Гете был назначен профессором, а позднее и директором художественной Академии в Веймаре.

Brutto (о погоде) — скверная, неприятная.

Лоджии Рафаэля — галереи Ватикана с маленькими фресками Рафаэля и его учеников на темы Ветхого и Нового завета.

«Афинская школа» — большая фреска, изображающая философов классической древности. Рафаэль работал над украшением Ватикана с 1508 по 1517 г. Ватикан, начиная с 1877 г. — единственная резиденция пап, и ранее служил резиденцией ряду римских первосвященников; в XV и XVI вв. неоднократно перестраивался, особенно архитектором Браманте (1444–1514) в годы папства Юлия II (1503–1513).

Пирамида Цестия — склеп-пирамида, в которой покоится прах трибуна Цестия (12 г. до н. э.) близ Порто Сан-Паоло, где находится и римское иноверческое кладбище; на этом кладбище захоронен сын Гете, скончавшийся в Риме в октябре 1830 г.

Палатин — один из семи холмов Рима, где находятся развалины дворцов римских императоров. Император Август построил здесь свой дворец, храм Аполлону и библиотеки.

…навестил нимфу Эгерию… — то есть грот Эгерии, по преданию, подруги второго римского царя Нумо Помпилия (716–672 гг. до н. э.).

Ристалище Каракаллы — цирк, построенный в 311 г. Максентием, соперником императора Константина Великого. — *Виа-Аппиа* (Аппиева дорога), выстроенная цензором Аппием Клавдием в 312 г. до н. э.

Гробница Метеллы. — Цицилия Метелла — жена Красса Младшего, сына триумвира Красса; ее гробница — памятник эпохи Августа, представляющий собою башню, в средние века снабженную бойницами.

Менгс Антон Рафаэль (1728–1779) — немецкий художник, был придворным живописцем в Дрездене и Мадриде, долгие годы жил и работал в Лондоне. Спор вокруг якобы «античной» фрески, изображающей Ганимеда, подающего чашу Юпитеру, окончился признанием этой фрески подделкой Менгса.

Мориц Карл Филипп (1756–1793) — сын нищенствовавшего музыканта. Романист, очеркист, эстетик и просодист (стиховед) — пестрая, беспорядочная биография. Автор замечательного романа «Антон Рейзер», едва ли не одного из самых глубоких отображений его эпохи. Интересны и его книги очерков об Англии (1782) и об Италии (1786–1787). Дружил с Гете; в письме к Шарлотте фон Штейн мы читаем: «Мориц знакомил меня… с отрывками из своего жизнеописания, и я дивился сходству его жизни с моею. Он словно младший брат мой, такой же стати, только обиженный и обделенный судьбою, тогда как я ею обласкан и предпочтен». — *Сикстинская капелла* — домовая часовня папы в Ватикане; построена при папе Сиксте IV. Стены расписаны художниками Боттичелли (1445–1510), Гирландайо (1449–1494), Перуджино (1446–1523) и др. Потолок покрыт фресками Микеланджело (1475–1564) на темы Книги Бытия (Библия) с пророками и сивиллами. Микеланджело работал над украшением часовни с 1508 по 1512 г. Отношение к творчеству Микеланджело не было единогласно восторженным ни при его жизни, ни у позднейших поколений. Двойственна в известной степени и оценка великого живописца, скульптора и зодчего, высказанная Гете: «Кто не видел Сикстинской капеллы, — говорил он еще и в старости, — тот не знает, чего может достигнуть человек». В записи от 2 декабря 1786 г. он сказал еще решительнее: «Сейчас я так захвачен Микеланджело, что после него охладел даже к самой природе, ибо мне недостает его всеобъемлющего зрения». И — ниже, в той же записи: «Из Сикстинской капеллы мы пошли к Лоджиям Рафаэля, и я едва осмеливаюсь сказать, что на них и смотреть не хотелось». Но весы вкуса, поколебавшись, все же предпочли автору потолка Сикстинской капеллы — Рафаэля. Мнение венецианца Лодовико Дольче, высказанное в его «Диалоге о живописи» (1557), было подхвачено Винкельманом: «Он (Микеланджело) перебросил мост к дурному вкусу, позднее укоренившемуся в скульптуре». Порвать с классицизмом и его идеалом «благородной простоты и спокойного величия» Гете не решился, хотя в практике своей и отходил от классического канона. И если можно говорить о воздействии духа Микеланджело на поэзию, на литературу, то прежде всего надобно указать на вторую часть «Фауста».

Винкельман Иоганн Иоахим (1717–1708) — знаменитый археолог и историк античного искусства, оказавший большое влияние на Лессинга, Гете и Гегеля; его формула «благородная простота и спокойное величие» стала идеалом классицистической эстетики. Был убит в Триесте профессиональным грабителем и убийцей.

«Просодия» Морица. — Гете, перелагая «Ифигению» ямбами, советовался с Гердером и, позднее, с Морицем, сильно преувеличивая помощь, оказанную ему последним.

Итак, великий король… чьи деяния сделали его достойным даже католического рая… — Речь идет о прусском короле Фридрихе II и о легенде, будто бы он втайне был католиком. Король умер 17 августа 1786 г.

Ромул и Рем — легендарные основатели Рима и римского государства; во времена первых римских императоров посетителям Вечного города показывалась хижина, в которой будто бы родилась эта двойня.

Большой портрет — портрет Гете работы художника Тишбейна «Гете в Кампанье» (1786–1787), хранится в Веймарском музее рядом с «Домом Гете» на Фрауэнплане.

…беру с собой только «Тассо»… — Гете принял решение написать «Тассо» ямбами, а не прозой, как были им написаны два первых действия этой драмы. «Тассо» не был завершен в Италии, Гете закончил его в Веймаре в 1789 г.

«Сакунтала» — драма Калидасы, древнеиндийского поэта, лирического, эпического и драматического; жил в конце IV — начале V столетия. Под впечатлением «Сакунталы» Гете предпослал «Фаусту» театральное вступление, каковым открывается и пьеса Калидасы. Автору здесь изменяет память: «Сакуптала» была переведена на немецкий язык Георгом Форстером только в 1790 г. До 1787 г. он ее, конечно, читать не мог.

Кавалер Филанджиери (1752–1788) — выдающийся итальянский юрист, профессор в Милане, министр финансов в Неаполе с 1781 г. до его кончины, автор замечательного труда «Наука законодательства» в 8-ми томах (1781–1788).

Монтескье (1689–1755) — автор книги «Дух законов».

Беккариа Цезарь, маркиз (1738–1794) — автор книги «О преступлениях и наказаниях», где он полногласно выступает против пыток и жестоких казней.

Вико Джованни Баттиста (1668–1744) — выдающийся философ, профессор права в Неаполе, автор замечательного трактата «Принципы новой науки». В XVIII в. был мало известен и тем более вызвал особый интерес в начале XIX в., в эпоху классического немецкого идеализма. В 1822 г. вышел главный философский труд Вико в немецком переводе Вебера.

Гаманн Иоганн Георг (1730–1788) — родоначальник немецкого иррационализма (философии чувства и веры); оказал чрезвычайное влияние на Гердера и глубоко заинтересовал Гете.

Бронзовая конская голова. — До конца происхождение этого

экспоната едва ли будет установлено. Выяснено только, что в Неаполь ее прислал Лоренцо Медичи в дар Диомедо Караффа. Вазари в первом издании своей биографии Донателло утверждал, что конская голова античного происхождения, а во втором допускает предположение, что она могла быть изваяна и самим Донателло. В последнее время установилось мнение, что перед нами работа позднего эллинизма.

Хозяйка дома — жена Филанджиери, урожд. графиня Фремдель, ранее воспитательница детей королевской четы в Неаполе.

Бойкая маленькая особа — сестра Филанджиери, вышедшая замуж за богатого шестидесятилетнего князя Филиппо ди Садриано; быть может, прообраз Люцианы, дочери баронессы Шарлотты («Избирательное сродство», см. т. 6 наст. Собр. соч.).

Виландова волшебная сказка — «Зимняя сказка» по «Тысяче и одной ночи».

Шлоссер Георг (1739–1799) — юрист и немецкий литератор; был женат на рано умершей сестре Гете — Корнелии.

В воскресенье мы были в Помпеях. — Ко времени итальянского путешествия Гете раскопки Помпеи и Геркуланума, начатые в 1555 г., были в значительной степени осуществлены.

Анжелика — то есть Анжелика Кауфман (1741–1806), прославленная художница-портретистка, с успехом работавшая и на поприще исторической живописи; представительница так называемого «сентиментального классицизма». Рисунок углем на тему «Ифигении» принадлежит к лучшим ее работам: переход Ореста от безумия («И вы сюда сошли, к почившим?») к его исцелению («Дай в первый раз в твоих объятьях чистых // Незамутненной радости отведать!») передан художницей с замечательным тактом.

Хаккерт Филипп (1737–1807) — художник-пейзажист; в 1768–1786 гг. жил в Риме, с 1786 по 1799 г. — в Неаполе, в качестве придворного художника короля Фердинанда IV и, позднее, директора Академии художеств. Давал уроки рисования и живописи Гете. Что могло увлечь Гете в сухом безвдохновенном искусстве Хаккерта, не совсем понятно, — видимо, умение точно передавать очертания предметов, как не раз отмечалось его благодарным учеником. Гете выпустил в 1811 г. переданные ему по завещанию художника автобиографические записки в виде жизнеописания его друга и учителя. Успеха это сочинение не имело.

Лорд Гамильтон Вильям (1730–1803) — с 1704 г. английский посланник при дворе короля Обеих Сицилий Фердинанда IV. Его возлюбленная — Эмма Харт (1761–1815), собственно — Лайон, из

простонародья; с 1791 г. — леди Гамильтон, с 1798 г. — возлюбленная английского адмирала лорда Нельсона (1758–1805), погибшего (21 октября 1805 г.) в морском бою при Трафальгаре, в котором он победил соединенный франко-испанский флот. Она умерла в Кале, обедневшая и всеми отвергнутая.

«Вильгельм Мейстер» — тогда фрагмент романа «Театральное призвание Вильгельма Мейстера», вышедшего в 1795–1796 гг. в переработанном и законченном виде под заглавием «Ученические годы Вильгельма Мейстера».

Книп Христиан (1748–1825) — художник и рисовальщик. Его рисунки и акварели, сделанные на море и в Сицилии, хранятся в Веймарском доме Гете. С Книпом Гете ездил и в Пестум с его тремя храмами: Цереры, Нептуна и так называемой Базиликой. Запись мемуариста прекрасно воссоздает его разочарование при встрече с впервые увиденным им подлинным греческим зодчеством, таким приземистым рядом с триумфальными взлетами Палладио; и тут же признание своей предвзятости, обусловленной привычкой и духом времени, а не стабильными нормативными законами искусства, — замечательный поворот к историческому мышлению!

Святая Розалия — племянница короля норманнов Вильгельма II. Отрывок «Святилище Розалии» был напечатан в «Немецком Меркурии» Виланда в 1788 г.

Прекрасная женщина — скульптура XIII в. Григория Тедески, подарок неаполитанского короля Карла III.

Остров блаженных феакийцев. — Одиссей, возвращаясь на родину, терпит крушение у острова феакийцев. Сад царя Алкиноя описан в песни VII «Одиссеи». Любовь дочери Алкиноя Навзикаи к пришельцу и ее гибель — тема гетевской драмы «Навзикая», задуманной в Сицилии, но не осуществленной.

Два… скорохода вице-короля (князя Караманика). — Упоминаемый здесь мальтиец — граф Стателла.

Коадъютор фон Дальберг. — При Наполеоне I — курфюрст Майнцский (с 1802 г.) и глава (князь-примас) основанного Наполеоном Рейнского союза западных немецких государств, протектором которого объявил себя французский император. Дальберг, будучи интендантом Мангеймского театра, осуществил постановку Шиллеровых «Разбойников», «Фиеско» и «Коварства и любви».

Дахероде Карл Фридрих фон — видный чиновник в Эрфурте, его дочь Каролина с 1791 г. — жена Вильгельма фон Гумбольдта.

Джузеппе Бальзамо (он же «граф Калиостро»; 1743–1795) — знаменитый авантюрист, побывал во многих столицах Европы, в

том числе и в Петербурге, но был выслан Екатериной II за пределы империи; осужден папским судом к пожизненному заключению. Сообщение о посещении близких родственников Калиостро читается как вставная новелла.

Первым моим намерением было… возместить… четырнадцать унций золотом (не возвращенные Калиостро его сестре), но от этой мысли пришлось отказаться. — Гете выслал ей эту сумму по приезде в Веймар.

Желательно… нанести визит губернатору. — Губернатором Мессины был с 1783 г. выживший из ума престарелый фельдмаршал Дон Микеле Одеа.

Сиканы и сикуны — древние обитатели Сицилии.

Ah, il Barlamé… и т. д. — «Ах, Варлаам! благословен Варлаам!» — Пассажиры сравнивают Гете со святым Варлаамом, благочестивым героем средневекового романа «Варлаам и Иосааф», ставшего в Италии общеизвестной народной книгой.

Девиз Филиппо Нери — Sperneremundum… и т. д. — «Презирай мир, презирай самого себя, презирай презрение!»

Граф фон Фриз — знакомый Гете по Карлсбаду.

Встретил здесь… премилую даму — предположительно графиню Лантиери, уже упоминавшуюся.

Девушки из Энгельхауза прочитали герцогу Карлу-Августу стихотворение Гете от имени богемских поселянок.

Герцог и герцогиня фон Урсель — представители бельгийской аристократии.

Старая Ателла — место, где еще во времена древних римлян народ тешился, глядя на площадных актеров и просто гуляющих веселых парней.

Заключительное описание города со слов *«У мясников вывешены большие куски говядины»* и до слов *«у меня не начали слипаться глаза»* — пересказ письма Тишбейна.

Маркиз Луччезини (1751–1825) — прусский дипломат, посланный королем Фридрихом-Вильгельмом II в Рим для переговоров с папой и по пути заехавший в Веймар, повстречается с Гете (и с читателем) в Трире 1792 г. в «Кампании во Франции». Его жена — немка, урожд. фон Таррах.

Кавалер Венути — сын маркиза Доменико Венути (1700–1755), выдающегося физика, химика и археолога, обнаружившего фарфоровую глину в почве Капрароле, директора фарфорового завода, возглавлявшего раскопки в Геркулануме. Кавалер Венути показывал Гете редкостную коллекцию своего отца.

Герцогиня Джованни (урожд. баронесса фон Мудерсбах) — приближенная королевы Марии-Каролины.

Гарве Христиан (1742–1798) — немецкий философ-

просветитель.

Ковры по картонам Рафаэля — выдающаяся серия произведений поздней поры художника. Рафаэль создал эти картоны в качестве образца ковров, предназначенных для украшения «нижних стен» Сикстинской капеллы. Над этими картонами художник работал в 1515–1516 гг. В 1519 по ним были вытканы ковры в нескольких экземплярах в Брюссельской мануфактуре. С 1559 по 1797 г. они употреблялись при выносе плащаницы на Страстной неделе. Первые экземпляры ковров ныне висят в Ватикане по возвращении их в 1815 г. из Парижа, куда они были вывезены по повелению Наполеона.

Геркулес из дома Фарнези — одна из лучших античных статуй неизвестного автора, ныне хранится в Национальном музее в Неаполе, куда была привезена из Рима вскоре после того, как Гете покинул Италию.

Фарнезский бык — римская копия колоссального греческого скульптурного ансамбля работы Аполлония и Тавриска (середина II в. до н. э.).

Господи, не отстану я от тебя, покуда не дашь мне своего благословения, хотя бы и пришлось мне охрометь в единоборстве с тобою. — Намек на Иакова, охромевшего в единоборстве с богом (Первая Книга Бытия, гл. 32, стих 26). Гете расширяет текст библейской цитаты, сводившейся к словам: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».

«Идеи». — Имеется в виду сочинение Гердера «Идеи к философии истории человечества».

Октябрь 1787 г. Гете прожил в загородном доме мистера Джексона, где увлекся юной миланкой. Повесть об этой главе своей биографии поэт излагает не слитно, а чередуя ее с другими эпизодами, серьезными и смешными, до самых последних страниц «Итальянского путешествия».

Надворный советник Рейфенштейн (1719–1793) — просвещенный торговец художественными предметами и древностями и в этом смысле коллега Джексона (чин советника Рейфенштейн заработал на русской службе), друг Винкельмана; с 1763 г. проживал в Риме.

Миланка. — Гете не называет ее имени, но оно нам известно из письма к нему Анжелики Кауфман от 1 ноября 1788 г. Это Мадалена Риччи (1765–1825); она вышла замуж в 1788 г. за сына известного гравера Вольнато, вскоре овдовела и вступила во втором брак; стала матерью семи сыновей и одной дочери.

Младший Дальберг Гуго фон — брат будущего князя-примаса, тогда наместника герцога Карла-Августа в Эрфурте.

Кайзер Филипп Кристиан (1755–1823) — композитор, ничего

значительного не сочинивший; проживал в Цюрихе, уроженец Франкфурта-на-Майне. Гете ему симпатизировал и не раз с ним сотрудничал. Кайзер написал музыку на либретто Гете «Шутка, хитрость и месть», позднее — музыку к «Эгмонту», безуспешно пытался сочинить музыку к задуманной Гете комической онере «Мистифицированные», так и не осуществленной.

Шубарт Кристиан Фридрих Даниэль (1755–1823) — выдающийся поэт, музыкант (композитор, органист и дирижер) и мятежный свободолюбивый публицист. Десять лет находился в заключении в замке Гогенасперг по повелению герцога Карла-Евгения Вюртембергского.

Марк Антон — Марк Антонио Раймонди (1480–1534?), знаменитый гравер на меди, благодаря которому произведения Рафаэля стали широко известны в культурном мире.

Пиранези Джованни Баттиста (1720–1778) — гравер на меди, сумевший как никто, несмотря на критическое отношение к нему Гете, воссоздать неповторимое единство древнего и нового Рима.

Герман ван Шванефельд (1600–1655) — голландский гравер, работавший в Риме с 1629 по 1638 г. Гете приобрел тринадцать его гравюр с видами Рима…

Павел V Боргезе — папа римский с 1605 по 1621 г., восстановитель древнего акведука.

Римский карнавал. — В 1788 г. впервые напечатан в журнале Виланда «Немецкий Меркурий», с 1829 г. включен в состав «Итальянского путешествия»; в 1789 г. вышел отдельным изданием с колорированными гравюрами друга Гете художника Георга Мельхиора Краузе по рисункам Георга Шюца.

Праздник… который народ дает сам себе. — Общее определение, данное Гете римскому карнавалу.

Герцог Албанский — на самом деле «граф Албанский», под именем которого проживал в Риме претендент на великобританский престол Карл-Эдуард Стюарт (1720–1788), внук низвергнутого короля Иакова II, предпринявший в 1745–1746 гг. попытку отвоевать утраченную корону Соединенного королевства (этому историческому эпизоду посвятил Вальтер Скотт свой знаменитый роман «Веверлей»).

«Luoghi! Luoghi, Padroni! Luoghi!»— «Места! Места! Господа! Места»!

Квакеры — секта, возникшая в Англии и распространившаяся в других протестантских, а позднее и в католических странах Европы и в США.

«O quanto è bella!»— «O fratello mio, che brutta puttana sei!» — «О, как она прекрасна!..» — «Братец, какая ты гнусная девка!»

Губернатор или наместник — одновременно

главнокомандующий папской гвардии и глава полиции, которому надлежало следить за порядком во время карнавала.

Корды — крепкие веревки, которыми связывали нарушителей порядка, вздергивали вверх и тут же отпускали.

«Luoghi! Luoghi avanti! Luoghi nobili! Luoghi, Padroni!»— «Места! Передние места! Лучшие места, господа!»

Фестины — балы-маскарады.

«Sia ammazzato il Signore Abbate che fa l'amor! Sia ammazzato il Signore Filippo! Sia ammazzata la bella Principessa! Sia ammazzata la Signora Angelica, la prima pittrice del secolo!» — «Смерть господину аббату, предающемуся любострастию! Смерть господину Филиппо! Смерть прелестной принцессе! Смерть госпоже Анжелике — лучшей художнице века!»

«Sia ammazzato il Signore Padre!»— «Смерть господину папаше!»

«Купидо, шалый…» и т. д. — См т. 1 наст. Собр. соч.

Н. Вильмонт

notes

Примечания

1

Искупитель *(итал.)*.

2

Выходите (кланяться)! *(итал.)*

3

Мертвецы! *(итал.)*

4

Браво, мертвецы! *(итал.)*

5

Удивительно, как эта песня трогает, и тем сильнее, чем она лучше спета *(итал.)*.

Так далее *(франц.)*.

7

Дополнение *(франц.)*.

«Земная жизнь художника» *(нем.)*.

9

Перевод С. Шервинского.